

Владимир Турбин

EXEGI MONUMENTUM

ЗАПИСКИ НЕИЗВЕСТНОГО ЛАБУХА

Владимир Николаевич Турбин вел жизнь явную и жизнь тайную.

В жизни явной он был доцентом филологического факультета Московского университета, так и не выслужившимся в профессора, руководителем студенческого семинара, менявшего свое название, но объединенного общими принципами.

В жизни явной он был литературоведом, литературным и кинокритиком, парадоксально связывающим головокружительно далекие, казалось бы, сюжеты. В жизни явной он подвергся гонению за свою первую, молодую книгу «Товарищ время и товарищ искусство», но именно благодаря этому гонению сразу стал знаменитым.

В жизни явной он был человеком общительным, и его дарили своею дружбой Михаил Михайлович Бахтин, Тенгиз Абуладзе, Сергей Параджанов, Юрий Ильенко. В жизни явной он был счастлив в учениках и воспитал их много, и настолько разных, что им трудно было поздороваться друг с другом на поминках по своему учителю; но след его личности — при всех расхождениях — можно обнаружить довольно просто, стоит лишь «поскрести» каждого.

В жизни тайной Владимир Турбин был прозаиком, а на свою жизнь явную смотрел оттуда — из жизни тайной и одинокой — как на самозванство. Он начал писать прозу еще в начале 60-х, но вскорости, после известных событий, ее уничтожил. За три месяца до своей скоростной кончины он передал мне рукопись романа. За месяц до его смерти я получила очередной урок по поэтике — в данном случае поэтике романа, который вам предстоит прочесть, — в форме письма из Москвы в Коктебел. Из жизни явной перемещаясь в свою жизнь тайную, Владимир Турбин заметил: «Ситуация, порождающая роман и толкающая людей к романному восприятию действительности... — ситуация освобождения; выхода в лес из тюрьмы». И еще: «... роман возникает на рубеже темницы и приволья, на границе жизни жестоко регламентированной, организованной и жизни свободной».

Владимир Турбин хотел написать докторскую диссертацию о поэтике романа «Евгений Онегин», но не смог, насилуя себя самого, сочинять на языке, от которого он отплыл уже очень далеко. Вместо диссертации написал роман. «Создатель романа — на перепутье, на перекрестке», — сказал он еще в 70-х. Мы все сейчас, в новую эпоху, считал Владимир Николаевич, очутились на перепутье, на перекрестке — после десятилетия торжества ментального эпоса — в романе частной жизни.

«Exegi monumentum» — роман авантюрно-фантастический и философский одновременно. Здесь есть ужасные убийства и великая любовь, фантастические перемещения во времени, зазеркальные изменения идей и судеб. Автор поселил в своем «доме» тайновидцев и парапсихологов, ученых и профанов, сексотов и... и, конечно же, самозванцев. В романе есть «отступления», вставки, эссе — к сожалению, из-за ограниченной площади редакции пришлось пожертвовать многим; впрочем, сам автор, понимая неизбежность сокращений, скрепя сердце дал нам право на журнальный вариант.

Наталья Иванова

Памяти М. М. Бахтина

*Exegi monumentum aere perennius
Regalique sinu pyramidum altius.*

Quintus Horatius Flaccus¹

Я памятник себе воздвиг нерукотворный...

А. С. Пушкин

Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном.

Н. В. Гоголь

Журнальный вариант.

¹ Создал памятник я, бронзы литой прочней, Царственных пирамид выше поднявшийся.

Гораций. Оды, III, 30. (Перевод С. В. Шервинского.)

Проходя мимо памятников, надлежит, замедлив шаги, изобразить на лице восторженность. Если же, по причине охлаждения лет или вследствие долговременной и тяжелой болезни, восторженность представляется трудно достижимой, то заменить оную простою задумчивостью. Как восторженность, так и задумчивость будут в сем случае служить доказательством твердого намерения обывателя уподобиться сим героям, дабы впредь проводить время так, как оные при жизни своей проводили, за что и удостоены от начальства монументов...

М. Е. Салтыков-Щедрин

*Пускай я содохну,
Только...
Нет,
Не ставьте памятник в Рязани!*

С. А. Есенин

*...Пускай нам
общим памятником будет
построенный в боях
социализм.*

В. В. Маяковский

ПРОЛОГ

в котором рассказывается о загадочном убийстве Неизвестного лабуха; его безутешная вдова, проявляя изобретательность, вызывает о помощи, и по взаимному согласию сторон намечается граница между реальным и фиктивным создателями его торопливых записок.

Я — доцент. Доцент Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Слово «доцент» в нашем — прежде советском, а теперь я и не знаю, в каком, — речевом обиходе влечет за собою эпитет «почтенный», и я, стало быть, почтенный доцент.

Желающие навести обо мне более развернутые справки благоволят обратиться на филологический факультет вышеназванного университета, разумнее всего — на кафедру истории русской литературы. Полагаю, что отзывы обо мне будут получены сдержанные, а то даже и просто кислые. Но это меня не волнует. Мне важно, чтобы и коллеги, и руководство удостоверили сам факт моего многолетнего пребывания в должности доцента; на эпитетах же я не настаиваю.

Свою должность и место службы я указываю с единственной целью: заручиться свидетельствами того, что к автору публикуемых мною записок я не имею никакого, ни малейшего отношения.

Уверяю, что ни малейшего!..

Но тогда почему же?..

Почему записки выходят в свет в виде плода моего индивидуального творчества, непрофессионального, совершенно самодеятельного и — так, мне кажется, начнут утверждать — ориентированного отнюдь не на строго достоверное изложение фактов, а на всяческие мистификации и на причудливого характера фантазии? Выходит, что я их присвоил?..

Да, присвоил. Я привоил себе чужой труд. Но были на то весьма, весьма и весьма уважительные причины: в наше время, время расцветшего милосердия и широкой, уже и в избытке, по-моему, льющейся повсеместно благотворительности, я не мог не отозваться на просьбу безутешной вдовицы, к тому же молоденькой и, выражаясь, может быть, архаично, прехорошенькой, да еще и ждущей ребенка. Морщась, охая, кряхтя и преодолевая внутреннее сопротивление, мне приходится выполнять ее просьбу, потому что ее законнейший муж,

подлинный рассказчик публикуемых мною записок, в одну далеко не прекрасную ночь был... убит. Несомненно: его прикончили. Прикончили по причине, для убийцы или, скорее, убийц, без труда объяснимой: он достаточно много знал.

Да, знал. Знал такое, чего предпочтительнее не знать, и в его осведомленности легко убедиться, прикоснувшись к его запискам. А таких убирают.

Убит мой коллега — тоже доцент, но доцент, настоятельно прошу я заметить, не истории русской литературы, а эстетики, — был в ночь на так называемый Старый Новый год, оледеневшее его тело было найдено неподалеку от центра Москвы, в Ю-ском переулке; обнаружил его водитель снегоуборочного агрегата, который поутру, спозаранку был наряжен сгребать с проезжей части снег, обильно выпавший за ночь. Озабоченность мэра Москвы содержанием улиц и переулков, трудолюбие явившегося на работу шофера и исправность техники подвели убийц, которых усиленно ищут, но пока не нашли; их расчет совершенно ясен: они думали, что убитый вмерзнет в снег, в сугроб, перезимует в нем до весны; по весне его обнаружат, но время все спешит, и тогда уж концов не найдешь. Оглохли они — не приняли во внимание всех перечисленных факторов. Через полчаса появился милицейский УАЗ, были вызваны эксперты. Установлено было, что...

Тут моя собеседница обрушила на меня водопад специальной судебно-медицинской терминологии: «проникающее ранение в область... повреждение мягких тканей... разрывы...» Говорила она с трудом; вероятно, многие замечали: человек, потрясенный тяжким горем, да еще и волнующийся, начинает чувствовать, что рот у него немеет, губы деревенеют. Из невнятного рассказа, впрочем, я понял главное: мой коллега-эстетик был убит, и притом был убит он диковинным образом, в него выстрелили из... лука, стрелой. Двумя стрелами, угодившими в спину и проткнувшими беднягу насквозь, так что первая стрела пронзила сердце, а последующая была выпущена безо всякой необходимости, лишь на всякий случай, для верности.

Паду ли я, стрелой пронзенный,

Иль мимо пролетит она, —

машинально вспомнилось мне из «Евгения Онегина» Пушкина, и моя собеседница без труда мою мысль угадала.

— Да, — сказала она, комкая в руке носовой платок, — не пролетела стрела. А «Евгения Онегина» мой муж очень, очень любил, много знал наизусть, читал сыну; у него же остался сын от первого брака, Вася, Василий. А теперь вот... — И она опустила глаза, красивые, ясные, поглядела на свой живот, в коем явно теплилась жизнь человечка, обреченного прийти в наш мир сиротой.

Мама будущего сиротки появилась у меня неожиданно: позвонила, представилась Людмилой Александровной, женой моего коллеги, недавно, как она мне сказала, умершего. Настоятельно просила о встрече.

Ее мужа я едва-едва помнил: мы с ним были знакомы достаточно формально, внешне: раза два встречались в застойное время в МК КПСС на инструктажах для преподавателей искусствоведческих дисциплин; скучали, позевывали, переглядывались. Инструктаж окончился, народ повалил в фойе. Нас представили друг другу. Коллега читал мои книги и помнил о мерзком скандале, разыгравшемся по поводу одной из них еще в годы правления Никиты Хрущева (либеральная гуманитарная интеллигенция показала себя тогда, смею думать, не лучшим образом). О скандале и о всяческих муках, которые с упоением причиняли мне мои ближние, вскоре забыли; и мне было отрадно, что забыли не все. Коллега — мне показалось, что искренне, — твердил мне, что он очень верит в меня и что сам он изведаль немало отвержения и непризнанности. Его кто-то окликнул, мы наспех простились. Потом встретились снова — там же, в МК. Раз-другой — на спектаклях Театра на Таганке, в антрактах, в буфете. И опять промелькнули невысокая близость, даже родство: театр, устроенный для того, чтобы продемонстрировать Западу терпимость партийной верхушки, не влек к себе ни меня, ни моего памятливого читателя. А затем мы расстались на долгие годы. И надо же!..

— Муж вас очень ценил, — немного успокоилась Людмила Александровна, — и однажды полусхоту он сказал мне, что в случае его смерти он хотел бы доверить вам... Как и вы, он оставался нереализованным, не высказавшим того, что хотел бы сказать, в таких случаях люди вправе рассчитывать на поддержку одних другими, такими же. Плюс еще одно обстоятельство...

И Людмила Александровна приоткрыла завесу над проблемой, в суть которой никто до сих пор не вдумался, хотя здесь налицо циничное, варварское ограбление вдов и сирот, тех несчастных, которых обычно шадят даже профессиональные уголовники, воры в законе. Но у них свой закон, а у нашего государства свой, не

знающий жалости и к тому же продуманно направленный на приостановку развития и роста национальной культуры.

Знает, ведает ли кто-либо, какой процент гонорара получают наследники умершего писателя, художника-живописца, композитора или кинематографиста? Или так: какой процент гонорара отчуждается у них в качестве взимаемого государством налога? За колонками цифр, когда-то промелькнувших в газетах, мы не видим откровенного грабежа: с обездоленных дерут 95% заработанного их мужьями, отцами. Оставляют же им 5%!

— Я придумала, — по-девичьи улыбнулась вдова. — Бесчеловечный закон можно обойти стороной. Но все будет зависеть от вас, и уж вы не сочтите, пожалуйста, мое предложение за нахальство...

И она изложила мне хитроумный замысел: я, доцент МГУ, — а уж почтенный, не слишком почтенный или вовсе не почтенный, не знаю, — издаю записки ее убиенного в Ю-ском переулке супруга под своим (!) именем. Бухгалтерии журнала, в который я их представляю, и издательства, которое, может быть, заинтересуется ими, как она сказала, «без разницы», сотворил ли записки я или кто-то другой. Ее дело выплатить мне гонорар как реальному автору, до какой-то поры живехонькому. Вдруг записками заинтересуются и зарубежные книгоиздатели? Что же, это делает честь их уму, дальновидности, потому что записки при всем их возможном несовершенстве — это русская современная литература, явленная в какой-то ее еще не открытой ветви. В общем, можно исхитриться и получить гонорары — пусть скудные — сполна, миновавши алчный контроль государства. Я — Людмила Александровна безусловно верит в мою порядочность! — отдам ей условленную часть заработанного ее убиенным супругом, но и обязан буду принять долю вознаграждения.

— Понимаете, — снова улыбнулась она, — я же вовсе не литератор. Я врач, врач-психиатр. Литературу я чувствую, и я вижу, что муж мой писал... Как тут выразиться? Неумело? Нескладно? Может быть. Но он душу вложил в написанное. Я знаю, как вы загружены: работа, семья. Но вы критик, вы литератор. Наконец, все мы русские люди, я верю, вы не останетесь равнодушны к тайнам, которые освещены в записках... покойного. И к предупреждениям тоже. Мы договоримся о вашем вознаграждении, установим свои процентные ставки, справедливые. Да и этих жадюг, согласитесь, приятно будет обставить.

За мою довольно продолжительную жизнь насмотрелся я всякого — я имею в виду исключительно события в сфере нашей многострадальной литературы. Бог сподобил меня быть знакомым с тремя гениальными личностями: Михаил Бахтин, Сергей Параджанов, Эрнст Неизвестный мне дарили свое благорасположение. Я бывал в окружении незаурядных талантов. Молодые поэты, бывало, тащили мне свои первые опысы, я прилежно читал их, но...

Но такое — впервые: чужое выдавать за свое! Плагиат? А с другой стороны: одинокая женщина... ждет ребенка.. изнурительная работа врача-психиатра.

— А вы в Белых Столбах работаете? — неожиданно для себя самого вдруг полюбопытствовал я. Моя гостья аж вздрогнула — почему, это понял я позже, углубившись в манускрипт убиенного: там описываются и безумцы, коих препровождают в известное подмосковное богоугодное заведение, в скорбный дом; но об этом я тогда никак догадаться не мог.

— Нет, зачем же? — оправилась собеседница. — Сейчас много медицинских кооперативов, я в одном из них. Я не предлагаю вам наших услуг, потому что область у нас, как вы сами понимаете, деликатная. Но бывает, знаете ли... И тогда, разумеется... Но когда появится маленький, я работать не буду. Два года. Что-то мне, конечно, заплатят; но мы будем вдвоем: моя старенькая мама, малышка и я. Если рукопись издадут, муж буквально спасет нас от нищеты. Вы же... Я повторяю, наступает время деловых отношений. Время честного слова. Соглашайтесь! И скажите мне, на сколько процентов вы...

— Я — в смущении.

— Погодите вы о процентах, я же должен сначала прочесть эти самые... Да, записки, как вы изволили выразиться.

— Ах, конечно, конечно! Я их принесла с собой...

И, не дав мне опомниться, достала из спортивной сумки хлорвиниловый пакет с рекламной сигарет под названием Camel; из него — толстенную папку:

— Вот, — сказала, — читайте.

Я покосился на папку, раскрыл ее. Полистал. Машинопись сбита, а какие-то куски написаны от руки. Перечеркнуто много, многое подклеено. Есть вообще

разрозненные листочки: ни конца, ни начала. Но именно хаотичность записок сообщила им какую-то подлинность; я почувствовал: надо прочесть.

Отодвинул папку, погладил ее ладонью:

— А скажите, раз уж вы об этом мне стали рассказывать... Его, вашего мужа, как же? И стрелами почему? Ночь, Москва в перепое, я же знаю новогоднюю ночь. И идет человек по Ю-скому переулку, а его из лука...

— Да, вдогонку ему... из лука. А точнее, из арбалета. Самострела, по-нашему: это лук, но лук, вставленный в такое... как бы в ружье. Возвращаемся, выходит, к истокам: и бесшумно, и дальнбойность... Эксперты считают, дальнбойность приличная, метров за сто можно человека убить.

— И кто же его?

— Ни-че-го я не знаю! Муж считал, что книги иногда убивают своих создателей. Не герои даже, а именно книги. И герои тоже. Так возьмете вы то, что я принесла вам? — И в глазах из-под модных огромных очков опять полыхнула надежда.

— Хорошо, я возьму.

— Спасибо! От меня, от малышки.

Ушла. А записки остались...

Я работал над ними прилежно, старательно; и трудиться, по правде сказать, пришлось много: человек набрасывал их в течение нескольких лет, они явно были начаты в годы безвременья и тотального контроля над мыслями, а окончены — прерваны! — в начале невиданного разгула демократии и гласности. Что-то было недоговорено, зашифровано. Очень многое повторялось.

Я кроил, я подклеивал один фрагментик к другому. Сокращал. Но в записках нет ни единого слова, написанного мной: все написано неизвестным лабухом — так на профессиональном жаргоне называют себя коллекторы, собирающие с нас, как выяснилось, психическую энергию.

Поверх рукописи, местами аккуратно отпечатанной на машинке, а местами наспех набросанной карандашом, растрепанной и раздерганной, в переданной мне папке лежали записные книжки. Но все это вместе, на мой взгляд, смогло составить достаточно цельное повествование: перед нами — история последних лет жизни одного из добродушных, отзывчивых, чем-то раз и навсегда перепуганных и в общем-то несчастных московских интеллигентов, влипнувших, как теперь говорят, в экстремальную ситуацию.

Неказисто она поведана, но она достойна внимания, и, я думаю, с ней следует ознакомиться...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

— Вы нам подходите, — как-то празднично выложил мне кругленький, сдобный человечек в светло-сером костюме; правда, получилось у него не очень отчетливо, потому что во рту у него, как я догадался, хлопал, клацал съемный протез, видимо, недавно, дня два или три назад, туда ввергнутый. Человечек засунул в рот палец, поковырялся там, что-то подправил, наладил и опять с суровой приветливостью уверил меня, что я под-хо-жу.

Стены голые, масляной краской когда-то покрашенные. Окон нет: помещение, а не комната. Но портрет на стене имеется: Ленин, конечно. И цветочек бумажный розовый в рамочку воткнут: это, видимо, в честь уже близких праздников.

— И товарищ, — человечек заговорщицки шмыгнул глазами на устроившуюся подаль, в тени, непроницаемую и похожую на средней величины монумент фигуру, тоже в сером костюме, но потемнее, — и товарищ считает, что вы нам подходите.

Снова поковырял во рту, проверил протез; вынул палец из рта, достал носовой платок, вытер палец (а на пальце — жирное золотое кольцо, обручальное).

— С идеологом нашим, с полковником Смолевицем Владимиром Петровичем, вы недавно имели обстоятельную беседу; медицинскую комиссию вы прошли на ура. И по прочим параметрам проверяли мы вас всесторонне. Как говорится, просвечивали. Все в ажуре. О'кей. У нас вопросов к вам нет. Нет же? — покосился на того, непроницаемого, монументально-безмолвного.

— Сестра у вас в Венгрии? — выдвинулся из тени безмолвный.

Мать честная, да он же совсем молоденький! Юный даже; но глаза-то уже искусственные, опытные и куда-то маяющие. Рот, о коем хочется сказать уменьшительно: ротик. И прибавить словечко, которое тотчас напрашивается: чувственный. А над чувственным ротиком — усики.

— Спыхватились, — с укором отбился я, уже зная, что доля дружеской фамильярности, дерзкой, хотя все-таки и умеренной прямоты в случаях, сходных с моим, весьма допускается. — С полгода как вернулась она, в Безбожном переулке живет. Час тому назад я у нее чай пил. Между прочим, с ликером.

Оба переглянулись. По-моему, одобрительно: «Каков, а?» Непроницаемый юноша снова спрятался в тень:

— Да, знаете ли, и в нашем ведомстве неполадки бывают. Бывают, бывают, теперь непогрешимых из себя мы не строим.

И тот, что с протезом во рту:

— Вы нам подходите. Курс обучения четырехмесячный, а если придется ускоренным темпом, то месяца три. Занятия три раза в неделю: понедельник, среда вечером, суббота с утра. В процессе учебы стипендия. Большая...

Он назвал сумму обещанных мне рублей, число было внушительным, почитай что равным моей зарплате, зарплате кандидата эстетики. Но опять у бедняги протез соскочил с десны; получилось: «Фипенди... вублей...» Он сокрушенно посмотрел на непроницаемого; все пришлось повторить сначала: в рот пальцем... платочек... спрятал платочек в карман пиджака... Наконец назначенную мне сумму обозначил он твердо. Уточнил:

— А по ходу прохождения практики набейте и надбавка... Питание на льготных условиях: талончиков вам оборудуем... икра, балычок, медициной одобрено. Условия последующей работы в общих чертах вы знаете, а детально вам все разъяснят, когда руководство найдет своевременным.

Я встаю, пожимаю им руки. Монументальный юнец, снова выдвинувшись из тени, глядит на меня доброжелательно, хотя, конечно, и испытующе. Приветливо говорит:

— До свиданья!

Раскланиваюсь, приближаюсь к дверям. Их створки предупредительно разошлись сами собою: фотоэлемент, очевидно. Выхожу в коридор. Теперь по лестнице вниз, а там уж обыкновенная, без фокусов, скрипучая дверь. И — на улицу.

А на улице и дождь, и туман; непроглядная печальная осень осенила Москву: чмяк-чмяк.

Осень будто бы хнычет, всхлипывает...

Я бреду по унылым переулочкам, думаю. Чмяк...

Да, пришла и моя пора... Вот и я, гляди-ка, связался с этими... с ними... чмяк... Судьба, стало быть. И моя судьба, кажется, сложилась еще не худшим образом...

А что они сейчас говорят обо мне? Да ничего, вероятно, не говорят: у них же серийность. Спровалили меня, грешного, и теперь охмуряют кого-то, следующего за мной: берут на работу. «Вы нам подходите... Условия...» А какая работа? Все еще окончательно не сказали, темнят. Одно знаю, они сами начали в прошлый раз: «Нет, нет, ни-че-го недостойного от вас никто не потребует, не те времена, перемены в нашем ведомстве необратимы, как и во всей стране... Да и ваше спокойствие... Да, нам нужно будет ваше спокойствие! Обеспечим вам полный душевный комфорт... А сущность работы? Поймите нас правильно, но это пока секрет...» и сегодня: «Вы нам подходите».

А с чего началось?

День за днем, час за часом начал я чувствовать, понимать: я нуждаюсь в бесхитростнейшей, в простейшей защите. Пусть и грубой. Даже вульгарной. Но в надежной защите, а то...

Знаю, что за мною кто-то начал следить — и ехидно, и пристально, и придиричиво. Сделали меня объектом дурацких наблюдений и опытов; хотят подчинить себе, и, надо сказать, у них это нет-нет да и получается.

Удается им подсказывать мне решение относительно второстепенных вопросов, мелочишек житейских: скажем, где встречать Новый год. Разумеется, с Людой, с моею... В общем, думаю я, понятно, кем мне Люда приходится и какие у нас... Скучно говоря, какие у нас отношения. С Людой, да... И я чувствую, что на Люду нежить эта нехотя соглашается, потому что разрушить нашу близость она не может. Но уж где встречать Новый го-о-од...

Было так, что взбрело мне на ум расположиться в пустовавшей квартире сестры (а она и впрямь была в Венгрии). Все спокойно и благообразно слагалось, как всегда у нас с Людой; и, однако, вдруг ощутил я томление, прямо смятение. Нервный, вкрадчивый императив стал нашептывать мне, что надо... Я сгреб со

стола тарелки, бокалы, бутылку шампанского; Люда воззрилась на меня изумленными большими глазами, очки делали их еще больше. «Одевайся, — бросил я ей, — поедем...» Люда повязала платок, застегнула дубленку. Мы пустились на «Жигулях» моих дребезжащих через всю Москву, с нищенским сладострастием полыхавшую огнями выраженных, как публичные женщины где-нибудь на Востоке, елок. Возле елок, у светофоров на перекрестках нас пытались остановить те, кто опаздывал: умоляли, хватались за ручки дверей. Мы же мчались, и у меня оказались лишь за несколько минут до удара всемирно знаменитых курантов: поспели! Добродушный правитель, произносивший по радио и по телевидению традиционную речь, уже храбро забубнил о наших очередных задачах: стало быть, он закруглялся, дело известное, потому что поначалу правителям было положено говорить об успехах и достижениях; о задачах — потом, к концу. Да, выходит, поспели. И, однако же, почему из одной квартиры я послушно притарабанил в другую? Явно воли моей тут не было, мною просто-напросто помыкали. И не раз было так.

Долго ль длится это преследование? Может быть, мне не поверят, но я точно не припомню, когда оно началось. После смерти мамы, конечно. Вероятно, она охраняла меня вплоть до взрослости. Но она умерла, и тогда за меня принялись какие-то мерзкие, незримые силы. И сегодня...

«Вы нам подходите» — это прозвучало спасительно. Вероятно, не только они, двое в комнате без окон, искали меня, но и я искал их. Подсознательно искал, нынче ж модно добираться до уровня подсознательного. И от сил незримых, притаившихся где-то и пытающихся мной помыкать, я ушел под защиту... Тоже незримых, но по крайней мере позитивно определяемых — уж так, что ли, назвать мне их. Там — какие-то призраки: дух, энергия, носители коей неведомы. Сплошное... жеманство! Да, жеманство: игра в управление людьми; поиграют, потом поутихнут, оставят в покое, а после опять поиграют, изводить человека примутся. Здесь — бойцы незримого фронта; у них свои тайны, но они мне понятны: люди как люди. И они меня защитят от тех, от жеманных энергоносителей-невидимок.

Или нет, не защитят? И попал я из огня да в полымя?

Обыватель, бедняга... Всем-то он нужен, оказывается. Все сулят ему блага. И все жилы из него, из обывателя, тянут: и незримые силы, пытающиеся заявить о себе, сделаться зримыми; и вполне, в полной мере зримые силы, пытающиеся остаться незримыми.

Размышляю о том да о сем и бреду переулками, паутиной сходящимися к Лубянке. Можно ли считать происшедшее сейчас, в скучно плачущем октябре 198... года, вульгарной вербовкой в тайную сеть КГБ? Если да, то зачем же меня уверяют, что работа мне предостанет оригинальная, творческая, требующая совершенно особенного душевного склада, артистизма и жизнелюбивой направленности ума? Что ее поручают лишь особенно одаренным людям, в частности, аристократам, представителям сохранившихся древнейших русских родов. «Сексот, да? — кривился, сидя напротив меня и глотая какую-то одуряюще пахучую таблетку, тот, кого сегодняшние мои покровители называли идеологом, Владимир Петрович Смолевич. — Вы еще скажите: стукач! Ах, уж эти мне знатоки! Все стереотипами, стандартами мыслят: будто наши внештатники, по стране повсеместно рассеянные, только тем и заняты, что слушают, кто какой анекдот толкнет, а услышав, бегут к нам вприпрыжку... Дальше не идет фантазия! А работы серьезной у нас между тем предостаточно...»

Толковал я со Смолевичем месяц тому назад — нет, пожалуй, месяца полтора, еще в самом конце сентября, в день мученицы Людмилы. Но вползание, втягивание мое в представляемую им систему началось...

Когда?

И с чего?

Да, так как началось?

Было лето, была жара, и я брел по Рождественке. По улице Жданова, то есть по бывшей Рождественке (а уж после она снова станет Рождественкой). Там что-то копают, роют: заборы, каналы, и пахнет там свежееотрытой землей.

Я брел налегке: ни каменного портфеля, ни полиэтиленовой сумки.

Я брел и наслаждался жарой, и будто не по центру столицы я брел, а по исконной русской деревне: какие-то бранные останки церквей, обломки монастырской стены.

Когда я брожу, я прееотлично работаю. Я прихрамываю: плоскостопие у меня; мысли же мои рождаются в ритме моего хромоноого шага, волочатся одна за другой; сцепления их получаются причудливыми, но мне такая причудливость как раз по душе.

Я зачем-то свернул во двор. Во дворе догнивали бурые доски, а на куче шлака возлежала собака. Как сейчас помню, черная: пудель, дворняга? Воззрилась зеленым глазом, вильнула хвостом.

Что-то меня вело — дальше, дальше, за стены церкви; теперь налево.

ГУОХПАМОН

И ниже, таким же золотом, но буквы поменьше:

Московское отделение

ГУОХПАМОН — будто имя некоего неведомого фараона...

Я знаком с одним фараоном. С Тутанхамоном, то есть не с самим фараоном, конечно, а с человеком, который доподлинно знает, что он — продолжение фараона Тутанхамона, проекция фараона в нашу реальность, в Москву конца XX века, инкарнация фараона. О нем попробую рассказать немного позднее.

Древнеегипетская надпись, впрочем, лепилась возле вполне добропорядочной двери, покрашенной грязноватой, увядающей охрой. За дверью — прохлада ступеней; в двухэтажном домике открыты окна, на окнах сентиментально обвисли домашние занавесочки.

Человек я, признаться, робкий. Запуганный я человек. Страх, что меня куда-то не пустят, а если ненадолго и пустят, то тотчас же прогонят прочь, въелся в меня с детских лет: швейцары, вахтеры, гардеробщики — орда седоусых красно-рожих людей, призвание коих куда-то меня не пускать, может победно греметь в литавры: ихняя взяла, одолела; и если целью их было на всю жизнь отравить меня страхом, цель их достигнута. В ГУОХПАМОН меня могли не пустить. На пути моем мог встать и дяденька-вахтер в фуражке с зеленым околышем, и тетка, перепоясанная поверх вполне домашнего шерстяного жакета, а по случаю жары и просто застиранной ситцевой кофты подобием португеп: «Пропуск!» Таких теток понаставили, вероятно, еще в боевом 1918 году, и с тех пор они не покидали своих постов. Сменялись наркомы, маячили и исчезали в провалах истории члены Политбюро, секретари генеральные, первые и простые, не титулованные и не нумерованные секретари, восходили и закатывались звезды национальных героев, а тетка невозмутимо маячила у входов в низовые учреждения, в редакции областных газет и конторы ведомственных издательств.

Но здесь тетки не было.

Еще не веря себе, я вошел в прохладный, пахнувший чем-то домашним подъезд: нет тетки! Сжавшись, пригтовившись чуть что заковылять наутек, я стал подниматься по каменной лестнице. Поднялся. ГУОХПАМОН — снова сверкнуло в глаза. И нарисованная на стенке рука, указывающая на дверь: туда, туда, где, по всей вероятности, живет фараон.

Толкусь перед дверью. Открыть? Но вдруг тетка там? Открою, а тетка: «Пропуск!» Или так: «Вы к кому, гражданин?» Что я скажу? И все же я отважно схватился за ручку двери. Открыл чуть-чуть, нос просунул, очки.

— Да входите же! — певучий такой голосок; контрально, кажется, низкий, добрый.

— А к вам, — говорю, — в самом деле можно?

— Отчего же нельзя? Входите!

Вошел.

Пустая большая комната. В окошки ветви деревьев ломаются, тень. По-домашнему занавесочки в окнах кольхнулись, когда ступил за порог. К окошку боком письменный стол, за столом... Татарка? Казашка? Раскосенькая, и черная челка над лбом.

— Из какой вы организации? — спрашивает. И хитро-прехитро на меня поглядывает. А может, и не хитро: азиатские раскосые глаза всегда кажутся лукавыми, хитрыми.

— Не из какой, я так просто.

— А, понимаю. Шли, шли и зашли?

— Вот именно. Шел и зашел.

Из-под челки глаза-угольки смеются.

— Так вы что же стоите? Садитесь!

Встает, выходит из-за стола, придвигает мне стул. Казашка, пожалуй. Или всего лишь татарка? Миловидная, красивая даже, только все у нее какое-то... удлиненное. Удлиненное личико; пальчики удлиненные, не пальчики, а персты. Когда вышла из-за стола, видать ее стало всю: из вельветовых коричневых брюк бежевого цвета туфельки-босоножки смотрят, из босоножек — пальчики ног. Тоже какие-то удлиненные, а оттого, что ногти на них вызывающе покрашены пунцовым каким-то лаком, они кажутся еще удлиненнее.

— А можно у вас курить?

— Что вы все заладили: «можно» да «можно»? Все можно. То есть, — усмехнулась, — конечно, не все, а только в пределах приличий, а так-то вообще не спрашивайте. Сидите курите. Я, пожалуй, и сама покурю. У вас какие?

— «Дымок», — засмутился я окончательно. — Рабоче-крестьянские, лютые. Если хотите, пожалуйста.

— Нет, что вы! И прямо лютые. Крепкие слишком. Я уж с фильтром.

Я пошарил в кармане, достал неприлично смятую пачку. Она выдвинула ящик стола, порвалась, на стол положила «Camel»: рыжий верблюд созерцает выжженную пустыню. Опять пустыня...

— А ГУОХПАМОН — это кто? Или что?

— Не знаете?

— Нет, не знаю.

— Честно, не знаете?

Рассказываю ей притчу: однажды писателю Симонову на читательской конференции прислали записку: «Скажите, пожалуйста, только честно...» У Симонова спрашивали мнение о чьем-то новом романе. Он развернул записку, громко прочел ее и ответил, картавя: «Това'иши, 'аз'ешите мне не отвечать на воп'ос, в кото'ом в общении ко мне т'ижды подче'кнуто слово честно». Смысл был такой: все, что мы говорим, мы говорим, безусловно, честно. Зал разноцветно зааплодировал. Я на этой читательской конференции был, хорошо ее помню.

Улыбнулась:

— Извините, это уж просто так говорится: скажи, только честно. А Симонов хороший писатель, только нами он еще не охвачен. А вы его знали, да? А я сейчас Пастернака читаю, «Доктор Живаго». Читали? Говорите, не бойтесь, а то, кажется, вы все еще чего-то... Нет, не бойтесь, а стесняетесь как бы. Если вы Пастернака читали, я не побегу куда-то такое... стучать...

— Читал Пастернака.

— И понравилось?

Приходится объяснять, что «понравилось», «не понравилось» — я так не могу говорить о книгах. Другие могут, а я не могу, потому как я профес-си-о-нал, и книги читать — работа моя.

— Вы кто же, учитель? Нет, что я! Профессор, наверное?

— Всего лишь доцент.

— А в каком институте?

— В УМЭ.

— Ин-те-рес-но! Я...

— Пробовали к нам поступать?

— Откуда вы знаете? Пробовала. Два года тому назад. Прошла собеседование. Меня спросили, что такое эстетика. Я уже знала, мне мальчик один сказал, наш, из Талды-Кургана, что положено отвечать: эстетика — наука о прекрасном, это Маркс написал в статье для Американской энциклопедии. Американской энциклопедии я не читала, конечно, но если Маркс, то что уж, наука о прекрасном, я так и ответила. Дядечка собеседование принимал, бородатый такой. Он сказал, что я разбираюсь.

— А потом? Не добрали баллов?

— Недобрала. Полтора не хватило. Сочинение на четверку я написала, по-французскому четверку схватила. По устному пять, по истории пять, а двух баллов все-таки нет. Средний балл аттестата у меня был четыре с полтинником, получилось двадцать два с половиной, а вы знаете, что проходной балл к вам двадцать четыре. Так обидно мне было — за себя и за Талды-Курган свой.

— А после не пробовали?

— Нет, не пробовала. Устроилась на работу сюда на правах лимитчицы, здесь, в ГУОХПАМОНе, временную прописку дают. А потом когда-нибудь буду поступать на заочное. В МГУ, на истфак, у вас же, в УМЭ, заочного нет...

— Ладно, леший с ним. Вы мне лучше скажите, кто же это — ГУОХПАМОН. ГУОХПАМОН-то ваш кто?

— Секретов, — хмыкнула, — тут нет никаких, только я хочу, чтобы вы сами догадались. Гэ — это что, как вы думаете? Гэ и У?

— Вероятно, главное... управление?

— Умничка, даром же вы доцент. А вы обедали уже? Хотите, пойдем обедать? Тут у нас «Пирожковая» рядом; не «Савой», но жить можно. Пойдем?

Записки мои...

Судьба у них больно мудреная; уже сейчас, в самом начале их, нетрудно заметить, как пластами накладываются на изложение происходивших со мною событий стили, вещные и языковые реалии, относящиеся к разным годам. Ма-а-а-ленький пример приведу: в моем разговоре с девушкой из ГУОХПАМОНА сигареты «Дымок» называются рабоче-крестьянскими, лютыми, слишком крепкими; и это свидетельствует, что разговор происходит на грани семидесятых и восьмидесятых годов: пик безвременья, правление дряхлеющего губошлепа-генсека, когда все же строились дома какие-то, возводились на пригорках универсамы, и в них продавалась снесь.

Начал я трудиться над тетрадкой моих записок тогда же: я хотел, чтобы мой рассказ о нескольких странных событиях, со мной происшедших, сохранился и, пережив меня, дошел до моих ближайших потомков. Как известно, многие переправляли свои произведения за рубеж, издавали их там. Но, во-первых, эти произведения были, я сказал бы, напряженней моих, энергичнее, злее да и просто несравненно талантливее; во-вторых же, мне почему-то претили всевозможные апелляции к Западу: было в них предостаточно суетливости, была доля заведомых провокаций, обращенных к нашим правителям. Совершенно иное дело — слово, сказанное как бы уже после смерти. И я ловко, как мне мнилось, придумал: закончить мои записки так, как закончит их сама наша удручающая реальность, и, доверив их одному-единственному человеку, положить их на хранение в некое надежное место. Пусть лежат, а известными они сделаются только после моего ухода из жизни.

Все, однако, пошло вразнос. По швам поползло государство, для блага которого я взыал на себя прилежное исполнение причудливой, напряженной и немного забавной работы; и хотя я и сейчас продолжаю ее, ни мне, ни моим товарищам не очень-то ясно, куда исчезают добываемые нами плоды.

В то же время слова, которые в годы безвременья звучали преступно дерзко, потускнели, увяли. Предать труд мой огласке можно было бы без скандала и без резонирующих на весь мир сенсаций. Но записки продолжали лежать: один экземпляр — у надежного человека, моей ученицы и друга; второй — у меня в столе. Иногда я доставал их, листал и с горькой досадою убеждался в том, что все в них заметно устаревает. Разбегаются, тают реалии; а на этих реалиях строятся образы, это скажет любой профессиональный писатель.

Я пока что живу. Живу и работаю. И в УМЭ, и еще... Об этой работе и речь. А записки я правлю и правлю; правлю, зная, что сие неразумно: поверх первого слоя, постепенно ставшего нижним, налагается второй слой, а потом, гляди ты, и третий наложится. И отсюда — стилевой разнობой.

Словом, трудно нашему брату интеллигенту, жить в такие эпохи, которые впоследствии станут называться переходными, переломными. Труд-но!

И, однако же, продолжаю...

В незабываемый день первой встречи девушка-казашка сказала, жуя пирожок:

— Зовут меня Динара. А вас?

Я назвал себя, буркнув:

— Все равно не запомните.

Она:

— Нет, почему же, запомню... Тем более что...

И впиалась в пирожок, а улыбку-ухмылочку опять затаила:

— Тем более что... А дальше?

— Откуда вы знаете, а может быть, я ждала вас, звала?

И какая-то тень по личику пробежала, нехорошая тень...

Почему-то она мне лошадку напомнила, эта девушка. Степную лошадку-двухлетку, вороного с подпалинами жеребеночка где-нибудь в неоглядной казахской степи.

А потом мы сидели на покато бульваре. За спиной у нас сползали вниз, к Трубной площади, автомобили один за другим, а те, которые мы видели,

напротив, торопливо карабкались вверх, как бы выбираясь из ямы. Ползли они к Сретенке и дальше по кольцу «А»; доползут автомобили до разрыва кольца, да и разбредутся в разные стороны одни — на мост, а другие — налево, к реке, будто купаться: жара же.

Мы сидели, курили.

Так и есть, Динара перепутала мое имя и отчество: переставила их местами, отчество сделала именем, имя отчеством.

— Говорил же я вам, не запомните.

Она:

— Простите. Давайте докурим, и я побегу: я же все-таки на работе.

— А этот ваш... ГУ...

— ГУОХПАМОН.

— Вот именно... МОН... Начнем с конца теперь: МОН. МОН?

Пауза. Курит Динара свой «Camel», верблюда разглядывает; неожиданно:

— Давайте пойдем в зоопарк?

— Давайте. Когда?

Загибает пальцы-персты, яркий-яркий маникюр впивается в смугленькую ладонь — на ладони будто капельки крови.

— В понедельник закрываем наряды монтажникам, работы будет навалом, зато уж во вторник... Во вторник вы можете?

Во вторник заседание кафедры: итоги приемных экзаменов... обзор новинок эстетики... Это утром, в одиннадцать. А потом?

— Во второй половине дня, — выдыхаю я струйку дыма, — могу.

— Значит, после обеда? Позвонить вам?

— Телефона, Динара, нет у меня: район новый, необжитой, Чертаново. Может, слышали?

— Еще бы не слышать. А видать не видала. Но раз нет телефона, тогда вы мне позвоните. Утром во вторник сможете? А номер я вам запишу.

На чем бы? Я — по-летнему, в тенниске полосатенькой, ее еще Ирина мне подарила когда-то. В кармане только «Дымок», и Динара пишет на мятой пачке: 224...

— Разборчиво я написала?

Легким-легким касанием дотрагивается до меня: кладет на мгновение мне на руку руку; срывается со скамейки, бежит. И хотя — кто не знает! — бегущая женщина, если сзади на нее посмотреть, некрасива, она бедрами, задом виляет, у Динары и бежать получается изящно: право слово, лошадка! Добегает лошадка-девушка до угла бульвара и улицы Жданова, Рождественки тоже, обернувшись, махнула рукой. Сделала руки рупором, прокричала что-то. Я не расслышал, потому что как раз в это время вверх по бульвару взбирался фургон «Молоко», выли надсадно, скрежеща передачами. Подошел я поближе, к ограде.

— Мо-ну-мен-ты! — кричит Динара.

— Какие? — кричу я в ответ.

— Мо-ну-мен-ты мы...

И опять фургон лезет в гору, другой уже, но опять «Молоко»; сколько же можно пить молока! Заслонил молочный фургон Динару, облачком дыма плюнул мне прямо в нос. Проехал. И Динары нет, только облачко дыма тает.

Это было позавчера. А сегодня лежу я на своей раскладушке, дремлю.

Скользят тени, бубнят голоса, доносящиеся ко мне из реальности, не похожей на нашу, иной. Но невоспроизводимы они: пробудишься, встряхнешься и уже ни-че-го не помнишь.

Да и надо ли помнить?

— Монументы мы охраняем. Монументы и памятники. — И Динара рассеянно глядит на скучную серую громаду слона и на маленького слоненочка; застыли они на тумбах-ногах, слоненок еще хоботком кое-как помахивает, а старший и вовсе не движется, не колышется; неужто же и они от жары притомились?

— Монументы? Какие? И от кого же вы их охраняете?

Лижет Динара мороженое, носик уткнулся в вафельный стандартный стаканчик, а глаза из-под челки улыбаются мне.

Какой-то зевака тоже лизнул было свой стаканчик с мороженым, но подумал-подумал и, пьяно-счастливо ухмыльнувшись осенившей его догадке, шагнул назад, размахнулся и — бац! — метнул стаканчик через решетку, будто гранату. И пояснил:

— Слоненку-то жа-а-арко, пускай покушает.

До слоненка стаканчик не долетел: шлепнулся на срезу канавы, отделяющей слонов от людей, и, оставив там беловатый, молочный след, соскользнул в ржавую, стоячую воду. Сокрушенно покачал головой зевака, развел руками:

— Я хотел, чтобы, значит, покушал. Жарко же.

— От кого же вы охраняете монументы?

Динара стаканчик доела. Взяла меня за руку жесткой ладошкой, потянула в сторонку. В темноватой пустой аллее принялась объяснять почему-то таинственным шепотом:

— Я только первый слой знаю, первую группу сведений. Первый уровень, как у нас говорят. А есть второй уровень, потом второй «а», второй «б». Третий есть. Всего, кажется, одиннадцать уровней, но в каждом еще и подуровни, так что, в общем, говорят, тридцать три.

— Уровни? Чего уровни?

— Да сведений же! Уровни сведений. Я на первом: оформление нарядов, монтаж, демонтаж. Есть у меня подруга, коллега; вы там у себя, в УМЭ, друг друга коллегами называете, а я свою подружку называю коллегой. Ее Катя зовут. Екатерина Великая, так она по историческим справкам, у нее и уровень выше...

Тощий олень меланхолически подошел, едва не ткнулся мордой в проволочный забор. Посмотрел на нас умоляющим масляным оком.

— Булочки хочешь? — угадала Динара. — Нет, миленький, булочки нет; не захватила сегодня, в следующий раз непременно возьму. Иди, олешка, шагай, у нас тут свои дела.

Мне показалось, что олень кивнул понимающе. Во всяком случае, он будто сделал по-солдатски налево кругом, повернул и послушно потрусил в глубину владений своих.

— Непонятно? От кого, говорите, охранять монументы? А видели, дядечка этот слону мороженое кидал? Вы думаете, один он такой? Нынче, — тут она неожиданно заговорила баском, повторяя кого-то, — нынче много развелось охотников разными предметами кидаться. Кто мороженым, — сказала она уже своим голоском, — а кто хлебом. А кто камнями кидается. Поллитровки пустые, конечно, просто беда. А уж эти малышки-бутылочки на треть литра, из-под «Фанты» оранжевой, из-под «Пепси», «Байкала», ух ты-ы-ы! Так и летят. Или лампочки электрические... А бывает, пожуют-пожуют бумагу или просто кусок газеты в луже намочат и...

— Кидаются?

— Конечно, кидаются. Утром люди встают, население. Бегут на работу, поглядят, а на памятнике... То ляпка от мороженого у какого-нибудь исторического деятеля под носом — это у наших рабочих, у мойщиков, называется, извините, сопли; то бумажные блямбы глаза залепили. А вокруг осколки стекла...

— А милиция куда смотрит? Милиционеров-то в городе все больше становится, с собаками шастают или на мотоциклах.

— С милицией ГУОХПАМОН наш в контакте. Только что же милиция? Они правильно говорят, что не могут же они у каждого монумента постового поставить. Круглосуточный пост. Они патрулируют, ездят по городу; стараются, ловят кое-кого. Одного недавно даже оформили как мелкого хулигана.

— А он чем же кидался? Поллитровкой? Лампочкой?

— Нет, все тем же мороженым. Как этот, который слоненку. Пьяный, вечером дело было, при людях. Сейчас лето, киоски с мороженым допоздна торгуют. Он стаканчиком р-р-раз! И надо же, прямо в рот угодил...

— Кому?

— Алексею Максимычу. Горькому. Его с поличным взяли, свидетели были. Да он и не отрицал ничего, как этот, который... слоненку. Говорил, будто хотел он, чтобы писатель полакомился.

Она вскинула на меня глаза черноугольные. Замолчала.

— Отчего же они... это самое... кидают всякие предметы? — И, не дожидаясь ответа, неожиданно для себя я сказал: — Динара, а давайте поедem ко мне?

— А к вам можно? Поедем, раз приглашаете. Да, так я про того дурака, который в зубы Горь...

— По ментальному плану защитить его можно. — Яша к небу поднял прозрачные, неживые, будто вставленные стекляшки, глаза. — Понимаешь, они, курвы,

атаку, атаку задумали, космическую атаку. Надо срочно создавать ментальный разряд, антиэнергетическую гребенку. Перекрыть им космическую подпитку...

Есть в Чертанове совсем как будто бы маленький, но глубокий-глубокий пруд. Нацедила его природа на месте карьера, песок брали оттуда. Пруд, выходит, недавний, очень может быть, что самый молодой в Москве пруд, но уже, утверждает молва, имели место утопленники. А в Москве со времен «Бедной Лизы» Карамзина повелось: всякий пруд молчаливо признается достойным внимания только после того, как вылавливают из него хоть одно, пусть даже плюгавое, мертвое тело. Пруд же, не освященный своими утопленниками, как бы только лишь предварителен, это пруд-заготовка, пруд-полуфабрикат. Но чертановский пруд уже признан прудом полноценным.

Яша сыплет слова, захлебываясь, отчаянно картавя: «С'очно.., г'ебенку...» Боря слушает его. Непокойно Боре, поминутно он ерзает: то сандалии снимает, песок вытряхивает; то платок носовой достает из кармана, расправляет на травке и снова складывает.

Жизнь у Яши, электромонтера поездов, жизненерадостно снующих меж Москвою и Ленинградом, обрела наполненность, заиграла оттенками высших смыслов: он узнал свою карму; уже год, как он ходит в озаренных, в постигших. Постигание снизошло на него от его гуру Вонави. В подобающей торжеству обстановке ему было открыто, что мигрировал он к нам из Египта XIV—XV веков до нашей эры из обширнейшего дворца. Он успел оповестить об этом едва ли не весь резерв проводниц Октябрьской железной дороги. Проводницы и буфетчицы дальних поездов отнеслись к его излияниям с неожиданной тихой почтительностью, а уж Таська Кондратьева, известная б...., так прониклась сознанием масштаба его драматической кармы и его теперешней миссии, что от Яши и не отходит, все глядит на него — наглядеться не может. А что дальше-то делать Яше? Не затем же было даровано ему озарение, чтоб терзать любвеобильное сердце Таськи; для высокой миссии даровано оно было.

...кому. Он глупый был, пьяный. И глупости говорил: хочет, чтобы Горькому было сладко.

— Вы что же, его сами видели? Того, который Горького мороженым потчевал?

— Сама не видела. Но у нас был инструктаж, еженедельные сводки к нам поступают, обзоры. А теперь и видеозаписи смотрим.

Значит, так: в пятницу, да, конечно же, в пятницу проник я в этот... Тутанхамон... ГУОХПАМОН то есть. Мы с Динарой вышли из этой странной конторы, пирожки жевали и пили мрачный кофе, топчась у столиков, за которыми надо не сидеть, а стоять. Я вяло переминался с ноги на ногу. Динара.... Придумал же кто-то есть стоя. Динара стояла спокойно, жевала пирожок и только головой как-то странно мотала вверх-вниз в ритме собственной речи (тогда-то, кажется, я и подумал: лошадка степная). Кругом нас, млея от зноя, топтались граждане, будто бы танцевали медленный-медленный танец, танго, дирижируя пирожками. А потом сидели мы на Рождественском бульваре, курили. Была пятница, да?

Суббота, воскресенье и понедельник. Что я делал? Думал все больше. И саднило в сознании: Динара, Динара...

«Позвоните мне». — И улыбается уголками-глазами. Хорошо, позвонил. Как условлено было, во вторник.

Яша, Яков Барабанов, и Боря, Борис Гундосов. Вонабараб, Восоднуг, их фамилии и имена перевернуты в целях сохранения конспирации, дабы силы зловещие, из-за океана, из космоса икс-лучи на нашу страну изливающие, не могли бы подслушать, подключиться, попытаться заморозить и деформировать их энергетические поля.

Я и к Якову (Воя), и к Борису (Сироб) очень хорошо отношусь, и я буду душевно симпатизировать им до конца нашей странной близости, хотя есть в них все же закоснелость, меня раздражающая, неспособность выйти из круга понятий, нравов, обычаев, привитых одному — в резерве проводников Октябрьской железной дороги, другому — в московских таксомоторных парках, а после на станции технического обслуживания автомобилей, СТОА-10. Никак не могут они, например, приобщиться к духу совершенно особенной, таинственной, радостной и при

этом чисто духовной близости к девушке, к женщине, а традиции такой близости еще теплятся в нашем УМЭ.

УМЭ — университет марксистской эстетики. Уж хорош ли он, плох ли, но есть там традиция рафинированного и возвышенного духовного эротизма. И, во всяком случае, я и ближайшие мои аспиранты, студенты сумели создать себе мир, в пространстве которого то и дело могла вспыхнуть и вспыхивала странная влюбленность в появившуюся у кого-то идею, в гипотезу. Да, конечно, и в человека, ее принесшего. И такая влюбленность совершенно необходима для высшей школы, а различные идеологические утеснения и гонения ее только усиливают; и уж как ни молотили наш бедный УМЭ, он остался хранилищем светлой традиции; мне досталось принять ее и продолжить. Гонений и преследований хватало, спасала влюбленность: я влюблялся в мою молодежь, молодежь влюблялась в меня, наконец, все мы влюблялись друг в друга. И жена моя Ира меня понимала; и Люда теперь понимает. А ни Яша, ни Боря не понимают; и когда они, забегая ко мне поздно вечером, застают меня в окружении цветника всевозможных Наташ, Маш или Свет, попивающих кофий и рассуждающих об эстетике карнавала, они оба начинают как-то недвусмысленно переглядываться, елозить, многозначительно в бок друг друга подталкивать. Они оба истолковывают наши умствования как прелюдию к чему-то... гм, да... Озадаченно недоумевают: да неужто же я один совладаю с этой оравой? Не верят, когда девы мои, спохватившись, срываются и уходят, спешат на метро. Яша с Борей уверены: уж одна-то наверняка возвратится, останется у меня до утра. Нет, не понимают они изысканной нашей духовности!

А Динара, та все поняла корректно.

Во вторник я ей позвонил. «Попросите, пожалуйста, Динару», — пробаритонил я своим почему-то неизменно печальным голосом, к тому же еще и робев. По-мальчишески, по-юношески я пуще всего боялся, что скажут: «А кто ее спрашивает?» Что тогда говорить? Но женский голос мягко-мягко промурлыкал: «Одну минуточку. — И: — Динара, тебя». Потом контрольно пропело: «Да-а?»

Мы встретились у входа в зоопарк. Мои «Жигули» пришлось приладить у Большой Грузинской. Пока мы гуляли по зоопарку, смотрели слонов, пока Динара по душам беседовала с оленем, «Жигули» нагрелись донельзя. Но как только мы тронулись с места, стало прохладнее; еще лучше было, когда я рванул по набережной. И теперь мы в Чертанове: кофе, две рюмки с замысловатыми украшениями, коньяк, стандартное московское потчевание. Динара чинно сидит на моем пунцовом диване, рассказывает:

— Да, я про Горького. Но с Горьким так, эпизод. Дурак какой-то: Горький... да чтобы сладко... Но данный эпизод, товарищи дорогие, — и она опять баском повторила чьи-то слова, — есть звено в цепи, в известной системе, и мы не имеем права рассматривать факты вне их взаимосвязи...

Добродушно темнеет. Закат еще летний, по-нашему, по-московски, протяжный, как песня. Динара курит, стряхивает пепел; пепельница у меня — сувенир, подарок сбившегося с пути аспиранта-заочника (для студентов у нас в УМЭ заочного отделения не имеется, но аспирантура заочная есть, из республик народ приглашали, бывало, щедро: готовили национальные кадры). Над пепельницей, над чашею неглубокой орел сложил крылья да так и застыл над гнездом.

— Как по-вашему, в Москве сколько памятников?

— Гм, — озадаченно протираю очки, — не задумывался. А тем более не считал. Десятка три наберется?

— Приве-е-ет (иронически)! — И Динара кофе отпивает из чашечки. — Но вы знаете, так многие думают. Кто говорит двадцать, кто тридцать. А их...

— Неужели же больше? Сто?

— Да более семисот их, бо-ле-е се-ми-сот! У нас на учете пятьсот тридцать восемь скульптурных изображений. Смотрите-ка, один только центр. Сосчитайте.

— Хорошо. — И я водружаю очки на их постоянное место. — Попытаюсь. Дзержинский...

Динара пальчики загибает:

— Раз!

— Потом Свердлов, Маркс. Островский Александр Николаевич.

— И все? — И Динара поднимает ладонь; четыре пальца согнуты, один, большой, торчит, изогнувшись.

— Да вроде бы все.

— А Ивана Федорова забыли. Первопечатника?

— Ох, забыл Федорова.

— Хорошо, Бог с ним, с Федоровым. Но у вас распространенная ошибка: вы видите памятники только по горизонтали, как бы на блюдечке. Вертикаль исключаете. А вы посмотрите вверх. Мысленно. Ну? Что, вернее, кого увидели?

— Аполлон?

— Аполлон, — смеется девушка; смеяться-то она и смеется, а личико у самой вдруг подернулось грустью, даже, как сразу же мне показалось, тоской обреченности. — Это я вам подсказала, напомнила. Вы почувствовали?

— А вы что... это самое... парапсихолог?

Уклончиво прячет глаза.

— Теперь уже без моей подсказки... Вниз, спускайтесь мысленно вниз. Плавно-плавно. Итак, мы будем каждый монумент расчленять. На объекты. Аполлон объект, а лошадки что, не объект? Каждая лошадка объект, понимаете? Кажда-я. И все они под охраной.

— Господи, — изумляюсь, — а их от кого охранять? Аполлона? Лошадок? Аполлон, он же к солнцу вознесся, а уж до него-то мороженым не докинешь, по-моему.

— Мороженое тут, конечно же, ни при чем, да не в нем только дело, не упрощайте. А атмосферные явления разные, а? Перепады температуры, ливни, морозы. А птицы! Птицы отдельный вопрос. Проблема. Голуби. Воробьи. Ласточки тоже. Вьют гнезда, выводят птенцов. Или так: в щели вода набирается, замерзает. Лед. Лед может целый бронзовый памятник разорвать, деформировать.

— Да, но как от дождя оградить Аполлона? Что же, зонтик ему подарить? Аполлон и под зонтиком, да? Плащ какой-нибудь?

— Аполлона, конечно, не оградить. Но мы в таких случаях к профилактике прибегаем. Про это потом. А сейчас...

— Вниз прикажете поглядеть? Тут я понял: метро. Площадь Революции. Бронзовые фигуры. Манизер их изваял.

— Вот именно. А какие фигуры? Спорим, что всех не помните. Да, кстати, еще одного Свердлова забыть изволили. Бюст в подземелье, из серого камня. Бегут по подземному переходу москвичи и гости столицы, в бюст утыкаются. Да ладно, Бог с ним. А бронзовые фигуры какие? По-нашему, бронзяки?

По-ученически старательно, как студент, пытавшийся вы зубрить какие-нибудь «черты», «свойства», «источники» или же «составные части», но в конце концов перепутавший их, махнувший на них рукой и положившийся на великое «авось», вспоминаю: девица... бронзовая девица... курицу кормит. Пограничник и пес, неотрывный от поэтики социалистического реализма альянс собаки и человека, их взаимное проникновение... И другая девица, читает раскрытую книжку, нет того, чтоб пойти да помочь той, что курицу кормит; а потом уж вместе и почитали бы... Все они угнетенные, как бы придавленные. И где-то я слышал, что в придавленности их напряженных, ссутуленных поз отразился год, когда их отливали, волокли туда, в подземелье, водружали там. 1937-й, 1938-й, кровавые годы. Позы помню, но тему, фабулу каждого изваяния, нет, не могу припомнить.

— Двойка вам, товарищ доцент эстетики! Не поленитесь, пойдите когда-нибудь, пересчитайте фигуры да в лица им посмотрите, повсматривайтесь. Все это объекты. Наши объекты. Вопросы есть?

— Есть, — признаюсь виновато, — есть два вопроса. Один: а там, в подземелье, тоже... это самое... расчленять, как с квадригой? Каждая лошадка объект. Стало быть, и собака объект? А тогда уж и курица; так сказать, курочка ряба?

— Толковый вопрос. Объект — это каждый самостоятельный организм. Собака, лошадка, курица — зоообъекты. Анималистические. На них картотека отдельная и наряды особые; все имеется в нашем ГУОХПАМОНе, в Главном управлении охраны памятников и монументов. А второй вопрос?

— Даже как-то неловко спрашивать. Там, в метро... Там ни морозов, ни ливней. Там и птички гнездышек не сошьют. И кидаться, по-моему, ничем не станет никто. Не рискнет, потому что кругом милиция да и людей полно. Там-то как?

— Ни-че-го вы не понимаете! Ни-че-го! У населения нашего сложилась особая психология. Психология... Поиска возможностей диалога, как нам объясняют. Знает, понимает человек, что перед ним монумент. Бронза, мрамор. Гипс, на худой конец алебастр. Видит, что глаза у монумента пустые, все, словом, яснее ясного. А тянет, тянет что-то: вдруг да?.. Вдруг да заговорит монумент?

— Куры закудахчут или собака залает?

— Что-то вроде того. Или, скажем, — Динара отважно мне в глаза посмотрела, — либидо. Здоровенный матрос-балтиец, и весь-то он как живой. Или пуще того, спортсмен, футболист. Он для женщины... Знаете? Вожделенный партнер! А для вас, мужиков, красотки. Пусть хоть из бронзы, в том-то и прелесть их, может быть... И в общем...

— С мороженым лезут?

— Далось вам мороженое! Кто во что горазд изощряется, лишь бы с монументом в контакты войти какие-нибудь. В плотские, в садистские опять же. Курице, только курице клюв при мне три раза приваривали; уж неведомо как, а отрывали ей клюв. Отпиливали. А собаке несчастной! То намордник накрутили какой-то, так вы не поверите, мы трем слесарям наряды выписывали, едва отцепили намордник. А уж сигарету собаке в рот, это запросто. Или надписи выпарапывают. Не всегда нецензурные даже, а так, нацарапали один раз: «Ура!» А в другой раз: «Слава КПСС!» Это на собаке-то, а? Не очень прилично, правда? А к девушке, к той, что книжку читает, эротоман какой-то пристал. Приходил к открытию метро, к полшестого утра. Приклеивал бумажку каким-то особенным клеем на грудь и на бедра. Или ночью. После двенадцати пустеет метро, так они... Они — это граждане, люди. Москвичи и опять же гости... Изощряются кто как может!

Догорал добродушный закат, а Динара моя разошлась: наболело у нее, допекло. Да и как не допечь?

— Город огромный. Мегалополис. Восемь миллионов постоянного населения да миллиона два так, без прописки, болтаются. И еще два миллиона приезжих, проезжающих через Москву. Пусть из них отыщутся сто, двести чудил. Идиотов. Психопатов. Маньяков или так просто, ищущих диалога. Семьсот изваяний. Пусть каждый второй, нет, даже каждый четвертый с одним изваянием — только с одним! — пожелает вступить в диалог. Получается, от двадцати пяти до пятидесяти! Пятьдесят разных штук, эксцессов: мороженое, надписи... И окурки опять же. У кого-то нос отобьют, у кого-то палец отпилят.

Динара помешивала ложечкой кофе, курила; закат угасал. Я нехотя настольную лампу зажег. Слушал и мычал по привычке: «Ага... гм... м-м-ммм...» А Динара...

Статуй. Монументы. Сколько живу в городе, нет такого дня, чтобы мимо какого-нибудь не прошел, не проехал. Метут метели московские, тусклые, безнадёжные... Льют дожди. А летом пыль, смог. Скучно им, монументам. Скуч-но!

Бывает, правда, у памятников назначают свидания. «Твербулпампуш», это из анекдота давнего, как бы плесенью подернувшегося от многочисленных пересказов: «Тверской бульвар, у памятника Пушкину». Он и она. Или — и это, говорят, все чаще бывает — он и... еще один он. Другой «он». Он — «он», и он — «она». Или: она и она. Феминистки: женская дружба, обойдемся без мужиков...

Вокруг памятников водоворотом кипят демонстрации.

Поначаду — еще те, классические демонстрации; люди шествовали стройными рядами, плечом к плечу. Иногда, впрочем, монументальная стройность нарушалась пьяноватым приплясыванием, переливами гармошки, топанием, свистом. Называлось: демонстрировать мощь и величие, то величие, на коем и был основан эпос нашего социального устройства. После же начались демонстрации доморощенные: возле Маяковского кучковались вольнодумцы-поэты, у подножия Пушкина цвела публицистика, разномастные интеллектуалы требовали соблюдения Конституции СССР. И такие демонстрации год от года нагтели, домогательства интеллектуалов становились все откровеннее: они против социалистической демократии, подавай им демократию буржуазную!

Но какой бы демократии ни домогались интеллектуалы, монументы стояли неизбежно, погрузившись в свои чугунные думы и меланхолически созерцая возлагаемые к стопам их цветы.

Но, оказывается, была, есть у монументов и неведомая нам жизнь, печально-таинственная. Непokoйная. Потребность в святотатстве? В кощунстве? Когда-то Достоевский кипел вопросом: стрелять в причастие... Теперь все поменьше: plombиром за двугривенный — в основоположника... в великого пролетарского... Человек — это звучит гордо... Если враг не сдается, его... И plombиром за двадцать коп. Ноль-ноль руб., двадцать коп.: Горький, кушайте! Динара права: потребность в диалоге. И еще, вероятно, упование, ожидание чуда: а вдруг Горький — ам! И проглотит plombир. Облизнется, коснется указательным пальцем усов и скажет, заученно окая: «Хорошо живете, товарищи! Вкусно, сладко жить на нашей большой планете!»

Потребность в легенде: вдруг да заговорит монумент, возглаголет? И еще: вера в то, что в мире нет ничего-ничего неживого; тем более если неживое облачается в форму живого: в изваяние Бога ли, человека ли. Или собаки. Уж хотя бы собаке — кусок колбасы, пусть подпорченной, с запашком. А вдруг — хоп и того... и проглотит. И хвостом помашет тебе благодарно? А? Брон-зо-ва-я со-ба-ка!

А Динара рассказывала о том, как страдают ее бронзовые, мраморные подопечные: она жалела их, будто живых людей, своих хороших товарищей и подружек-коллег. Сострадала им. Возмущалась, хотя был в ее рассказах и неизбежный холодок — профессиональный подход: так, должно быть, медицинские сестры из травматологических пунктов говорят об ушибах, об увечьях по пьянке, о раздавленных колесами грузовиков, сбитых «Волгами», «Жигулями», а теперь уже и «Мерседесами» или «Вольво», об убитых током и зарезанных в драках.

— Вы проводите меня? До метро?

Бессонница двух родов: одна — такая, когда не можешь заснуть, беспомощно, как младенец в колыбели, ворочаешься, кряхтишь по-стариковски, молишь Господа о том, чтобы сон ниспослал; а другая бессонница хуже, заснуть-то заснешь, а через часик-другой проснешься и, как говорится, кранты, больше уж не уснешь. Интересно, во время какой бессонницы сложил Пушкин свои «Стихи, сочиненные ночью...»? А скорее-то всего стихи появились днем, когда подмораживало и окрестности родового селения залиты были задумчивым осенним солнечным светом...

Выбрался я из комнаты в лоджию, улегся, накрылся цветастым узбекским халатом, чапан называется. А заснуть не могу. Бог мне сна не дает, не шлет.

Наплывают одна на другую мыслишки...

Мо-ну-мен-ты... Весь центр Москвы — вереница, шествие монументов. Дзержинский, а тут же Воровский. Ниче Островский Александр Николаевич, Маркс. Наверху Аполлон, как же это я осрамился? Кони, квадрига. Минин с Пожарским. Свердлов на земле и Свердлов в подземелье, тут аж двух Свердловых поставили, для надежности, что ли.

Мысль перебирается за рубежи нашей Родины, почему-то в Лондон, в Трафальгар-сквер. Есть там памятник адмиралу Нельсону, а внизу, вокруг пьедестала, — его, адмирала, сподвижники. Уж так принято: посередке персоне наиглавнейшая, по бокам — или сподвижники ейные, или так, собирательно-обобщенные персонажи. И каждый из таких персонажей — отдельный объект: Ленину, положим, Ильичу поставили, водрузили памятник на Калужской площади, которую незаметно, украдкой, стали вдруг звать Октябрьской, так там Ильич посередке, а пониже — обобщенные типы. Ти-па-жи, он же тоже как бы адмирал-флотоводец, это в нем еще Есенин подметил: «Капитан Земли», так назвал Ильича; и вообще политический вождь в трактовке социалистического миропонимания, он — кормчий. Да, но как же с глазом? Да, с глазом, с глазом?.. Один глаз был у Нельсона. И у нашего Кутузова, у Михайлы Илларионыча, тоже... А у Ленина оба глаза на месте, глядел в оба, так, что ли? Или ленинский прищур, воспетый биографами, заменял однооконость?..

Сплю? Нет?

Мир монументов — мир гармонии, достигнутый вяже, как бы реально: все они — современники по отношению друг к другу и по отношению к нам; времени больше нет. Ломоносов и Маркс встали рядышком. Тут же Федоров, первопечатник. Тут же писатель Островский царственно в кресле своем восседает, поодаль — Свердлов. А над ними над всеми — очень-очень двусмысленный бог, Аполлон.

Кажется, сплю я...

Отпылал жарою июль; отгромыхал он грохотом поездов метро, скрежетом их в утробах тоннелей.

На Рождественке, улице Жданова тож, стал я всегдашним гостем: до того хорошо мне там, что и в отпуск не еду.

Динара просветила меня:

— Понедельник и вправду очень тяжелый день. С утра сводки за пятницу, субботу и воскресенье. Самые вредные дни, особенно, если придутся они на начало месяца: аванс да получка. Аванес, как почему-то иногда произносят трудящиеся. Перепой всеобщий. А летом приезжие, и всем охота...

— Вступить в диалог?

— Вот именно!

Суть работы Динары мне уже совершенно ясна: до 11 часов понедельника ей положено знать, что и где соскоблили, отрезали, отпилили и написали. Она должна определить характер предстоящих работ: сварка, шлифовка, пайка. Выписать со склада запасные персты, носы, уши — оказывается, есть склад, на котором хранятся уже отлитые и отшлифованные детали декоративных и мемориальных скульптур гор. Москвы. В 11 собираются бригадиры и мастера: молоденький лепщик Гена, недавно окончил техникум, еще не женат, веснушчат, застенчив, собирает пластинки Ива Монтана, Эдит Пиаф и — как же иначе? — Высоцкого. Сварщик Алексей Михайлович, пожилой работяга, женат дважды. Пьет, бывает; но дело знает прекрасно, недавно был представлен к медали «За трудовое отличие». Шлифовщики, есть даже и такелажники. Динара вертится как заводная: выписывает наряды, оформляет путевые листы управленческим грузовичкам и фургонам. Для того чтобы приварить Чайковскому палец, надо палец обозначить особым кодом, заполнить бланк доверенности на получение перста-полуфабриката. Выписать кислород, баллоны. Оформить справку шоферу сварочного агрегата. Свериться с нормативами и отстучать на разболтанной донелье машинке наряд Алексею Михайловичу: Соколову А. М., сварка детали ПУ (палец указательный) лев. (левый), транспортное время 30 мин., рабочее время 30 мин. Итого 1 (один) час работы, причем Алексей Михайлович, натурально, ворчит, аудит, что за полчаса ему нипочем не управиться: кислород дают дохлый, стержни такие, что пусть их твой начальник себе в ж... втыкает или жену е... этими стержнями. Динара сердито шипит на рабочего, тычет ему книгу расценок, наконец многозначительно напоминает о каких-то липовых, фиктивных нарядах на прошедшей неделе. Тот умолкает и отбывает на склад.

Вторник, среда проходят полетче. К четвергу опять накапливаются злодеяния: во рту у кого-то оказалась подметка от башмака, приклеенная намертво каким-то особенным синтетическим клеем, таким образом некий писатель-классик словно бы показывал прохожим язык. Афродиту в музее им. А. С. Пушкина окатили несмываемой краской; и Динара пишет наряд: «Смывка статуи, общ. площ. 3 м², с последующей полировкой». Маляр Толя вяло острит: «Динарочка, ласточка, где полировка, там и поллитровка...» И едет мыть Афродиту. Напустив на лукавое личико выражение крайней озабоченности и таинственности, Динара звонит куда-то, закрывши ладошкой диск телефона, и вполголоса спрашивает, будут ли завтра в первую смену свободны монтажники-верхолазы. На заданный кем-то на другом конце провода вопрос она отвечает: «Могут понадобиться!» И вешает трубку. Потом раздаются переливчатый резкий звонок, так обычно звонят с междугородной станции. Но здесь явно что-то другое; Динара быстро срывает трубку и, явно недослушав, успокаивающе воркует: «Да нет, нет... По вашей части нет ни-че-го... Так, пальцы рубят да девок лапают... Разумеется, сразу же проинформирую вас, если что...» Словом, хлопоты, хлопоты! А мне интересно, я и толкусь здесь, в тенистой прохладе ГУОХПАМОНа.

Недавно Динара сказала мне:

— А скоро Катя вернется из отпуска. Екатерина Великая, мы ее так называем. Это она, если помните, подошла к телефону, когда вы позвонили мне в первый раз. Сейчас она под Москвой, в санатории отдыхает. Вернется, полетче мне будет. И еще у меня начальник имеется, замрукуп называется, то есть заместитель руководителя нашего управления. И еще... Да вы с ними со всеми в скором времени познакомитесь, вы у нас в управлении уже почти своим человеком становитесь...

Что верно, то верно: к концу памятного лета 19.. года в ГУОХПАМОНе я и вправду стал почти своим человеком; и с тех пор жизнь моя прямо-таки помчалась к решению, которое мне во что бы то ни стало надо принять.

Поначалу, правда, я об этом и ведать не ведал. Просто мне интересно было: интересно видеть изнанку мира, глаза на который мы, по умственной лености нашей, об изнанке его и не подозреваем нисколько. И на любопытстве моем меня подловили; незаметно как-то у нас в УМЭ в помещении даже не партийного бюро, а профкома состоялся разговор со Смолевиным, с Владимир Петровичем. А затем и сказали мне: «Вы нам подходите!» Но тогда, когда двое в серых костюмах завлекли меня поработать у них, на дворе уже был октябрь. Середина его, шестнадцатое.

В моей жизни сдвиги произошли, возымели место решающие события, состоялось приобщение к тайнам. Но и в жизни Яши и Бори тоже. Даже более того: по части приобщения к тайнам они оба да-ле-ко опередили меня — так, во всяком случае, им казалось.

Рабочий день на станции технического обслуживания автомобилей, СТОА, начинается в 8.30; но это для клиентов, для тех горемык, что на рассвете, а для верности даже и задолго до рассвета, в московской лиловой ночи топчутся у порога, ведя скрупулезную запись по номерам: номер — фамилия, номер — фамилия. В 8.30 им откроют ворота, врата, и начнется их, клиентов, рабочий день. Для администрации же, а также для мойщиц, слесарей, аккумуляторщиков и баллонщиков рабдень начинается в 8.

В 8, в 8.00, и ни минутой позже, начинается рабдень и для Бори Гундосова, слесаря-виртуоза, слесаря по-своему гениального, — лучше звать его по отчеству, Борисом Павловичем. Ровно в 8, с последним сигналом грустной, как пастушеская свирель, радиопищалки, надо быть на местах: перебраться новостями, переодеться в замасленные хламиды, проверить подъемники, позвякать инструментом, тем, что хранится в оцинкованных ящичках (и у каждого слесаря — свой хитроумный замочек).

В 7.50, в 7.55 к массивным воротам начинают стремглав слетаться автомобили: в 8.00 все должны стоять на своих местах, так заведено, так однажды и навсегда решил директор СТОА Гринберг Семен Иосифович (золотистые «Жигули», на ветровом стекле строгий орнамент, состоящий из сплетения шестеренок, на заднем стекле матово-золотой козырек с серебристой надписью-назиданием: «Не уверен — не обгоняй!»).

Сам Семен Иосифович прибывает в 7.59, когда во двор СТОА уже въехали баллонщик, антикоррозийщик, главный инженер, сменный мастер Саша Толкунов («Жигули» багряные, на заднем стекле надпись: «Lada-export»). Въехали они, скользнув вдоль длиннющей очереди шоколадных, серых, голубых и желтеньких автомобилей, поспинали, если унылый вахтер, которого за гигантский рост и за обвисшие усы раз и навсегда кто-то прозвал дядей Степой, хотя бы на мгновение помедлит нажать кнопку, раздвинуть створки ворот: те, что в очереди, по списку, с номерами и с кое-как нацарапанными фамилиями, провожали их, въезжавших, взглядами подхалимски слащавыми, взглядами строптивыми или же угрюмо тюремными взглядами: так, наверное, когда-нибудь, чрезвычайно давно, в Древнем Риме, выстроившиеся для утренней разрядки рабы рассмотреть старались каких-нибудь распорядителей работ, тоже, конечно, рабов, но рабов, снискавших расположение невидимого хозяина, облеченных его доверием и непрерываемо распоряжавшихся пахнувшей чесноком и потом толпой рабов низших, неопытных, рабов начинающих, так сказать, рабов-новичков.

— Сегодня кто? Саша? — глухо шепчутся в очереди.

— Он самый.

— Саша — это наше везение. В прошлом месяце он мне термостат заменил, не сам заменил, конечно, а сходил на склад, выбил, тогда уже слесаря заменили. А одному мужику даже диафрагму пускового устройства...

— А долго стояли?

— Да нет, в пять часов утра я приехал, оказался седьмым. К обеду все уже было готово.

— Я одиннадцатый, как вы думаете, есть надежда до обеда попасть?

— Смотря что у вас...

Шепчется очередь — стайка помятых, небритых: спозаранку, в четыре часа еще, в начале пятого загревели, запищали в разных концах накрытой лиловым покрывалом Москвы будильники. На седьмых, на одиннадцатых этажах загорелся свет. Повскакали, повскакивали владельцы — и владелицы! — «Жигулей» с постелей, кубарем вниз, бегом, бегом через дворик. Взревели, заурчали двигатели, и — галопом, наметом сюда, на СТОА. Только самые умные приехали сюда в три, в полчетвертого ночи, взявши термосы с кофе покрепче, в прозрачных, на растянутый презерватив похожих пакетах бублики и веселые бутерброды. А для полного комфорта даже электробритвы: новинка, бриться можно и в автомобиле, воткнул вилку в специальное гнездо, включил бритву, зажужжала она, и сиди-посидивай, брейся. Эти, умные, они-то в 8.30 относительно свежи, сыты, бриты и, что особенно важно, номера у них вторые, третьи, в крайнем случае пятые. Основной же поток приливает почему-то к 6. А безнадежные идеалисты, салага — к началу: «Ха-ха-а, становись-ка в хвост, быть тебе тридцатым, тридцать пятым». Впрочем, даже самые ранние чувствуют себя не так-то уж прочно: первым делом, без очереди, впускают в ворота инвалидов Великой Отечественной, потом участников ее, седеньких, слабосильных, но по-петушиному горделивых. Те подъедут к 8.25, и у них особая очередь.

Но Боря Гундосов, слесарь-виртуоз, участников Великой Отечественной не

любит: зануды они, крохоборы. Гонору многовато у участников Великой Отечественной, а под гонором какая-то жа-а-алобная назойливость. Скуповаты к тому же. «Я в долгу не останусь», а до дела доходит — сует пятерку, от силы десятку. Нет, не жаловал Боря Гундосов участников Великой Отечественной войны. И не любит он их и сейчас, когда начался в его душе вышеназванный перелом, когда было даровано ему, Боре, прозрение высшее. Перелом переломом, и прозрение, которое Боре даровано, приведет его и к подвигу, и к страданиям, а участников он... Нет, не любит он их.

Сферой Боря Гундосова издавна элита была.

Сферой Боря Гундосова звезды были и полужезды эстрады + директора, директора комиссионных магазинов «Одежда», «Фоторадиотовары» + завсекциями магазинов «Гастроном», «Диета» и «Океан». О, те в очереди спозаранку не томились, не млели! Их машины появлялись на станции словно сами собой, а ремонт таких автомобилей-фантомов начинался уже после 21 часа, в ночи. До часу ночи, до двух, вкладывая в ремонт весь талант, весь блеск, работали слесари. А в час ночи разворачивались у СТОА такси, хлопали дверцы, бесшумно отверзались врата. И — как призраки — те, элита: «Как, готово?»

Разговор у элиты особый: Вена, Осло, Марсель. Часто стало мелькать и: Ницца. И: Канарские острова.

Боре сунут полсотни. Боре — столыничек, столычник.

Но: сухо, пренебрежительно; сунут, бывало, бумажку-другую — ровно бы в автомат опустили.

Правда, если попросить, без звука давали билет в «Современник», а то и на Таганку билетом одаривали. Но жест, жест: неуловимо надменный; так — лакею обноси.

Не умеет русский человек быть богатым, а советский русский — тот тем более богатым быть не умел.

Положение у Боря как бы срединное, промез бедных (участники Великой Отечественной) и прочая разная мелюзга) и барственно гладких, богатых («Гастроном», «Океан»). Положение лакея? Слуги?

А он, Боря, он им — не лакей!

Приезжает Боря на СТОА ровно к 8 часам.

«Жигули» у него воронено-черные, вероятно, единственные в Москве: в черный цвет «Жигули» почему-то не красит никто, но он, Боря, покрасил, а почто покрасил, на то есть причины тайные.

Зажат, стиснут Боря, будто автодеталь какая-нибудь, которую зажали меж двух створок тисков: ночью — те, элита, сильные мира сего. Днем же — слабенькие, беспомощные, в очках (у одного клиента, помнится, дужки к стеклам присобачены проволокой!). У ночных сила зримая, у дневных же — какая-то незримая, но несомненная сила: ничего уж такого им, кажется, и не надо, дребезжат себе на своих керосинках и рады-радешеньки. Но, где-то там, в глубине...

— Боря! — натужно кричат из дальнего угла цеха, кричат, перекрывая перезвон инструмента, верещание подъемника. — Боря-Боренька, светик ясный, срочно топай сюда, здесь нужна твоя голова-а-а!..

Голова у Боря действительно светлая, умная; и талантлив Боря, и машину он знает, но...

Поступал когда-то Боря в институт, на экзамене по химии срезался. Впрочем, что значит — срезался. Просто так никто не срезается, в каждом нашем акте, в каждом движении астральные силы действуют, и уж если Михаила Булгакова цитировать, то всего прежде надо процитировать слова про кирпич: «Ни с того ни с сего кирпич никому на голову свалиться не может!»

Боря химию знал, он старательно приготовил ответ; но экзаменаторша, фамилию ее он на всю жизнь запомнил, Иоффе ее фамилия, экзаменаторша Иоффе вперила в него парализующий взгляд, взгляд гипнотизирующий, взгляд цепенящий. Невдомек ему было тогда, что в ответ на такие взгляды надо прочно сцепить пальцы рук, сделать как бы кольцо, защититься и ответить гипнотизирующему таким же ровным жестоким взглядом. Это он сейчас, теперь знает, когда наступил перелом и открылось ему демоническое, высшее знание, а тогда оробел он. Он понес ахинею и остановился, вдруг забормотав: «Аш два о... Аш два це о четыре... це о три... Я не помню... не знаю...» И экзаменаторша Иоффе усмехнулась зеленоглазо, дунула, будто сдувая нависшую на лоб ей прядку волос седеющих, выдула из Боря последние знания, опутала, отравила сознание ядовитым духом. «Маловато, — сказала. — А хотя бы формулу гипса вы можете написать?» Боря чувствовал, что мозг его как бы пульсирует лихорадочно, силясь высвободиться,

страхнута с себя одурь. Но напрасно! Ибо опутан мозг. «Не могу-гу, — едва выдавил из себя он тогда. — Не могу-с!» — И, совсем неожиданно для себя, вдруг прибавил в конце уважительное «с», «слово-ер», как ему объяснили потом (а кого процитировала экзаменаторша Иоффе, ехидно помогаясь от Бори почему-то формулы именно гипса, он опять же не знал). Тогда Иоффе пожала плечами: «Вам придется прийти через годик». Так и провалили на экзамене Борю, провалила Иоффе; и уже тогда вполне можно было почувствовать, что была она оружием сил, цель которых низринуть Борю куда бы то ни было вниз, оттеснить его на окраину общественной жизни. А если кто полагал, что дело всего лишь в лени, в том, что Боря способен на вспышки, на импровизации, но что вряд ли он смог досконально вызубрить школьный курс химии, то подобное мнение было результатом внушения, затуманивания мозгов: Боря химию знал, но тогда, когда он столкнулся с коварной Иоффе, неведома была ему сила ее коварства, и не мог догадаться он, в чем была тут суть дела.

А суть дела открыл ему, Боре, величайший чудотворец и маг XX века, духовный отец его, гуру Иванов-Вонави, появившийся на его пути в назначенный час. Дело в том, что Боря — не Боря вовсе. Так, вернее: Боря — не только Боря. Боря — тайна; темная, лукавая тайна. Тайна, круто замешанная на хитрости и коварстве сил, незримо управляющих миром. Боря...

Боря — как бы только одна половина какого-то целого. Одна часть. Скажем: аш — Н, пусть уж будет аш-два, Н₂. Да, сейчас он Боря Гундосов, Борис Павлович. Слесарь. Карбюраторщик и электрик высокой пробы, одаренный, талантливый, с абсолютным по-своему слухом. Не преувеличу, сказав, что он может поставить диагноз автомобилю, проходящему в толпе таких же автомобилей в час пик по Колхозной, положим, площади: де — у той сероватой «Волги», что движется от Красных ворот и сейчас перестроилась для поворота на Большую Спасскую улицу, впускной клапан третьего цилиндра сработался, мало-мало постукивает, хотя тут и нет ничего опасного, еще тысяча пять, а то и все семь пройдет. Но Н₂ само по себе — бессмыслица. Чтобы получилась вода, надобна одна частица и О: аш-два О, Н₂О, вода — результат предопределения. Так и личность есть целое, составляющееся из различных ее воплощений — индивидуальностей. Боря нынешний — седьмое воплощение Бори; дух его, и мятежный, и дерзкий, носился в астральных сферах, воплощался однажды в лемуру, потом правил во всепознавшей и всеведущей стране Атлантиде накануне ее катастрофы. А дальше что было? Дальше следовали еще и еще воплощения, а последнее из них...

О последнем из Бориных воплощений скоро будет сказано слово.

Не прошел без последствий тот, летний, разговор с Барабановым: ввел его Барабанов в святая святых познания, подвизается Боря в школе ста сорока четырех Великих арканов, в школе Познания глубочайших тайн бытия.

Во главе же школы Великих арканов — гуру общества «Русские йоги», посвященный такой степени, что и сказать-то страшно, степени Икс, сиречь степени Круга и Большого креста, И-ва-нов.

Иванов.

Валерий.

Никитич.

По традиции, чтобы духи зла не услышали имени посвященного, он и имя свое, и фамилию выворачивает наизнанку: Йирелав Вонави. И о нем-то сейчас задумался Боря.

А кругом работа кипит.

— Боря! Боря! — кричат отовсюду.

Но Боря устал. Утомился. Боря вылезает из ямы: копошился там, в зловонной ее глубине, на дне (материнское чрево, в которое свергнут Боря перед новым своим рождением). Он наладил «Жигули» очередному страдальцу, участнику Великой Отечественной. И теперь он снисходительно цедит сквозь зубы:

— Готово!

И мальчишки-практиканты из ПТУ откатывают машину в сторонку.

А Боря выходит во двор: продышаться.

Мокрый снег повалил. Смеркается. Но все-таки: свежий воздух.

Боря знает, что он — не он. Он всего-то лишь элемент себя самого, завершеного, окончательного. Он звено в цепочке, состоящей и из лемура, и из атланта сурового, и... Из кого же еще? Из ко-го? О, на этот вопросище ему скоро-скоро ответят!

То, что в Боре Гундосове воплотился мятежный и страшный дух, знают пока немногие.

Знает Клава, жена (вторая жена, а первая, Алла, та ничего не знает).

Знает Яша, Яков Антонинович Барабанов (сам-то он уже просвещен, ему сказано было слово: фараон Тутанхамон в нем миру в новом воплощении явлен).

Знаю я, хотя я-то не в счет...

И еще два мага знают: разумеется, один — сам гуру Вонави Йирелав, а другой... О, тот маг и коварен, и опасен, и зол; но считаться с ним все же приходится, да...

Но здесь тайна, тайна и опять-таки: тай-на!

Итак, неласковый день московский, октябрьский.

Боря вышел во дворик СТОА продышаться.

Я бреду по переулочкам центра Москвы: чмяк да чмяк; и прохожие мимо меня скользят привидениями.

Яша, Яков Антонинович Барабанов, в фараоны пожалован всезнающим гуру Вонави-Ивановым; но и фараонам есть надо, семью надо кормить: есть же сын, Антонин; жена Люба, татарка-красавица еще одного ждет ребеночка.

Подторговывал книгами фараон Барабанов; он играл на разнице в ценах: в Москве что-то дешевле, чем в городе на Неве; но зато и в городе на Неве что-то может оказаться дешевле. Надо вовремя конъюнктуру почувствовать, прихватить три-четыре пачки, привезти, побыстрее толкнуть. Чем же, чем подторговывал фараон тридцать пять столетий спустя после памятного своего воплощения в Египте?

Тамиздатом — ни-ни. Только наши издания: братья Стругацкие, а для тех, кто посolidнее, — серия «Литературные памятники». И на книжном рынке Яша — не из лидеров; там лидирует маклер по кличке Гнус, у него обороты под сотни тысяч. Но и Яша не из последних.

КГБ за книжным рынком, конечно, следил.

Моя кухня.

У меня в гостях Яша; и я только что выслушал сбивчивую историю, плохо выдуманную и бестолково рассказанную: тарабанил Яша домой на трамвае, стоял на площадке; трамвай стаяй стали окружать черные «Волги» спереди, сзади, сбоку. Это все за ним они, за Яшей охотятся. Он сошел, как всегда, на своей остановке, не доезжая конечной, круга. «Волги» тут как тут, свернули за ним, ехали тихо-тихо, сопровождая его. В «Волгах» — те... понятно, мордатые...

Яша тычет в пепельницу обрубок сигареты, руки дрожат.

— Яша, — силясь быть как можно спокойнее, говорю я, — у вас кагебит!

Яша скалитесь, и в его напряженной улыбке светится истинная духовность. Дня два-три тому назад, так совпало, что как раз незадолго до моей конспиративной встречи с людьми в серых костюмах, вместе с Яшей мы придумали название болезни, комплекса: ка-ге-бит. Похихикали собственному остроумию — как нетрудно заметить, довольно скучному: был брон-хит, конъюнкти-вит. А теперь: кагебит. Но потешились, стало лучше, полегче. А сейчас — рецидив у Яши.

Очень может быть, что вовсе и не гнались за Яшей черные «Волги», волчьей стаяй окружая благонамеренно побрякивающий звонками трамвай, что не мчались за ним мордатые парни. Но, увы, хотят люди, чтобы их преследовали на «Волгах»: так красивее, драматичнее. Тогда Яша будет все-таки кем-то большим, чем просто Яшей.

А иначе — кто он?

Яша — выросший в Марьиной Роще мальчик; полукровка, «полтинник», сын русского папы (старомодно как-то умер от туберкулеза) и мамы-еврейки.

У нее все погибли: и родители, и сестры, и тетки. Все погибли, потому что были они участниками Великой Отечественной.

Есть в Смоленской области город Пречистенск. Там — овраг за околицей. А в овраге — сто сорок восемь евреев, евреек с детишками да со стариками, библейскими, ветхими. Полагаю, понятно, да?

Пулемет...

Лай собак...

Опять пулемет...

Господи, да чего там: сотни, тысячи раз все описано, все в кино показывали — при-вык-ли...

А мамаша-то Яшина, Анна Моисеевна, она, значит, из Пречистенска выехала

и в Москве проживала: молодая была, красивая девушка, замуж вышла за воложжанина-инженера, большевика убежденного.

Как война загромычала — в Казахстан командировали мужа, Яшиного отца; о расстреле в Пречистенске ни он, ни жена его молодая не знали; и хотя надежды и не было, все же на что-то надеялись.

А узнали они обо всем, уже Яшу родив и вернувшись в Москву.

А потом и другие ребятишки появились на свет, братья Яшины.

Отец умер. Мама вырастила трех сыновей — в коммунальной квартире, в комнатухе 14 м². Яша старший, но Яша отстал: младшие уже поступили в университет, окончили; самый младший, Алешка, уже диссертацию пишет. Яша — в тяготах неудачничества: электрик-монтер, да еще перекупщик книг, вот-вот мания преследования у него разовьется.

Ко мне Яша прибилсь, и ему со мной хо-ро-шо: я ценю его ум, его юмор, но я... Нет, наверное, у меня размаха. Прозорливости мне не дано, не дано мне и дара устрашения людей. То ли дело гур Вонави!..

О, гур Вонави Яшу сразу же выделил: фа-ра-он, это надо же — прозорливость божественная! Да, божественная, сколько бы я ни хихикал над замашками гур Вонави и над всею ихней школой Великих арканов.

Но меня-то терять Яше тоже не хочется.

Яша будто бы и не пьян сегодня, хотя — по-чудному все устроено в школе «Русские Йоги»: Йоги там выпивают запросто, но на то они, надо думать, и русские! — он частенько бывает и выпивши. Яша просто изъерошен.

Яше лет тридцать пять. Он по-обезьяньи подвижен, гибок, миниатюрен: сжавшаяся в комочек мартышка.

Мне за сорок. Я посolidнее: лысоватый блондин с чуть заметною сединой, одутловат: типичный доцент УМЭ.

И тут, прежде чем двигаться дальше, я позволю себе два-три слова вернуть об УМЭ.

Что такое УМЭ? Где это?

УМЭ — Университет марксистской эстетики, дом с трех этажах с колоннами, надстроенный еще тремя этажами. Вразнобой разбросаны по фасаду окна: окна, оконца, окошки. Есть большие, итальянские окна, одно такое окно внизу, в вестибюле, другое на втором этаже, там актов зал. Есть окна поменьше, но переплеты у них изысканные, развешенные, в форме дерева — наверное, символ: древо жизни бессмертной. Оконца в клозетах, причем в мужском, на двери которого когда-то было нацарапано примитивное «М», а ныне отгиснут силуэт петуха, оконце овальное; а на женском, где было нацарапано «Ж», а ныне нарисована игривая курочка, оконце ровное, круглое. Оконца — в Ленинской аудитории, причем и здесь они разной формы, ромбовидные параллелограммы, а есть даже и восьмиугольник; в виде звезд прорезаны оконца в аудитории Мира (бывшей Сталинской, как нетрудно смекнуть).

Самое странное оконце в приемной ректорского кабинета, там, где красуются разноцветные телефоны и у пишущей машинки сидит секретарша Надя — в виде шестиконечной звезды. Терпели, терпели, но в конце концов шестиконечной звезды не вытерпели, верхний и нижний лучи ее срезали, заложили какими-то камнями и осколками кирпича, склеили, слепили камень цементом, а с фасада покрасили, стало почти незаметно; однако окошко приняло уж и вовсе странную форму: как бы две буквы «М» положены набок и смотрят вершинами треугольников в разные стороны. К тому же в приемной у Нади стало темно: окошко выходит на север, почти упирается в стену соседнего дома, и не просто в стену, а в единственное окно, когда-то прорубленное в той кирпичной стене. Обитают там какие-то люди, а какие, ни я, ни мои сослуживцы, ни студенты, ни Надя поинтересоваться не удосужились; мне, впрочем, кажется, что там расположена кухня: время от времени появляется там какая-то дама, у дамы нагие, полные, нет, даже жирные плечи, на ней бордовая рубашечка с черными кружевами, и она, по-видимому, что-то мешает ложкой, болящей такой поварешкой, и время от времени пробует то, что мешает: поварешку поднимает высоко-высоко, осторожно наклоняет ее и ловит ртом капли, струйки, которые с нее стекают. Потом она исчезает в глубине своей кухни, потом снова выныривает оттуда, снова пробует свое варево с поварешки.

Ректорский кабинет выходил на три стороны света: на север, на восток и на юг. Солнце щедро озаряло его, но от того, что оно светило в кабинет через

причудливые окошки, солнечные лучи как бы принимали вид лунных, и кабинет кто-то когда-то прозвал кабинетом Лунным. «А где такой-то?» — вопрошали у нас. Отвечали: «Такой-то в Лунном». «А! — огорчались, — это же, наверно, надолго?» Назидательно били: «В Лунный на минутку не приглашают». Потом «Лунный кабинет», просто «Лунный» ради краткости заменили словом «Луна». «А где же такой-то?» — «Да на Луне он». — «Давно?» Пожимали плечами: «Кажется, да. На Луну на минутку не приглашают».

Словом, первойшей достопримечательностью УМЭ были окна. О происхождении таковых толковали по-разному. Была так называемая масонская версия: будто дом, в 1918 году переданный Моссоветом УМЭ, когда-то воздвигла масонская ложа, будто здесь-то и проводились ее заседания, будто... Разное говорили, путаясь, перебивая друг друга и саркастически улыбаясь в ответ на пониженным голосом произносимые монологи самозванных знатоков истории нашего дома. Но была и версия попроще, купеческая, или, как ее еще называли, бубличная, а то и бараночная, будто в конце XIX столетия, в годы промышленного подъема в России, торговец бубликами, баранками и калачами, известный купец Семибратов, разбогатев на баранках, удумал создать коллекцию... окон. Ему представили чертежи окон дворцовых, избяных — в русском стиле. Окон итальянских, немецких, готических; окон с жалюзи; окон подъемных, на европейский манер. Мавританских окон, окон из старинных шотландских замков. Все окна на фасадах купеческого домины разместиться ником образом не могли; но Семибратов велел прорубить хоть малую их толику. Дом внутри много раз перекраивали; получилось две больших аудитории и порядочно малых. В УМЭ бушевали бури, в больших и в малых аудиториях громили идеалистов, богоискателей, культурно-историческую школу, фрейдистов, формалистов, вульгарных социологов школы В. Ф. Переверзева; громили меньшевиков и их прихвостней, громили безродных космополитов, отдельных отщепенцев и их подпевал, громили структуралистов...

Было, было...

Да...

Вся-ко-е бы-ло...

И еще: в тридцатые годы принялись наш УМЭ перестраивать.

Обнесли забором, зарастили по фасаду леса строительные, будто бы решеткой закрыли дом: весь дом — за решеткой.

Копошились, возились и нахлобучили на три этажа исконных еще два этажа. Увенчали их гипсовой статуей девушки: книгу читает.

А потом, уже после войны, прилепили еще этаж: уже шесть этажей получилось.

Острословы из УМЭ стали так говорить: семибратовский корпус, три этажа, это базис; а над ним этажи, завершающиеся гипсовой девушкой, это уже надстройка.

Расположен УМЭ в Козьебородском проезде: Козьебородский пр., 15.

К концу двадцатых годов спохватились: УМЭ присвоили имя наркома просвещения А. В. Луначарского.

Козьебородский проезд переименовали в переулок Луначарского, тем более, что нарком-просветитель в УМЭ наезжал и, хотя сверкающий талант его уже догорал, выступал здесь в докладах и с разнообразными лекциями.

УМЭ от рождения, с самой-самой весны 1918 года, почему-то любил игру слов, каламбуры. Да и приметливые люди там, в УМЭ, собрались. Кто-то уже в тысячный раз разложил, расслоил — да сообразительности тут особенной, благо, не надобно — фамилию наркома на два понятия. Образовался сюжет-образ: «луна» и «чары». Стало быть, взошла на небе луна и всех-то нас она своим светом чарует. Новым было лишь то, что понятие «луна» обозначало для собравшихся в УМЭ работников просвещения обыденную реальность: кабинет начальства.

После лекций, докладов Луначарский заходил в директорский кабинет. Здесь сервирован был чай, алали икрой бутерброды. Обломочками луны чернели окошки.

«Где товарищ Луначарский?» «Нарком на Луне», — брякнул кто-то когда-то. Каламбур получился плоским, да что с него взять-то, уж так сама жизнь каламбурила: прихоти бараночного торговца, окна в виде различных фаз полуношного светила, фамилия наркома — все слилось воедино. Да еще и мягкая бородака народного комиссара (их было двое таких, с удлинненными бородами, нарком просвещения и пред. ВЧК Дзержинский, и в чем-то они, по-моему, были странно и страшно один на другого похожи)... И коза с бородакою, и нарком...

Посмеялись. О каламбуре почтительно доложили нарком, и нарком снисходительно покривил рот улыбкой...

А потом стал нарком угасать: на убыль пошел нарком.

И тогда-то дали в Москве задний ход: из-под новых названий кое-где проступили прежние. Словно сам собою возродился сказочный Козьмобородский проезд — закругленный зигзаг, ведущий к реке.

Снова мне в самый-самый конец лета мысленно возвращаться приходится — памятного и, как стали выражаться позднее, судьбоносного лета начала восьмидесятых годов; лета, когда все еще длилось и длилось правление шамкающего, чмокающего словами Правителя, и казалось нам, что не будет конца ему. Впрочем, что-то уже начинало носиться в воздухе.

Поговаривали о том, что пора бы заменить в наименовании нашего университета букву «М», означавшую целенаправленную устремленность к марксизму. «Да, конечно, — кричали где-то в верхах, — никакой другой эстетики, кроме марксистской, быть не может и не должно. Но не надо, не надо экстрема! Педальковать не надо, форсировать, выставлять напоказ нашу верность марксизму. Для китайцев оно хорошо подходило, только мы все равно не удержали китайских товарищей, расплылись они, разбежались. А для финнов, положим? Или, кажется, там и негр появился, чернокожий из США, с ним как быть? Скажут, будто мы под видом эстетики занимаемся экспортом социализма!»

Чем, однако, было заменить нагловатую букву? «Университет современной эстетики»? УСЭ то есть? Тут нафабранным призраком начинали маячить усы какие-то, а за ними... Знаем, знаем мы, у кого усы были, кого эки-статотерпы в лагерях Колымы и Коми республики называли «усатым батькой!» Еле-еле отделались от него, будоражить память о нем нам совсем ни к чему. «Университет рабоче-крестьянской эстетики»? Теперь все-таки не двадцатые годы, архаично звучит, и опять же нежелательные ассоциации возникают: УРКЭ. «Народной эстетики»? УНЭ? Мы не знали того, что битвы за среднюю букву в наименовании нашей alma mater маячат во мгле недалекого будущего; но какие-то обновительные веяния, шедшие и сверху, и снизу, мы улавливали.

Чем-то новым повеяло и в загадочном ГУОХПАМОНе.

— Перемены будут. — И Динара назвала меня по имени-отчеству, ничего на сей раз не спутав. — Большие перемены. И в моей жизни. И в вашей, наверное, тоже. И во всей стране перемены произойдут.

— Но какие?

— Вы только не обижайтесь на меня, хорошо? Я же... Я себе не совсем принадлежу. Не совсем! Я же разные деликатные поручения выполняю. И скоро случится так, что... С вами должен поговорить один человек. Большой человек. Он предложит вам работу одну, интересную. Необычную только... Эти люди, они все равно вас нашли бы. А я немного умею это самое... ворожить. И с оленями могу разговаривать, с обезьянами. Я и людям могу посылать ментальные излучения. Вашу фотокартонку мне показали, фотку. Я на вас ворожила. Вы кунктатор, вы ме-е-едленно отзывались, сопротивлялись. Да еще и помехи были, вы же знаете, что за вами кто-то следит. И мои лучи натыкались на чужие лучи, но мои сильнее оказались. Я и завлекла вас в ГУОХПАМОН.

— Мне лестно сознавать, что я стал объектом такой мудреной борьбы. Жил да жил на белом свете простой человек, обыватель, доцентик. Читал свои лекции, статейки кропал. Женился, разводился, как водится. Опять едва не женился. И на тебе!

— Хороший, вы же цены себе не знаете вовсе! В вас тоже большущая сила заложена, вы ее меры не видите. Вас попросят поделиться силой вашей, работу одну предложат.

— Но какую? Какую? А впрочем, что спрашивать, все равно не скажете, да?

— Не скажу. Подождите несколько дней.

Непонятно?

Да, непонятно!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

А у Иванова, у Валерия Никитича, у гуру, у главы научно-практической группы «Русские Йоги» продолжается бдение: встреча с учениками.

Среди них уже с год приблизительно закрепился и Боря Гундосов; быстро выдвинулся в любимчики, в фавориты: так сказать, воссел одесную гуру. Ишь, карьеру-то делает! А пришел-то сюда недавно, год тому назад или меньше: притащил его Яша, маленькая африканская обезьянка. Ему было открыто, что он, Яша, в предыдущем своем воплощении фараоном был. Тутанхамом. Узнал он такое, и в душу его нахлынула теплая ясность, все объяснилось: рождение в июле сорок четвертого года на севере Казахстана, в степном безнадежном концлагере. Правда, не по «ту», а по «эту» сторону проволоки Яша родился, отец его, вологжанин, русский красивый мужик (и по всей вероятности, вел он род от какого-нибудь солдата-барабанщика времен, скажем, императора Павла I), сгорал в медленном ТБЦ, неизлечимом туберкулезе. Был он инженером, что-то он такое проектировал важное, оборонное, заключенные же то, что он проектировал, строили; много лет спустя открылось Яше, что это были рабы, которые строили... Да, конечно же, пирамиду, ибо что же еще могут рабы в пустынях Казахстана (Египта) строить? Они и позвали его, фараона; и он, фараон, им открылся, в материальном плане прорисовался: жена вологжанина Барабанова 26 июля 1944 года родила первенца. Вскоре, сразу же после того, как Великая Отечественная война победоносно окончилась, родила она Барабанову одного за другим еще двоих сыновей, и третьего, младшего, он уже не увидел: был отозван в астрал — помер.

В тридцать три года, когда, как известно, в нашей жизни решается нечто самое-самое важное, Яша и нашел Иванова. Или тот нашел Яшу?

Яша был гнусовато запущен: немывтый, небритый, в стоптанных разбитых ботинках, в памятных замызганных брюках. Толстая жена, величаво спокойная и торжественно красивая, несмотря на все тяготы жизни, ее звали, кажется... Ах, не так уж существенно это! И был сын Антонин, маленький ростом, русский по дедушке, по бабушке же еврей, а по маме татарин. Он словно бы не выдержал напора столь многих кровей: непрестанно хворал, косил глазом. Папу любил он преданно, нежно и глубоко.

Читал Яша много: глотал Гегеля, Канта, прорывался к философии XX века. Но неграмотен он был поразительно: писал «ачки», «титратка» и «нош». Подавал он заявление к нам, в УМЭ, потом пробовал поступить на философский факультет МГУ. Анкета его составляла предмет мечтаний деканов, секретарей парткомов и начальников спецотделов: русский, рабочий, служил в Восточной Германии; но он делал по 24 ошибки в каких-нибудь ста словах. Возвращая ему документы, работники приемных комиссий вздыхали и виновато цедили: «Граматику все-таки надо бы знать... Вам придется подзаниматься...» «Кур-р-ры! — ало рычал бедный Яша. — С-с-суки!» Уходя, он оборачивался к захлопнувшейся двери очередной приемной комиссии, по-обезьяньи скалился и рысил восвояси. Впрочем, он занимался: писал диктанты, творил сочинения, через год снова приходил, писал вступительную экзаменационную работу и делал уже не 24, а 28 ошибок.

Тут-то и подобрал неприкаянного неудачника Валерий Никитич Иванов, Вонави: он был человеком-магнитом, к которому притягивались отверженные, социально обиженные, растерянные и подавленные. Подобрал Вонави электрика Яшу, пригред. Постепенно, осторожно, не расплескивая ни капли зря понапрасну, Вонави поил Яшу из чаши таинственного метакроникального знания. И пришло озарение: неспроста, неспроста в жизни Яши Барабанова во что-то неразрывное соединилось и рождение в Казахстане-Египте, и эски-рабы кругом, и убитые немцами еврейские родичи на Смоленщине. И стал Яша в доме Вонави своим человеком, и сидит он у ног своего гуру — мне мое воображение рисовало их общение в виде нежной идиллии. Дальше...

Что ж, Иванов-то был неплохим режиссером; мизансцены он варьировал, подсвечивал разными красками. Сейчас выбрал тона тревожные, жутковатые; посему лицо у Иванова то и дело дергалось судорогами, а глаза закатывались или же застывали, устремленные в одну точку, вдаль. Он вещал, и все-все становилось близким, понятным; все сходилось здесь, в тесной квартирке с желтенькими обоями; там, где на своей неизменной софе восседал Иванов, а на стене постепенно образовалось жирное пятно, потому что в минуты особенно глубокого, сугубого транса Иванов начинал елозить по ней затылком. Он глаголил. Фараоны и импе-

раторы Древнего Рима, европейские короли и несколько российских великих князей, государей российских, генеральные секретари, народные комиссары, министры, среди которых Иванов чувствовал себя намного увереннее, чем среди разочек-другой промелькнувших в учебниках истории особ королевской крови, — все они сходились сюда, на проспект Просвещения, в дом, насквозь пропитанный запахами ванили, исходящими из расположенной рядом кондитерской фабрики. Он знал: его, Иванова, миссия в том, чтобы до конца XX века соединить здесь, в Москве, силы всех великих властителей мира, собрать ступок энергии и сначала воздвигнуть вокруг России невидимый и совершенно несокрушимый заслон, отбить атаки еврейских, американских и китайских духовных врагов ее, а затем низринуться в мир, оплести его сетью особого рода излучений, тайну образования коих знал только он, Иванов, и объединить эгогеры разных народов и рас в единый общемировой эгогер. О деятельности нашего государства, шедшей в общем-то в том же тайно начертанном направлении, отзывался он крайне презрительно; государство, по мнению его, во-первых, просто-напросто многого не умело, во-вторых же, оно осторожничало и, утратив суровую прямолинейность сталинской политики и идеологической стратегии, сделав шаг вперед, тотчас же отступало назад. Себя видел он на вершине какой-то горы, у подножия ее — народы: все пред ним, Ивановым, колени преклонят, все! А пока сходятся и эти, есть среди них один фараон, один римский диктатор. Один же...

— Сегодня скажу, — возвещал и дергался, словно через него пропускали ток.

Год тому назад Яша-Тутанхамон привел к нему Борю. О чем полтора часа говорили вдвоем, с глазу на глаз Вонави и Боря-Яроб, не знает никто. Только вышел Боря от Иванова йогом — йогом разряда низшего, пребывающего в Большом Ожидании (БОЖ). А сегодня скажут ему, кто он.

Все ждут. Тишина. Вонави с софы встает во весь рост; теперь он монументален, и, если бы, стоя на сиденье софы, он по-детски не подпрыгивал бы, не покачивался бы немного, он и вовсе был бы похож на памятник. Он уставил на Борю свой прославленный, знаменитый силой внушения взор. И теперь уж грозно, с металлом, звучат слова:

— Ваше сиятельство, граф... Грешили вы много, и велик был ваш грех. Но грядет грядущее ваше, грозно грядет оно...

Замерли все. Влюбленно сияют глаза юной девушки, ревниво Яша застыл: откроется карма Бори, и, глядишь, такое окажется... Ишь ты, граф! Графов как-то среди учеников Вонави-Иванова не было. «Но не может же граф с фараоном сравняться!» — опасливо думает Яша. А гуру возвещает, плавно покачиваясь на пружинах софы:

— Граф Сен-Жермен, восстаньте! Духом восстаньте! Очистились вы, и будете вы прославлены...

И узнал Боря, что он — воплощение духа, прежде бывшего Сен-Жерменом. Как же ясно все у гуру! И понятно все, и красиво по-своему: яма на станции техобслуживания — овеществление ямы метафизической, грязь — грязь духа. И была эта яма последним из ниспосланных ему испытаний, и выдержал он, и дорога ему теперь — к откровению его кармы. А гуру меж тем возвещает:

— Помните, говорил я, что есть у нас родина пространственная и родина временная? Возврат туда страшен, и все же... И все же, о граф, вам назначено: вы узрите вашу родину, во-сем-над-ца-тый век. Да, узрите! — И падает навзничь Иванов-Вонави: ослабел.

Ослабел, конечно: шестую неделю не евши, чай зеленый, и только. Один чай, свежесваренный, но уже подостуженный, тепленький. И так — тридцать восемь суток!

Да-а, ослабел тут, зато силы духовные множатся, и космическая подпитка все время идет в организм, в материальное тело.

А скоро 30 сентября, именины жены, верной сподвижницы Веры Ивановны; и тогда затяжному посту, голоданию, будет положен конец.

— Жду вас, жду! — И радушно поднялся навстречу мне. Назвался: — Владимир Петрович Смо-ле-вич. Жду, садитесь, пожалуйста. Садитесь, курите. Впрочем же, не мне вам что бы то ни было предлагать, вы тут, как я слышал, уже свой человек. — Достал свеженькую пачку сигарет, рабоче-крестьянских, «Дымок»; надорвал, пододвинул ко мне. Помолчали. — Удивлены?

— Более того, — стараясь быть поспокойнее, выдавил я из себя, — взволнован.

— Понимаю вас. Есть от чего быть взволнованным. Но начнем с того, что

в любом решении вы будете сво-бод-ны. В любом, хоть бы вы и на... На три буквы меня послали после нашего разговора. А я вынужден буду немного темнить, всего сказать вам я сейчас еще не могу. В одном буду открыт: предложу вам сотрудничество. Знаю, что сама идея сотрудничества с нами безнадежно осквернена: но история движется, и...

Густеющим вечером ясного московского сентября все там же, в просторной конторе ГУОХПАМОНА, пустующей по случаю позднего часа, я прослушал целую лекцию: геополитика, социальная психология, национальный вопрос, все тут одно другое пронизывало.

Владимир Петрович пошел с козырного туза: существует огромное, совершенно новое историческое образование, занимающее место рухнувшей Российской империи. Очень-очень условно, уступая памяти прошлого, эту новую общность наций, народностей и племен можно также именовать империей, хотя ряда признаков классических мировых империй эта странная общность никоим образом не имеет. Общность эта едина и неделима. Развалить ее, вероятно, нетрудно: центробежные силы действуют во всем мире, на всех уровнях жизни. Распадаются государства, семьи. Наша вселенная, и та, говорят, разлетается; но мы не догадались бы не увидели бы, что она разлетается, если бы сама идея центробежности не царилась в умах: в природе человек видит то, что продолжает его самого, что заложено в нем. Но если человек подчинится идее центробежности, пассивно отдастся ей — ги-бель.

— Я,— говорил Владимир Петрович,— не раз себя спрашивал: а что, если?.. Если кто-то когда-то зазевается, и получит свободу, скажем, крошка Эстония? Мы же понимаем прекрасно: эстонцы все как один проголосуют за отделение. И коммунисты проголосуют. На собраниях по инерции будут разные словеса говорить о единстве братских народов, а при тайном голосовании 99,9 процента за отделение выскажутся. Дальше что?

Говорил он и о диссидентах.

— Я, офицер страшной армии, которой детишек пугали бы, если бы не боялись пугать, понимаю свою ответственность. Истории не будет дела до того, что я-то служил в 33-м отделе, а людей изводил какой-то другой отдел.

Он волновался; он пил воду из захватанного приятелями Динары, монтажниками и малярами, графина. Он два раза глотал таблетки: беленькую, потом голубую. Голос его срывался, слова вылетали отрывисто, как-то даже разрозненно:

— Не мир я принес вам, но меч, понимаете? Я немножечко знаю ваши работы, читал, вникал. Я понял вас так, что сейчас не в идеях дело, не столько в идеях, сколько в методе, так? Не совсем соглашаюсь с вами; думаю, что мир идет к адекватности идеи и метода, так? Христианство? Католики пробовали мир воедино сплотить. А чего они добились? Компрометация христианства? Крестовые походы, костры инквизиции, иезуитство, интриги — это за ними навеки останется. Банально до тошноты, но навеки останется именно потому, что банально. За католиками останется инквизиция так же, как за крепостным правом, положим, одно останется: дворовых на конюшине секли. А за нами что останется? Клише: ЧК, ГПУ. Дата: 1937. Проникновение в церковь. Но Бог нас за то простит, что мы действовали от имени партии, на себя ответственность брали, а Его имя не оскверняли насилием. Мы от имени общества действовали, от имени некоей бедноты, пролетариата какого-то. А это идея у-ни-вер-саль-на-я. Размашистая идея. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Нас с фашизмом сравнивают, с гестапо. Убожество! Пусть идея — это только мотивировка метода, пусть! Но идея превосходства избранной расы или иудейская идея избранного народа — идеи раздробляющие, локальные. Будут и другие локальные идеи, превосходства цветных, например; они только разрушат метод, к центробежности приведут. А у нас-то — всего прежде единство, объединение вокруг центра. Справедливого центра, олицетворяющего незыблемую и вечную справедливость. Образ справедливости нужен, образ! Образ величия, человеком достигнутого. И тут вам, эстетикам, книги в руки. Как, успокоились?

— Успокоился,— бормочу,— зато вы-то разволновались.

— Не скрываю.— И таблетку глотнул.— А дальше будет немного фантастики. Завтра знаете, разумеется, какой день?

— Знаю, Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

— Вот-вот! Москвичи цветы покупают охапками, на телеграфе очереди, толпа. Всех Вер, Надь и Люб поздравляют-запоздравляют. Задарят их просто-таки, заласкают. А теперь скажите мне, вы в излучение праны, духовной энергии верите?

— Читал кое-что об этом. Да и на себе испытать пришлось, кто-то тянет, тащит ее из меня, поворочивает. Да и с фараоном Тутанхамоном лично знаком, он, бывает, у меня на кухне сидит, кофейком мы с ним балуемся. А при фараоне еще один есть парень, тоже из этих. Вообще-то он автослесарь, и притом прекрасный, талантливый, но и он связался, и теперь, я думаю, он уже в какие-нибудь фараоны пожалован.

— А-а, Гундосов? — Мой собеседник улыбнулся серебрянзубо. — Нет, Гундосов не в фараоны, позавчера к нам агентурные сведения поступили, что он в графы пожалован, в Сен-Жермены.

— И о том, что у вас где-то опыты проводятся препикантные, догадаться нетрудно. Но у вас серьезнее, да? Без фараоновщины?

— Проводятся, проводятся опыты. А конкурентов у нас, — усмехнулся, — много. Секты, группы: оккультисты, йоги, теософы. Истерички, авантюристы. А есть и серьезное кое-что, например, один ваш коллега из старших, в УМЭ.

— Маг?

Он кивнул, а я вспомнил одного из моих сослуживцев: востроносенький, лысый, заметно уже пожилой; ходит с палкой, прихрамывая, всегда в строгом черном костюме. Старомоден и немного на лютеранского пастора смахивает. Занимается армянской эстетикой. Говорили упорно об его контактах с госбезопасностью, странным образом переплетающихся с магическими познаниями.

А Владимир Петрович тем временем тему сменил.

— Вы о саде каменных чудищ в окрестностях Рима слышали?

— Нет, признаться.

Потянулся к портфелю потертому, расстегнул, достал вырезку из газеты, фотоклише. Да, занятно: гротесковые каменные фигуры в тенистом саду, слон душит хоботом человека, дракон бьется с львицей, защищающей от него молоденьких львят.

— Интересно?

— Да, — отвечаю, — занятно.

— Загадкой считается этот сад, — продолжает Владимир Петрович, — а загадки тут нет. Теория кресала, я вам все сейчас в двух словах объясню. Каждая встреча человека с кем-нибудь, с чем-нибудь — шок. Встреча, свидание. Кто перед каким-нибудь свиданием не волнуется? Перед встречей? Чем она неожиданнее или серьезнее по возможным последствиям, тем шок сильнее. Мы с вами встретились, и тут как бы кремль о кресало ударил, и был шок с обеих сторон; с вашей, думаю, больше, так?

— Так, — киваю.

— А шок — это выделение, выброс психической энергии, так?

— Так, — поддакиваю.

— Теперь спросим себя: а куда она делась? Исчезла куда?

Обвожу рукой знакомую комнату, делаю жест в сторону темнеющих окон.

— В том-то и дело, — говорит Владимир Петрович, — что растворилась она. Рассеялась. Прахом пошла, псу под хвост. А если ее собрать и аккумулировать, а?

— А как ее собирают? И как ее сохранять, сохранить?

— Со-би-ра-ют? Да веками ее собирали: капища, храмы, церкви. Церковь, храм — гигантский аккумулятор ПЭ, биотоков. Жрецы древности, посвященные это ведали, собирали энергию, хотя много ее, много улетело на ветер. Храмы, да... — И задумался, а еще одну таблетку достал из кармана тем временем, разминает в пальцах.

— Значит, разрушение храмов было...

— Глупостью было, — отрезал Владимир Петрович. — Глупостью страшной. Классовый, видите ли, подход. Феодалная прана, буржуазная, дескать, нам не подходит.

Владимир Петрович на часы посмотрел:

— Поздно уже, и скучно вам на моей лекции, да? Короче, скажу: у Бога займы мы брали, но и сами стараемся... Нас укоряют, бывает, что религию у народа отняли, а взамен ничего не дали. Будто Луначарский да Горький с Богдановым могли сесть и какую-то марксистскую религию выдумать, только поленились, не выдумали. Нет, такого быть не могло, но... ГОЭЛРО был, что-то вроде религии электричества, электрорелигии. — Помолчал. И внезапно: — А ленинский план монументальной пропаганды, о нем вы что думаете?

— Язычество, — отвечаю заученно. — Уродов натывали... В Александровском саду у Кремля монументы торчали революционным деятелям, вскорости сгнили...

И меня осеняет: у-ро-ды.., чу-до-ви-ща... Александровский сад у Кремля в Москве и таинственный сад под Римом.

— Неужели, — вопрошаю, — есть связь? Рим и эти самые... Ревдеатели, алебастровые уроды?

— Эврика! — просиял глазами Владимир Петрович. — Связь есть, да еще какая! Закон кресала: идет по улице человек, на памятник натывается...

— Но мне Динара рассказывала...

— У Динары, у ГУОХПАМОНА вообще один аспект, узкий, ведомственный. Но можно смотреть на вещи и шире. Тот дурачок, провинциал из Ельца, пьянчужка, который Горькому кинул мороженое, он на Горького, на памятник Горькому незримые лучи направил, ПЭ, праной своей с писателем поделился.

— Так, направил обыватель Горькому свою ПЭ, а что дальше?

— Дальше то, что для отчуждения праны от монумента монумент необходимо снять с пьедестала.

— И...

— И затем отчуждение праны произвести в специальных, в лабораторных условиях. В нашей святая святых, где — даже и я не знаю. Подвалы какие-то, подземелья, там товарищи наши, аки кроты, работают. Тула монументы и направляются, на лифтах опускаются, да. Итак, сняли памятник, скрыли в подземной лаборатории. Горького сняли. Пушкина. И стоят постаменты пустые, город Москва как лицо с челюстью, из которой зубы повывернули, вы представляете себе, что это будет! А уж если, — понизил голос, — и Ле-ни-на снять?

— Ой, без монументов, конечно же, пусто нам будет, сир. Но можно же дубликаты сделать, макеты. Из папье-маше или гипса.

— Можно. Пробовали, признаться. Но, как опыт показывает, гипс ПЭ вбирает в себя хорошо, а отдать не отдает. Порист он, как промокательная бумага. И давнo уже идут опыты... Вам покажется смешно поначалу. Но дело серь-ез-но-е. На место памятников иногда надо ставить...

— Что?

— Не что, а ко-го! Че-ло-ве-ка. Живого, да-да. На время, конечно. Пока каменный или бронзовый памятник где-то в наших подвалах энергетически очищают: идет съем ПЭ. О, только на время. Понимаете, стоит человек, натуральный, живой, физиологически к принятию в себя ПЭ подготовленный самой природой. И специально обученный, а затем и обработанный препаратами. Час-другой стоит, а то и побольше. Монумент подзаменит, а заодно уж и сам психоэнергии поднакопит, с человека ее всего легче снять. И вообще у человека преимущества есть перед камнем ли, бронзой, тут и формула есть, ее наши психофизики вывели: получается квадрат, умноженный на куб времени пребывания смертного в роли памятника: $pe = h^2 t^3$. Загадочное свойство у человека умножать ту энергию, которую пассивно воспринимает камень; и чем дольше, тем... Памятник простоят три часа и соберет, положим, три единицы энергии, эрга, человек же за эти три часа соберет полных девять!

Записал я тогда, что, кажется, что-то понимать начинаю, хотя должен признаться, что всегда я был глуховат к каким бы то ни было недомолвкам, намекам, двусмысленностям. И практический смысл рассуждений новоявленного покровителя моего до меня дошел немного позднее.

— Динара, — спросил я однажды, — а есть у вас... «он»? Понимаете, «он»?

Помнится, Динара потупилась, зашторила угольки-глаза густыми ресницами и хихикнула:

— А я, может быть, с монументами...

И Динара радостно понесла чепуху о том, как Маяковский один раз пригласил ее в ресторан «София», а с Грибоедовым она до утра гуляла по Чистым прудам. А на самом деле роман у Динары не с Грибоедовым и не с Маяковским, а... Батюшки, да как же все это запутано!

Узенький Столешников переулок сохранил в себе что-то от Москвы начала XX века: доходные дома, магазины и тенистые затемненные подворотни, а за ними колодцы-дворы, и там всевозможные мастерские. «Ремонт часов»... «Граверные работы»... «Растяжка обуви»... И подъезды. И квартиры, по-чудному, вразнобой нумерованные: 1—7, а потом сразу же 26, 28. Живет обыватель, не тужит, но половина этих квартир — квартиры особого назначения, КОН.

Когда кругленький сдобный человечек в светло-сером костюме, то и дело некрасиво поправляя протез, мне сказал, что я, видите ли, им подхожу, рядом с ним был другой человек. Поизящнее. Помоложе.

Он был в звании капитана госбезопасности. А звали его Сергеем, Сергей Викторович, ежели полностью. И работа у него была сложной, многогранной она была: и меня опекать, поддерживать, всячески ободрять, а к тому же поддерживать надо было не меня одного, и дежурить в конспиративной квартире в переулке старинном.

Сергей Викторович дежурил в конспиративной квартире, принимая сводки категории «молния», расшифровывая их и передавая их в ГУОХПАМОН.

Он, Сергей, назывался офицером-инспектором особой группы 33-го отдела, получал весьма весомое жалование, был женат на милой и ласковой дочери полковника, который подвизался в оливковой Греции в качестве корреспондента ТАСС; была у Сергея трехлетняя дочка и... И вдруг бурно, по-мальчишески застенчиво влюбился он в Динару; видимо, были правы те, кто изо дня в день утверждал, что в социалистическом обществе любовь возникает в дружном совместном труде, в работе. Сергей и Динара работали дружно, с полуслова один другого понимая. Оба были молоды, красивы, по-человечески интересны. Далеко ли тут до любви?

Конспиративная квартира, КОН, превращалась в премиленькое домашнее гнездышко. Очень кстати оказался хитроумный ее камуфляж: шторы на окнах, газовая плита в крохотной законченной кухне, кастрюли, кофейник и, главное, сохранившаяся с незапамятных времен, времен Агранова и Ягоды, раскидистая друспальная кровать с никелированными шпешечками и кружевным покрывалом, окаймленным, как уверял Сергея подполковник, начальник хозяйки 33-го отдела, подлинными рукодельными вологодскими кружевами.

А наутро они просыпались. За окном, во дворе-колодце, бывало, лил дождь. Динара босиком шлепала в душ, открывала краны, напевала какой-то меланхолический казахский речитатив. Сергей варил кофе, резал хлеб, густо мазал его икрой (спецаек!). Завтракали Сергей и Динара вместе.

Динара накидывала плащ, подставляла щеку для поцелуя: губы уже были подкрашены. Убегала: от Столешникова до улицы Жданова — два-три квартала.

Дежурство Сергея Викторовича — до 10 утра. Он грустно слонялся по комнате. Думал.

На Ленинском проспекте — жена Катя. И дочка Катя, дочку в шутку звали Екатериной Екатериновной. Там же теща, Екатерина Васильевна. А в оливковой Греции тещь.

За одно только то, что он допустил в спецквартиру, в КОН постороннее лицо, как минимум полагалось понижение в звании, перевод куда-нибудь в Мордовию и в Чувашию. Что же делать? И тоскливо-молчаливым взглядом своих немного масляных глаз он обводил квартиру.

Квартира молчала.

30 сентября спозаранку, с утра моросило, и город намохлился, а к полудню подобрело, прояснилось.

Почти всю ночь душила меня бессонница, я ворочался под одеялом, чему-то по-дурацки смеялся, вспоминал разговор с моим новым знакомым: Смолевич Владимир Петрович. Перебирал разговор от конца к началу и от начала к концу, будто по аллее ходил, по улице: взад-вперед.

То, что «они» захотят ошеломить меня чем-нибудь, я понимал преотлично, но все-таки... Памятники — это живые люди? Экскурсоводы останавливают у памятников группы туристов, иностранных или же наших иногородних, периферийных, приезжих. На памятники смотрят, глазают... От рассказов Динары тоже раскалывалась башка: было о чем задуматься. Стоят памятники, монументы. Возвышаются. Я-то мимо них езжу, бегаю, а другие... То обступят полукругом, то поодиночке беседуют с ними. Тут-то биотоки и выделяются. Психическая энергия, прана. «Камень, бронза, — открывал мне свои секреты Владимир Петрович, — биотоки, ПЭ хорошо вбирают в себя и отдают хорошо. Гипс, как я вам уже говорил, вбирает отлично, но обратно биотоки из гипса не выжмешь. А живой человек, особенно с высоким коэффициентом аккумуляции...»

Я недоумевал и испуганно ершился вопросами: «А масштаб? Где ж найти таких великанов, чтоб, положим, встали на месте Минина и Пожарского и никто не заметил бы? Человек, он же чаще всего меньше памятника...» «А-а, — отмахивался Владимир Петрович, — про это многие спрашивают. Но тут странная закономерность: с одной стороны, к памятнику устремлено внимание, о нем

думают, с ним и заговорить сплошь да рядом пытаются, а с другой стороны... Всем на все наплевать. Никто, знаете ли, ничему не удивляется уже, разучились. Был вчера Маяковский или Феликс Эдмундович наш побольше, нынче меньше стал, а завтра опять подрастет, кверху вытянется да в плечах раздастся. Никому и в голову не придет, что памятник изменился, потом и подсветка, освещение, знаете ли. Особенно во время праздников, вечером если. Опутаны монументы гирляндами лампочек, свет во тьме светит, вовсю польхает; и уж тут никто ни о чем догадаться не может. И чего там Маяковский, Дзержинский наш; малыши они, малышня! А Рабочий и Колхозница, а? Но представьте себе, подменяем порой, и тогда гениальное изваяние Веры Мухиной два высокой квалификации специалиста изображают; и уж, кстати, замечу вам, что на строгом профессиональном языке те, кому доверено возвышаться на пьедесталах, подменяя скульптуры, именуются имитаторами, на жаргоне же — ла-бу-ха-ми, взяли термин у халтурщиков-музыкантов, он и прижился. Значит, ла-бух. И глагол появился: лабать. Лукича лабать — изображать... Ах, кого изображать, вы сами, я думаю, знаете. Маркс — Карлуша, а Энгельса Фабрикантом почему-то прозвали. Ознакомитесь во благовремении...

Ехал от Владимира Петровича я zelo озадаченный.

Ночь не спал, тем более что среди ночи замолотил по лоджии дождик. Лишь под утро сомкнул я вежды, когда рассвело уже.

А проснулся я — дождик прошел, прояснилось. И отправился я в УМЭ, потому что в этот день мне предстояло провести семинар, встретиться с аспирантом-арабом и поболтать на кафедре, помогая, как говорится, всем, кому делать нечего: это называлось еженедельным дежурством. И еще потому, что в этот день в УМЭ нашем было две именинницы: секретарша Надя и ректор Вера Францевна Рот.

«Жигули» поставил я на площадку. А там уже томился малость помятый «Москвич» Гамлета Алихановича, секретаря парткома УМЭ, пилила фары буланая «Волга» Веры Францевны, и в дверную ручку ее был воткнут букетик гвоздик.

Как войдешь к нам в УМЭ, В. И. Ленин стоит белогипсовый. У ноги его приладили телефон-автомат, и подошва его курносого башмака исчерчена именами и цифрами. Раньше телефон стоял между Лениным и товарищем Сталиным, но в известную пору благодатной и полной надежды «оттепели» самозваного классика убрали. Раскололи на части и, по слухам, утопили в Москва-реке — благо было довольно близко.

Итак, ректором у нас... дама. Вера Францевна Рот. Студенты ее величают иногда «Мадам», иногда «Фрау Рот».

Рот — из немцев. И притом не из доживающих свой век на севере Казахстана бывших немцев Поволжья, а из настоящих, немецких немцев. Говорят, что отец ее был деятелем Интернационала, уцелевшим каким-то чудом в тридцатые годы и в войну: он от Гитлера ушел, он от Сталина ушел, он от Гимmlера ушел, он от Берин ушел. Но исчез, кажется, в 1950 или в 1951 году, а его двенадцатилетняя дочь скиталась по каким-то приютам. Потом наступила уже известная «оттепель», девочку нашли и удочерили, тем более что Genosse Rot не только реабилитировали, но и орденом наградили посмертно. Девочка окончила наш УМЭ по кафедре античной эстетики, поступила в аспирантуру, защитила диссертацию о Платоне. Работала в Восточной Германии, в ГДР. И, глядь, стала она уже и доктором, а между делом и матерью двух очаровательных девочек-близнецов, Нади и Любы, а с недавних пор ее назначили (выбрали) ректором, сменив ею морально устаревшего адмирала в отставке Тюфяева. И теперь у нас ректором наша гордость: милая дама с умным и грустным лицом, восседающая в Лункабе, сиречь на Луне, представляющая нас в МК нашей партии, депутат Моссовета, а в перспективе, как это всем ясно, и Верховного Совета.

В вестибюле — школьницы Надя и Люба. Обступили их студенты. Тормошат и спорят: кто же Надя, а кто же Люба? Девочек и вправду не различишь, сходство тут ужасающее, и оно одинаковой гимназической формой усиливается: обе в платьях темно-коричневых, в передничках светленьких. И обе в очках одинаковых. Наде дарят букетик искусственных васильков, Любе — алую розу. Вера белая, Надежда голубая, Любова багряная, так, мне говорили, считается.

До начала семинара моего еще полчаса. Поднимаюсь в Лункаб, на Луну. Секретарша Надя цветами завалена: во-первых, от нее слишком много зави-

сит, вплоть до ускорения очереди на квартиру; во-вторых, ее любит, и бескорыстно.

— Наденька, — с напряженной непринужденностью выталкиваю я из себя, — поздравляю! — И несу какую-то околесицу о моей симпатии к ней.

Надя снисходительно принимает мои излияния. Потом заговорщицки мне сообщает:

— У меня для вас новость есть. Очень странная, я для вас ее берегла, вы же любите странности всякие. И прошу вас, пока никому ни словечка!

— Новость? — а в душе холодок, ибо хватит с меня новостей.

— Вы зайдите к Вере Францевне, а потом...

Захожу к Вере Францевне: нынче анархический какой-то денек, без доклада иду в Лункаб.

— Вера Францевна, уж позвольте... Традиция...

Вера Францевна благосклонна. Спрашивает, не встречал ли я там, внизу, ее девочек. Отвечаю, что видел их мельком, что студенты затискали их, но ничего, обойдется. Frau Rot улыбается.

Выхожу в приемную. Надя манит меня, просит приблизиться.

— Наденька, что?

— Посмотрите, — делает Надя большие-пребольшие глаза и показывает на окно. — Посмотрите, пока здесь нет никого.

Я смотрю. В окне дома, стена которого граничит со стеною УМЭ, как всегда в положенный час, маячит женщина в малиновой комбинации. В руке у нее половник, в половнике что-то вкусное: она подняла половник, подставила рот под стекающие с него капли.

— Внимательно смотрите, — шепчет Надя. — И подольше, подольше!

Смотрю. Что за чушь!

— Наденька, но она же...

— Дико, правда?

Действительно, дико: дело в том, что дама... не движется. Она подняла половник, подставила рот под струйку, под капли, которые потекут с него. Эти капли даже видны, вернее одна только капля чего-то красивого, красного — таким может быть и свекольный борщ, и кисель. Но капля повисла на краю металлической ложки. Застыла. Окаменела. И дама застыла, не движется: стоп-кадр.

— Я за ней уже целый час наблюдаю, — продолжает Надя шептать. — Не движется, ни разу не шелохнулась.

Что тут скажешь?

— Да, — говорю я, — бывают странности в мире. А впрочем, пора мне, у меня сейчас семинар.

— Идите, — лепечет Надя. — Идите.

Когда я спускаюсь по лестнице вниз, мне навстречу поднимается Маг. Он лысенький. Остроносый. Человек он, по-моему, неприятный, и разное про него говорят: говорят, что он оккультист из крупнейших, виднейших, таинственных. Что обучен он тайноведению и всевозможным чернокошным премудростям. При этом он деятельнейший из членов ученого совета и много лет кряду ходит он в исполняющих обязанности зав. кафедрой эстетики народов СССР. Изучают там эстетику украинскую, грузинскую, армянскую — всякую. Оно и славно, почему бы не заниматься ими, но уж больно все чохом, навалом. Все эстетики вместе. И так, будто уже в каком-нибудь XII или XVI веке и армяне, и украинцы, и грузины знали о том, что они обречены стать гражданами некоей преогромной и неуклюжей державы, разделенной на пятнадцать союзных республик.

Я почтительно кланяюсь Магу.

— Вера Францевна у себя? — спрашивает он меня, задыхаясь: неможеться ему, астма, что ли.

— У себя, — говорю и киваю куда-то наверх. — Вера Францевна на Луне.

И Маг припускает вверх, а я шествую дальше.

Презанятные вещи происходят у нас в УМЭ, пре-за-нят-ны-е!

Я твержу и твержу себе: я пишу не роман!

Не ро-ман я пи-шу!

Не роман, не роман, а за-пис-ки, хронограмму моей жизни в определенные годы, любопытные штрихи из быта и маленькие тайны, которые я хотел бы предать огласке. Сделать это почитаю я долгом своим, долгом честного человека: я о чем-то современникам должен поведать, о чем-то предупредить их, хотя

русская социальная мысль и литература уже двести лет о чем-нибудь соотечественников предупреждают, да все как-то без толку.

Я пишу не роман — хронограмму. Роман зиждется на вымысле, а в записках все достоверно должно быть, так, как было; разрешается, может быть, только имена и фамилии изменять. Жизнь в записках фиксируется, всего лишь фиксируется; а отсюда — позволительная ненапряженность сюжета, размазанность рассуждений, чересполосица времени. Я пишу не роман, но роман как бы преследует меня, тянется к моим безобидным запискам, проникает в них, ввинчивается, внедряется.

Я пишу не роман, но попал-то я в типично романную ситуацию, в ситуацию, характерную именно для героя романа: я должен принять решение, которое, может статься, со стороны покажется забавным, уморительным даже; для меня же оно невероятно серьезно. Каким оно будет? Не знаю; и мой труд — акт отчаяния, признания неготовности к ответу на вопрос, предо мною внезапно возникший. Бьюсь я над своей хронограммой, а меня затягивает в роман, и сбиваюсь я на него, поглядывая на себя и извне, и немножечко изнутри, ощущая себя и создателем, и невольным героем поневоле романизированных записок.

Приблизительно тогда, когда я в УМЭ рассыпался в любезностях перед Верой Францевной, в двухкомнатной квартире Валерия Никитича Вонави-Иванова снова сошлись коронованные особы и прочие исторические деятели всевозможных государств и времен. На сей раз, правда, их было не так уж и много: Боря, новоузнанный граф Сен-Жермен; дюжий малый, блондин-губошлеп с остановившимся взглядом, в коем гений родоначальника русских йогов, Великий Учитель школы Ста сорока четырех арканов прозрел римского императора Гая Юлия Цезаря, да подобранная на Казанском вокзале девушка, о которой тотчас же стало известно: она ангел, душа неискушенная, в нравах и в делах нашего пестрого и грубоватого мира неопытная, в первый раз воплотилась она в материальное тело. Все они сошлись поздравить Веру Ивановну с именинами; именины же у нее на старинный манер с днем рождения совпадали; и по этому случаю в кухне был сервирован чай из собранных наспех разнокалиберных чашек, на столе возвышалась початая поллитровка, лежали нарезанное толстыми ломтями сало, посиневшая колбаса, огурцы.

Вонави оправлялся после многодневного голодания. Те, кому приходилось закалять или исцелять себя продолжительным голодом, знают: самое трудное — не голодание, нет, а первые деньки возвращения к утехам мирским, когда тормоза отпущены, выпиты первые бокалы свекольного, картофельного и морковного сока, тихо, медленно, истово съедены свежие огурцы и протертые яблоки. Несказанная радость возврата на землю, к дарам ее, к благам; и приходит к смертному понимание реальной святости плоти земли: свекольный сок оглушающе сладок, капустный — остр и приятно режет язык и нёбо. И тогда начинает хотеться еще и еще, даже не насыщения ради, а во имя того, чтобы по-настоящему почувствовать себя полноправным сыном многострадальной земли.

Вонави был благоденствен тих. Лицо его, правда, порою кривилось судорогой, щека некрасиво прыгала. Но глаза лучились миром и благолепием, а в глубинах их жила какой-то задумчивый замысел.

— Кушайте, йоги мои, — нараспев, по-московски ублажала собравшихся Вера Ивановна. — Кушайте, а уж вашего гуру мы сегодня огурчиком угостим, дадим ему успокоиться.

Яша налил стопку Вере Ивановне, до краев наполнил свою.

— А вас Яшей зовут? — застенчиво спросила девушка-ангел. — Яшечка, мне тоже, если можно, налейте.

Яша глянул — вопросительно — на гуру. Тот кивнул. Яша знал, что по концепции гуру воплощенного ангела приучать к земной жизни надобно сразу, большими дозами; из бесплотного мира — в мир плоти: еда, да такая, что едой ее назвать мало, а скорее надо жратвой; выпивка; полное подчинение своих помыслов и душевных движений воле гуру, а затем и всех членов секты — ватаги, как именовали себя русские йоги. Гуру не раз утверждал, что он с первого взгляда на человека различает души опытные, воплощавшиеся в миру по нескольку раз, истрадавшие, грехами обремененные, и нововоплощенные души, ниспосланные в мир земной по первому разу. Этим душам положено всемерное внимание с его, гуру, стороны, но не должно бояться и резкости, грубости. «Тут как в обучении плаванию, — говорил, бывало, гуру, и лицо его дергалось. — Бросить

в воду... сразу... Плы-ви!» И он перебирал руками; показывая, как именно надо плыть, загребал он саженьками.

Девушка-ангел поднесла к устам солидную стопку, хлебнула по-женски, поперхнулась, закашлялась. Яша постучал ее по спине.

— Бабу бить надо, — изрек Вонави.

Гай Юлий Цезарь буркнул:

— А девуку?

— Девку тем более. Крепостное право было, секли. — Вонави поучающе поднял вверх надкусанный огурец, посмотрел на девушку-ангела. А та знала в общем-то, на что она шла, включившись в ватагу «Русские йоги», и в глазах ее попеременно светились и печаль навеки пойманной птички, и отвага отчаяния: уж скорее бы, что ли!.. Уж скорее бы... это самое...

А гуру продолжал говорить. На этот раз по случаю дня рождения Веры Ивановны о родстве, о метафизике родственных уз.

«Сын — отец», например. У него получалось складно: Иван Грозный, Петр I и Сталин приносили в жертву истории своих сыновей, убивая их самолично или отдавая их на смерть. Почему? Пародировали Бога, Его повторяя: отдал же Он Сына на муки и на распятие. Выходило достаточно убедительно. Но не раз затрагивая гуру и проблему «дочь — отец». Тут, по словам его, открывались бездны, в которые он проник: брак с дочерью усиливает, удешевляет оккультную мощь отца, открывает перед ним астральные горизонты; это знали давно, известно это из Библии, но об этом забыли, и инцест сохранился только на периферии, где-то в глухих деревнях. Сталин был, конечно, незаурядным магом. Перешагивая через жизни сообщников, предавая, устраивая трагические комедии с судами над ними и подглядывая на эти комедии в щелочку, в дырку, как бы в замочную скважину, к своей дочери он все-таки не отважился прикоснуться. Может быть, отсюда и его поражение, посрамление после смерти, свистопляска с так называемым разоблачением культа личности.

Вонави отрезал от темно-зеленого, неестественно длинного парникового огурца кружочки. Остро-остро отточенный нож, настоящий дагестанский кинжал, серебрился в нервно дрожащей руке. Говорил:

— Я могу... Я право имею на мно-го-е! Мне позволено то, что для других обернется грехом. Есть глубины истории, и историю можно выворачивать наизнанку. Можно находить в истории своих предков, только непременно противоположного пола: мы, мужчины, должны находить в истории наших бабушек и прабабушек, аж до Евы, праматери; женщины — находить мужчин до Адама. Находить и контактировать с ними!

Юлий Цезарь слушал, раззявив слюнявый рот. Настоящего, нынешнего имени Юлия Цезаря почему-то никто не знал, его звали дурацким прозвищем: Буба (иногда говорили ласково: Бубочка или Бубонька). Затаил дыхание Боря.

— Я нашел, — говорил Вонави, — свою прапрабабушку. Екатерина Вторая. Ве-ли-ка-я! Знаете, конечно, что б... была. Грешила. Родила она девочку, по другим же свидетельствам даже двух, близнецов. Тай-но! Девочку называли Екатериной, а сестричку ее Елизаветой нарекли. И обеих на воспитание отдали. Сначала в дальнюю даль, в Симбухово Симбирской губернии, в дом богатых крестьян-крепостных. А когда они чуть-чуть подросли, так крестьяночками крепостными и взяли сестричек в Москву, в семью дворян, не таких уж богатых. Все сработало чисто, комар носу не подточил бы. Дворяне сами толком не знали, чьи девочки у них в усадьбе воспитываются. А выросли они, и тогда...

Гуру снова сверкнул дагестанским кинжалом, отрезая кусок огурца, прожевал. — Не довольно ли? — нерешительно спросила Вера Ивановна, на огурец посмотрела с опаской. А супруг ее в ответ только дернулся тиком:

— И тогда одну из них про-да-ли!

Изумленно хрюкнул Бубочка, Буба, он же Гай Юлий Цезарь.

— Так-то! А кому ее продали и за сколько? Тайна, милые! Знаю только, когда ее продали, точно знаю, день в день. Больше знаю; девочку к нам, сюда импортировать надо, и я должен буду в эротический контакт вступить с ней; она дочь от меня родит, а уж там-то...

Понял, кажется, сперва только Боря. Потом огонек понимания побежал по кругу: догадался о чем-то и Яша, Тутанхамон. Догадкой зарделась и Вера Ивановна, именинница. Пьяненькая девушка-ангел недоуменно перевела взгляд с йога на йога, икнула:

— Значит, вы... были там, в XVIII веке? — брякнул Яша.

— Дур-р-раки вы, русские, дур-р-раки, — оскалился Вонави. — Немногие по-

падают за лицевую сторону времени, и тут нужно условие: попасть можно только туда, в то столетие, в ту эпоху, где деразющий в последний раз воплощался. Говорил же я вам, говорил, что тебе, Тутанхамон, только в Древний Египет дорога светит, а Юлию Цезарю только в Рим. А уж мне... Где я был, откуда ниспослан я, вам знать не дано, но уж в XVIII столетии да еще и в России меня, голубчики, не бы-ло, подревнее я, на много веков подревнее. Но могу же я повернуть... Позову ее из глубин истории. Ее купит и приведет сюда... — Мятный холодок подкрался к сердцу Бори, Бориса Павловича, его сиятельства, графа новорожденного, оккультиста. Гуру положил огурец и нож на тарелку, палец прижал к губам. Глазами показал на окно: оконные стекла — мембрана; где-то поблизости «Волга» стоит и подслушивает. Перевел глаза на Бориса. Поморщился, дернулась судорогой щека:

— Враги окружают меня, помните, йоги! Враги окружают! Но тот, кто ныне давно уже в Мавзолее лежит, в двадцатой степени посвященный, тоже был башковит. Он говорил, что надо и на компромиссы идти. Мы и пойдем!

И начал гуру Вонави излагать свой план: Боря, граф Сен-Жермен, в назначенный день отправится к Магу, да, к Магу, к тому, что в УМЭ.

— К умэ-э-эльцу, — по-козлиному протяжно проблеял гуру, заодно намекая на несчастный наш Козьебородский проезд. Хихикнул.

При упоминании о Маге, подвизающемся в нашем УМЭ, лицо Вонави исказило злоба. Злоба зависти: он, гуру, был плебей, самоучка. Посвящали его давно и как-то кустарно, звездной ночью в Кавказских горах, над маленькой и причудливо красивой Тебердой: «В свой час явлюсь я тебе, — кончил первый наставник будущего гуру Вонави, — а теперь иди в мир!» Иванов погрузился в сон. Когда он проснулся, склоны гор озаряло встающее солнце, было холодно. Йог-водитель исчез. Иванов кое-как поднялся, огляделся, начал спускаться по узкой тропе. Он стал другим; не только собой, студентом-филологом, исключенным со второго курса за академическую задолженность, но еще и другим. Он чувствовал мощь, осеняющую его дух. Но он знал, что в Москве копошатся школы и подвизаются маги страшнее него: интеллигентные! Это были устоявшиеся школы и по-настоящему сильные одиночки. Образованные, начитанные, они свободно ориентировались в многоязычной оккультной литературе: немецкий язык, итальянский, латынь. Таинственные связи соединяли их с верхушкой ЦК КПСС, с государством. Маг, которого Иванов-Вонави стал презрительно величать «умэ-э-эльцем», был одним из трех-четырех, имевших доступ в Фаустовский кабинет Ленинградской публичной библиотеки, в бронированную комнату, в сейф, на полках коего представлена была чернокнижная премудрость всех стран. Много знал Маг и много умел он, «умэ-э-эльцем» Вонави дразнил его неспроста. Лютой завистью завидовал гуру Магу. Гуру рвался проникнуть куда-нибудь в глубину неизменно влекущего его государственного аппарата; он всерьез полагал, что, прознав о его способностях, его приласкают, отметят, поручат ему управлять каким-нибудь департаментом психических связей. Однако государственный аппарат, принимая кое-какие услуги Мага, брезгливо отбрасывал Вонави. Верно, что за ним была установлена слежка. Но следили за ним небрежно, лениво, явно не придавая ему никакого существенного значения и прекрасно понимая, что парапсихические поползновения Вонави недалеко ушли от подростковых игр. Вонави бесновался. А теперь он бесновался вдвойне:

— На компромиссы пойдем. Я мыслитель, мессия, а Маг... Он-то практик. Кое-что этот Маг умеет, к изнанке истории у него есть лазейка, и придется нам в эту лазейку пролезть. Тебе, Боря, придется, тебе! Мы лазейку в триумфальные врата превратим, а для этого ты в назначенный день потопашешь к демоншке проклятому, в предварительном разговоре ты с ним вступишь в ментальную связь, а потом...

Гуру знал, что его новоявленный ученик отправится на два века назад, проведет там день и вернется с добычей — с дочкой, с дочерью Российской императрицы.

Где и как проведет гуру о дочери Екатерины II? У гуру какие-то свои источники информации; и в лечебно-психиатрическом заведении, в Белых Столбах, в дни его пребывания там подошел к нему человечиска с растрепанной бороденкой, оглянулся, в стороночку отозвал и, захлебываясь словами, приоткрыл ему перипетии одного из приключений гениальной коронованной блудодейки. «Ты за это мне щец-то дай, — умолял человечиска, — свою порцию уступи. И еще шоколадку...» За обедом Вонави уступил человечиске — оказался он на пенсию выгнанным учителем истории в ПТУ — свои щи, отломил шоколада от плитки;

тайнознавец-учитель блаженно зажмурился, принялся крошить шоколадку в тарелку со щами. Покрошив же, начал жадно хлебать: хлебнет ложку да и подмигнет Вонави-Иванову; подмигнет — и снова хлебнет. Вонави же загорался какою-то неопределенной идеей.

А когда Вонави отпустили на волю, он — недаром же, ох, недаром! — почти сразу же наткнулся на текст объявления, приводимого в какой-то книге по русской истории; текст казался просто-таки призывным:

Серпуховской части 4 кварт. под № 110, за Калужскими воротами, в приходе Риз Положения, продается девка 17 лет, знающая грамоте, на театре балеты танцевать, голландское белье и в тамбуре шить, гладить, крахмалить, колпаки вязать, отчасти и портному, так же весьма способная за Госпожею ходить, а притом и хорошаго поведения, —

в первый день 1798 года сообщали обитателям первопрестольной столицы почтенные «Московские ведомости» — нечто среднее между «Московской правдой» и «Вечерней Москвой» конца XVIII столетия.

В библиотеки Москвы гуру не ходил никогда. Книги приносили ему любимцы-ученики, добывала Вера Ивановна. Но в газетный зал Исторической библиотеки он однажды все же зашел. Поднимаясь по лестнице и пробираясь к невзрачной стойке, он ернически приплясывал, кривлялся, гримасничал; но в библиотеке привыкли к чудакам, к психопатам-маньякам, и никто на него особенного внимания не обратил. Равнодушная тетка в сизом халате принесла ему «Московские ведомости», он нашел объявление. Когда тетка отвернулась, он достал привязанный к левой ноге, спрятанный в подштанниках кинжал, оглянулся, аккуратно полоснул по ломкой газетной бумаге. Для приличия полистал газету, положил ее на засаленные, отполированные локтями многочисленных посетителей доски. Тетка лягнула ему штампик: «Сдано»...

Вонави вскочил с насиженного дивана, подбежал к стоящему у окна столу. Выдвинул ящик, достал вырезку из «Московских ведомостей», стал читать: «Серпуховской части... На Средней Донской... В приходе Риз Положения...» Остановился, обвел взглядом ватагу:

— А вы знаете церковь Положения Риз?

— Знаем, — неожиданно отозвалась из угла задремавшая девушка-ангел. — Я знаю такую церковь, красненькая она, краси-и-вая, клевая!

— Гм, говорю же тебе, что ты ангел. Ишь ведь, трое добрых молодцев собрались здесь, фараон, император, граф-оккультист, а не знают. Что ж, под Новый год мы все вместе сходим туда, поглядим, как оно там. Боря, кстати, там и рекогносцировку проведет, ему же в XVIII век на Донскую улицу путешествие предстоит...

— Па-па, а мы поедem к тебе на работу?

Сыночку моему, Васе, нынче, 7 ноября, восемь лет исполняется. Живет и воспитывается он у Иры, бывшей жены, современный международный или, во всяком случае, европейский стандарт с участием мужчины, женщины и ребеночка. У меня была Ира, у кого-то были Наташа, Светлана или Тамара. Особенно много разведенных Ир; я знаю одного доцента, который женат в третий раз, и все жены у него почему-то Иры. Зовет он их как каких-нибудь царственных особ: Ирина I, Ирина II, Ирина III.

У меня же только одна Ирина была; и хватит с меня, довольно.

Теперь у меня Люда, врач-психиатр, точнее, сексопатолог широкого профиля; а специализироваться она хочет на импотенции. Специальность ее, естественно, всеми знакомыми воспринимается однозначно: игриво. Или так: узнав об ее специальности, мужчины — как-то даже, наверное, бессознательно — хорохориться начинают; фигурно выражаясь, выпячивают грудь, кончиками пальцев разглаживают усы: дескать, уж кому-кому, а мне обращаться к вам за помощью не придется! Женщины бросают на своих мужей и возлюбленных несколько встревоженные, хотя в общем-то довольно гордые взгляды: мой-то, он... ни-че-го, пока можно не волноваться.

Специальность у Люды, как она говорит, к сожалению, перспективная.

Люда красивая: глазищи навывкате, серые, их даже очки не портят; а у ее обожаемого ею учителя, врача-психиатра известнейшего, есть теория, по которой глаза — это главный инструмент психиатра. Теория полшутливая, но Люда излагает ее всегда чрезвычайно почтительно. Люда приезжает ко мне в Чертано-

во. Она хочет выйти за меня замуж, откровенно упрасивает меня взять ее в жены. Но жениться по второму разу я суеверно боюсь. Люда сердится, глаза ее из-под модных очков сверкают, а я отшучиваюсь или глупо мычу что-нибудь. Восьмилетнего моего Васю Люда старательно любит; и сейчас мы едем по городу: я, мой сын и моя любовница.

Путь мы держим в УМЭ. Как зачем? А дежурство? Общеизвестно, что в праздничные дни надо было кому-то сидеть у телефона, который время от времени визгливо трезвонил: звонили из райкома, проверяли, бдишь ли, сидишь ли?

График сидения составлялся в парткомах и отправлялся в тот же райком. Там его утверждали. Зачем и кому понадобились сидельцы-дежурные? Опять же: да как это, зачем? И как можно тут о чем-то еще и спрашивать? А вдруг да...

Что?

Не-по-нят-но.

Но может случиться вся-ко-е.

А что именно?

Очевидно, подразумевались народный бунт, нашествие полчищ врагов, стихийное бедствие наподобие наводнения или пожара. И тогда-то дежурный, глядишь, и понадобился бы.

Обыватель давно изощрился превращать громоадские нелепости доставшегося ему в удел социального строя в не лишние пикантности утех и развлечений; и я издавна полюбил на праздники дежурить в УМЭ. Приходил я к нашему секретарю парткома Гамлету Алихановичу, напрашивался: а не надо ли подежурить на праздники? Я и в этом году пришел и опять напротился, получив, натурально, согласие.

Когда мы подкатили к УМЭ, электронные часы какого-то заводика, что пригнулся напротив, показывали 19-58. На крыльце же топтался... Маг! Был он величав даже в своем суетливом комизме: и шляпенка-то на глаза надвинута, и очки круглые в железной оправе, и носик морковкой торчит, будто нюхает морозный воздух революционной столицы. И все порознь смешно, а величав, ничего не скажешь!

— Как себя чувствуете? Вы ж, я слышал, больны?

— Не так уж и болен. — Сверкнул очками, глаза неприятно забегали. — Не так уж и болен, а из дому выползти надо было. Ну-с, дежурство прошло нормально, происшествий не было, примите мои поздравления с годовщиной и позвольте откланяться.

Маг церемонно поклонился мне, Люде. Вручил мне связку ключей. Васю Маг как бы даже и не заметил, спустился с крыльца и потопал прочь, бормоча, что такси поймать не надеется, доберется до метро «Смоленская», а уж там, почитай, он и дома, у «Маяковской», — минут за двадцать пять доберется.

— Двадцать пять, — сказал он как-то многозначительно. — Двадцать пять. Да, не меньше, никак не меньше!

Балкон у нас длинный, на балкон выходят двери и окна из нескольких кабинетов. Вася бегает по балкону, глаза на багряное небо праздника.

— Папа, а салют скоро будет?

— Успеется, через час без малого.

— Папа, сколько залпов?

— Двадцать четыре, Васенька; ровно двадцать четыре, две дюжины.

С Ирой у нас есть уговор: дни рождения Вася справляет по очереди, один год у нее, другой у меня. У Иры — нечетные годы, четные же — со мной. В эти дни Вася всецело в ведении одной стороны. Семилетие встречал он с Ирой. Я спросил его, как прошел день рождения. Он, бедняга, грустно ответил, что скучно; и боюсь я, что он слухавил, просто думал, что мне нужен такой ответ.

У меня ключи от всех кафедр и кабинетов, включая Лункаб. Но в Лункаб мне сейчас не надо, разве что после, сыночка туда свожу, покажу ему коллекцию окон-лун. Мне только в приемную ректора, туда, где сидит наша Надя и где видно окно соседнего дома, а в окне дама в малиновой рубашонке, та, что пробует с поварешки какое-то смачное варево, компот ли, борщ ли.

Уж шесть недель стоит она неподвижно, застывши. Может, конечно, на ночь она и уходит из кухни, а приходит туда рано утром с тем, чтобы сварганить свое ежедневное кушанье и застыть в неподвижности. А может, она и вообще так застыла. Почему-то вдруг у меня мелькнула догадка: между дамой в малиновой рубашонке и Магом есть какая-то связь. Не знаю, почему мне вспомнилась застывшая дама, но подумалось: «Что-то должно приоткрыться!» И я помчался в приемную. Вставил в скважину ключ, распахнул рывком дверь, ворвался. Для

того, чтобы глянуть в окно, бывшее когда-то шестиугольной звездой, надо было немного нагнуться.

Я нагнулся.

Лунный свет серебрил стену противоположного дома. В ней чернело единственное окно: силуэтом в его темном проеме застыла дама.

Вдруг...

Нет, я все-таки не зря поспешал сюда! Дама вдруг встрепенулась, ложка в ее руке дрогнула, начала немного вибрировать. Вспыхнул свет причудливых голубых тонов, перешел в лиловый, в багряный, в розовый.

Дама взмахнула ложкой, как дирижерской палочкой. С ложки брызнули капли жидкости, и в это мгновение московское небо раскололось в салюте, причем об заклад я готов побиться: салют повторял цвета, которые за секунду до очередного залпа сверкали здесь, на кухне у дамы.

Взмахнет дама ложкой, сверкнет на ее кухне сиренево-лиловое в сочетании с желтым — и через несколько мгновений точно таких же цветов вознесутся в небо ракеты. Залезет дама своей поварешкой в кастрюльку, зачерпнет там алое что-то, поварешкой взмахнет, и в ответ ее взмахам — залпы. У дамы алое, и ракеты алые. Голубое у дамы, и белое с голубым в небесах.

Ложкой, ложкой в упоении машет дама. И уста шевелятся, да разве услышишь? Заклинания шепчет? Стихи? Непристойно ругается?

Громых... громых... Громыкает салют.

Я аж на курточке присел — знай, глазею.

И чем-то выдал себя: обернулась дама, пристально посмотрела в наше окно, явно меня увидела. Повернулась ко мне лицом, рожка скривилась; но надо же даме работу свою непонятную делать: дирижировать громящими салютами. И то уж она, на меня глазеючи, задержалась, помедлила, и очередной залп золотистых ракет задержался заметно. Но — громых! — громыхнул.

Потом гаснет все: после ярого светового буйства кухня дамы кажется мрачной, и уже ничего не видать.

Ухожу из приемной. В полутемной тишине поднимаюсь наверх: как они, мой сын и моя... В общем, Люда?

— Па-па,— говорит мне Васятка, как всегда, разделяя два слога в дорогом для него слове «папа»,— па-па, а ты ничего не заметил?

— А что я должен был заметить?

Вася полон восторга. Люда стоит, положивши руки ему на плечи. Улыбается. Смущена.

— А то! — кричит Вася. — А то, что залпов... Скажи еще раз, сколько должно быть залпов?

— Двадцать четыре бывает всегда.

— А сейчас мы с Людмилой Александровной двадцать пять насчитали. Двадцать пять? И, выходит, ты меня обманул: правда же, двадцать пять было залпов, да?

Люда недоуменно кивает.

— Вася,— пытаюсь я проявить находчивость,— знаешь, наверное, двадцать пятый залп в твою честь громыхнули. К дню рождения, а?

— Па-па, только ты не шути. А как мог салютный начальник узнать про мой день рождения?

— Он такой, что все-все узнает. И какие уж тут шутки, сыночек!

Но тут зазвонил телефон, завизжал по-щенячьи:

— С вами говорят из райкома, как дежурство проходит, нормально?

— Нормально.

— Если будут возникать вопросы по поводу якобы избыточного количества залпов в салюте в честь Великого Октября, поступило указание в зародыше пресекать пересуды. Сколько надо, столько и было залпов, вам понятно?

— Понятно,— бубню я и рукою Люде показываю: погаси, дескать, свет, ни к чему он!

Обывателя приговорили к дежурствам,— что же, он и на дежурства покорно побрел. Разумеется, совершенно иное дело — сеть квартир в Столешниковом переулке. Там дежурства — так уж дежурства: снуют спортивного вида фигуры в синих, в серых пальто, в модных куртках на «молниях» — люди с незаметными лицами, растворяющиеся в толпе без остатка. Неторопливо проходят двором, вдавливаются в стену и исчезают: были они, и нет их.

В 20.00 вдавился в стену Сергей, в 20.02 вошел в обжитую квартиру. Навстречу ему встал юноша в замшевом пиджаке.

— Много? — спросил Сергей.

Юноша молча кивнул туда, где лежал журнал:

— И побольше бывает.

— Скандальные есть?

— Да нет, по нашей части не очень. Да у меня-то — что? День! День не проблема; основное — тебе: вечер, ночь. Пошел я, да? Дежурство сдал, если надо по форме.

— Дежурство принял. Иди.

Юноша бросил в рот сигарету, сунул Сергею узкую мягкую пятерню. Поднял воротник, вышел.

Хлопнула дверь подъезда. Неслышно, как учили в двухгодичке-специалке, юноша скользнул по дну колодца-двора, исчез в подворотне, растворился в толпе.

А Сергей на часы посмотрел: скоро-скоро уже и Динара придет. Они так договорились: она ровно в десять сюда прибежит, в Столешников. Как раз под грохот салюта: веселее так и, главное, незаметнее.

Чайник на плите тем временем начал уютно сипеть, а стрелки старинных восьмиугольных часов приближались к косому андреевскому кресту, к цифре «Х».

Любоваться салютом выбрались на балкон: впереди гуру в накинутом на плечи шелковом узбекском халате-чапане, за ним — Сен-Жермен, Юлий Цезарь.

С балкона гуру смотреть салюты было всегда особенно интересно: орудия, из которых бабахали фейерверками молоденькие солдаты-артиллеристы, почему-то все больше таджики или киргизы, стояли совсем под окнами. За час до салюта на проспекте Просвещения прекращалось уличное движение, начиналась деятельная суeta. Похлопывая себя по икрам полосатыми жезлами, рассказывали по проезжей части офицеры-автоинспектора, вприпрыжку тянулись к расположению артбата-реи мальчишки.

— Салю-ю-ют, салю-ю-ют! — голосят мальчишки.

А салют им в ответ:

— Бабб-бах! Ах-ххх!..

— Салю-ю-ют! — голосят.

— Бабб-бах, — им в ответ.

Двадцать пять разочков бабахнули!

— Нет, постойте, постойте, как же так, двадцать пять?

— А не обсчитались вы?

— Вонави, учитель, вы слышали?

У учителя лицо перекошено. Губы помертвели, дрожат.

— Двадцать пять залпов? — спрашивает учитель, гуру. — Это точно?

Динара на тайных курсах Комитета государственной безопасности не обучалась, появляться и исчезать бесшумно она не умеет. Поэтому она через дворик дома в Столешниковом переулке и бежит, задыхаясь.

Она загадала: если успеет добежать к конспиративной квартире до окончания салюта, все будет хорошо-хорошо. Что значит в их, ее и Сергея, положении «хорошо», она толком не знала. Развод Сергея с женой? Но там, у них, у Сережи на службе, развод — чрезвычайность; там, у них, еще держится идея крепкой семьи. Их шпыняют традициями старинного рыцарства, требуют от них стойкости и, как Сергей говорил ей, «определенности нравственных очертаний». Да и проще: одна жена, вторая жена, глядишь, и к третьей потянет; у каждой жены родня, а у родни еще и еще родня. Какая-то информация утечет, так уж пусть она утекает по одному каналу, а не по двум. Ах, да невозможен развод, не-воз-мо-жен, тем более что и сам Сергей из чекистов потомственных, еще сталинградских; и тесть у него в Афинах — Парфенон созерцает.

Салют бабахнул, когда она была еще у Большого театра, в устье Петровки: залил Театральную площадь багряным, будто расплескалась по площади кровавая лужа. Динара словно споткнулась: показалось ей, что бежит она по циклотки в крови. Не могла не остановиться, но сразу же припустила дальше. А дальше — Петровка. Раскалывая небеса, громыхает салют; сыпет в небо искры всех цветов радуги.

Бежит Динара, считает веселые залпы.

Магазин «Подарки»: двадцать второй залп.

Магазин «Галстуки»...

По дворику пробежать: двадцать третий...

Сереза знает, что бегу к нему. Дверь, наверное, приоткрыл, хоть это строжайше запрещено.

Двадцать четвертый залп...

— Серезенька, милый, я так спешила! Знаешь, я загада...

И вдруг: двадцать пя-тый...

Сереза:

— Что это?

И тотчас же телефон визгливо звонит.

Сергей берет свою гостью за руку, тащит в глубь комнаты. Свободной рукой снимает телефонную трубку. Слушает. Торопливо записывает в журнал.

— Не мог же я ошибиться: двадцать пять было залпов. А тут еще...

— Осквернение? И, конечно, по вашей части, политика?

— «Анархия — мать порядка», как тебе нравится, а?

— Написали? На ком же это?

— У метро «Кропоткинская» кто стоит? «Происхождение семьи, частной собственности...»

— «...и государства». Слышала. Фабрикантом его наши труженики называют. Энгельс, так? На нем написали?

— Ага.

— А почему же все-таки двадцать пять было залпов, Серезенька?

— Ох, дорогая, не знаю; только чувствую, и тут неладное что-то творится.

Так и закончился праздник и у нас, в УМЭ нашем; и у гуру Вонави; и в конспиративной квартире, в КОН, что в Столешниковом переулке запрятана.

Дружба Яши (Тутанхамон) и Бори (граф Сен-Жермен) прошла несколько фаз.

Познакомились они у меня: я менял двигатель «Жигулей», потом мы пили, втроем: обмывали новый мотор. Яша и Боря воспринимали друг друга враждебно, царапали друг друга колючими взглядами: ревновали, что ли? Скорее же всего рознь их носила характер идейной борьбы: уж так повелось на Руси, что, где двое сойдутся, там идейная борьба начинается, философская рознь.

В те поры Боря был крайним материалистом. Неустанно манил его образ какого-то собирательного секретаря райкома (до обкома бедняга не мог подняться даже мысленным взором; тут уже начинался Олимп, для него недоступный). «Они же все могут! — то ли стонал, что ли рыком рычал Борис. — Все, все-е-е!» Он рассказывал мне об оргиях партийной верхушки, отголоски которых иногда доносились до его черной, измазанной отходами масел ямы: под видом морских учений устроили себе развеселую морскую прогулку на таинственном, особо засекреченном крейсере. Я был не в силах разубедить Борю в тотальном могуществе секретарей райкомов, носившихся по волнам морей на таинственном, подобном Летучему Голландцу, атомном крейсере с бабами, безобразно надравшихся и, должно быть, пьяно рыгающих и визжащих. Не мог в этом преуспеть и Яша, бывший, говоря весьма относительно, крайним идеалистом. Боря слушал нас, недоверчиво хмурился и в ответ сбивчиво повествовал о новых и новых похождениях никогда не унывавшего партактива.

Что до Яши, то он стремился жить всего прежде возвышенными интересами духа. И тут...

Материя всегда завидует духу, сознавая свое несовершенство в сопоставлении с ним: дух нетлен, и в этом смысле он неизмеримо совершенней материи; а стремление материи увековечить себя в пирамиде, в памятнике — плод попользований ее достичь бессмертия, лишь духу доступного. Зарабатывал Боря много. Много он тратил, но много копил. Копил, копил, а до власти секретаря райкома было ему далеко, как до звезд. Зато начинала манить духовность. Та духовность, доступ к которой, как это неожиданно выяснилось, оказался не больно уж труден: высоты духа, а вместе с ними и блеск власти над миром подлунным маячили где-то рядом; и Яша — Боря узнал об этом с некоторой завистью — уже приобщился к этой духовности: переходы из материального плана в ментальный, из ментального плана в астрал, беснование вокруг нас злобных духов, инкарнации, степени посвящения, космическая подпитка...

Тут-то и явился гуру Вонави. Состоялось посвящение Яши в ранг фараона, а вернее, открытие в нем фараона. Обратившись в Тутанхамона, Яша стал взирать на Борю совсем уж свысока. Яша являл своего потерпевшего поражение друга в дом Ивановых, а дальше — известное дело: в Боре всплыл Сен-Жермен.

И сидят они теперь в пивном зале, перед каждым — по кружке.

— И отправишься в восемнадцатый век? — Яша край кружки солью присыпал.

Боря пожимает плечами, пену сдувает:

— А как же! Ты мне только подскази, восемнадцатый век, это какие события? Пугачев?

— Подковыаться надо тебе. Ты, пожалуйста, не обижайся, только я тебе пару-тройку хороших книжек подброшу.

— Не надо мне книжек.

— А деньги? Продаются... 17 лет... на театре балеты... Ты поинтересовался, почему? Да и с чем ты в восемнадцатый век трансплантируешься, с Лукичом нашим, на бумажках оттиснутым?

— У меня кресты будут, кольца, всё рыжики. Пробы самой высокой. Вещный голос учителю был: пятьсот просят.

— А что, Боря, как застукают тебя? Догадаются?

— Нет, не догадаются. Понимаешь, раз уж я их современник, я не проврусь, хоть бы ни словечка не мог сказать, как тогда говорили.

— А что к Магу придется идти, в ножки кланяться, тебе не противно, что он год жизни у тебя сострижет, не страшно?

— Что значит страшно или не страшно? Да для учителя я все сделаю, все!

— Ладно, Боря. Закругляемся, что ли?

Идут, обнявшись, вдоль Чистых прудов, по бульвару, друг дружку поддерживают.

Маг был болен.

Он покоился на высоком ложе, синим ватным одеялом прикрылся. Ложе Мага возвышалось в некоем как бы алькове, в глубине здоровенной комнаты с дубовым старинным паркетом. Окно — огромное, мутное, годами не мытое — выходило во двор, который со всех сторон обступали дома-слоны, неуклюжие, серые, но все-таки жилые дома, дома, а не обезличенная жилплощадь: строили их добротнo, в начале столетия.

Маг был болен. Магу достаточно высокой степени посвящения, причем посвящения настоящего, посвящения, приближающего к созерцанию глубочайших глубин, ничего, конечно, не стоило стряхнуть с себя липкий грипп, головную же боль передать... Ах, да чему угодно: старой бронзовой лампе; больничной белой плевательнице, что стояла на резной ореховой тумбочке возле ложа; а то и самой этой тумбочке.

Но подобное было запрещено. Был запрет расточать свою силу. Было велено жить, как все, ибо вовсе не затем, чтобы сделать свою жизнь безболезненно сладостной, собирают маги драгоценную энергию, исходящую из темных глубин народного быта — из истошных воплей пьянчуги, которого колошат в милиции, из семейных скандалов, из отчаянных материнских молитв да и просто из перебранок в автобусе, в заунывных очередях за картошкой — и текущую к ним неочищенной, необработанной. А ГУЛАГ, бессмертные лагеря! Сколько тягучей, вязкой, тяжелой энергии исходило из них и исходит сейчас: Вологодчина, Коми АССР, Северный и Южный Урал, Красноярск. Бараки, бараки; и несть им числа; и матерщина там, и стоны, и вопли. И вместе с матом, из которого, по чьему-то не лишенному достоверности наблюдению, родилась Российская революция, вместе со стонами клубится вокруг бараков та же энергия, и собирают ее специально к тому предназначенные незаметные люди в капитанских, в майорских погонах — посвященные и связанные суровым обетом молчания. Они-то — те самые... Маги, в общем, они.

Маги собирают ПЭ, психическую энергию. По всему государству понатыканы маги. В их хилых, немощных или просто скучно анемичных телах, иногда чем-то покалеченных, искривленных горбом, изуродованных ампутациями, одноглазых, под воздействием им одним, да и то лишь немногим, известных энергий ПЭ накапливалась и исподволь очищалась. А потом наступал назначенный день. Маг о нем узнавал из короткого письмеца, из открытки; каждый раз новым почерком было написано что-то вроде: «Тети Маина приедет 15-го». Получивши открытку и прочно запомнив дату, сообщение полагалось сжечь. День приезда тети Маши, тети Зои или дяди Степана непременно совпадал с каким-нибудь праздником, но он не был — никогда, никогда он не был — воскресным. И за собранным приходил прищелец. Невидимый, прикинул он к изголовью уходящего в туман сновидений мага, погружал его в транс. Вампиризм? Это можно назвать и так: иерархия

вампиров, вымогающих, высасывающих заветную ПЭ сначала из доходяги-зека, потом из мага-майора, вобравшего в себя энергию аж целой бригады, отряда таких доходят, а на воле — из весьма представительного мага-доцента, профессора-мага, наподобие того, что лежит сейчас на высоком ложе, синим ватным одеялом прикрывшись.

Маг был болен, но Борю он ждал. Знал, что Боря придет — для первого, предварительного разговора, хотя первый разговор, по наблюдению Мага в общем-то никогда ничего не решал: отношения между людьми завязывались и укреплялись при втором разговоре. Воспаленно Маг смотрел на часы у стены.

«Центр Москвы пустел, разгружались квартиры. Маг обитал в семикомнатной; когда-то копошились там аж четыре семьи. На правах отдельной семьи жил и Маг: кандидат философских наук, доцент кафедры эстетики народов СССР... год рождения... русский... список научных работ прилагается... Было у Мага две комнаты, обе окнами во двор, одна с альковом, огромная, другая — бывшая комната для прислуги, узенькая: пенал. Он жил здесь давно. Жил с детства, прожил войну, а сколько ему еще суждено прожить, кто же знает?

Была молодость — здесь же, в доме-слоне на Тверской. Были сны, да нет, не сны, а видения были: плыли радуги, двоились и множились багровые, алые, золотистые пятна; приходили на смену им пятна зеленые, синие: все темнело, погружалось в густую чернь. Посещали Мага какие-то люди в зеленых одеждах, склонялись, нашептывая, и в конце концов сумели открыть ему что-то. Что открыть — не говорили они; но Маг, в ту пору всего лишь бравурно настроенный вузовец, и не спрашивал: ему «было открыто», а уж этим сказано все. По подсказке людей в зеленом на дубовом паркете чертил он круги, разбивал их на секторы; мел приносил из УМЭ. Мага убеждали, нашептывая, что освободительной революции нужны сборщики потаенной силы, энергии: если ее не собрать, она источится в пространство или, хуже того, достанется мракобесам-попам. Его мобилизовывали на тайную службу, взамен пообещав ему дар прозрения людских помыслов; но тут, кажется, его вульгарно надули: ничего уж такого особенного Маг прозревать не умел, попадал он нередко впросак, хотя кое-чему по части оккультных умений его все-таки подучили.

Маг был болен; но когда часы-солдат, прохрипев, пробили четыре, Маг привстал: сейчас придет Боря.

И Боря пришел...

К этой площади, как и ко всякой площади, сходятся улицы; и улицы, ведущие к этой площади, по старинке, по-московски изогнуты, прямо-таки изломаны. Двухэтажные дома чередуются с пузатыми домами постройки начала XX века, а кое-где уже выклинился и непобедимый модерн. «Я,— кричит модерн,— тут как тут! Знай наших!» Стекло да бетон. Но не с современными зданиями связал я отныне жизнь, а с неказистым домиком о трех этажах. На первом его этаже помещается магазин: четыре широких витрины, а поверх них синие буквы: «Мясо», «Рыба», «Овощи», «Фрукты».

Однако ни овощей, ни рыбы, ни тем более мяса и фруктов в магазине не продают, потому что магазин закрыт на ремонт и витрины его густо замазаны окаменевшим мелом. Изнутри кто-то когда-то для вящей убедительности вывел: «Ремонт». Идешь, с улицы читается: «Тномер». Между тем никакого ремонта... нет. И магазина нет, а есть так называемый СМО, то есть специализированный муляжный объект, проще говоря, туфта, липа.

Сначала вы входите в узкую щель, угрюмо отделяющую аппетитный магазин от соседнего дома, семиэтажного. Щель узкая, вдвоем не протиснуться, да и тому, кто потолще, или, деликатно говоря, поплотнее, нырять в нее лучше боком. Щель темна даже в светлый солнечный день, пахнет в ней плесенью, сыровато; дно щели усыпано щебенкой, осколками кирпича. Вдобавок она заворачивает — раз, другой, третий раз; и первый поворот совсем близко от улицы, так что с улицы щель даже кажется просто нишей. Я спрашивал, не удивляются ли прохожие: шел человек перед ними и вдруг юркнул в щель, вдавился в нее, исчез! Не бывало ли так, что юркнуть в щель пытался и кто-нибудь посторонний? Мне в ответ улыбались: «Не вы один спрашиваете! Напрасно волнуетесь: за долгие годы ни разу, понимаете ли, ни разу не было зафиксировано проникновения посторонних лиц в предобъектную зону!»

Щель ведет налево, потом направо, и вы — в небольшом дворе. Милый московский дворик, летом цветет акация, зимой все в пушистом снегу. Немного странно, что во дворик выходит только одно, наполовину забитое досками окно тыльной стороны магазина. Но есть и какая-то дверь, на ней бурой масляной

краской написано: «Вход». Криво прибитую ручку надо потянуть на себя, дверь открывается, и тут вас встретит баба с красной повязкой на рукаве.

В эту дверь мне положено было входить по три раза в неделю. Я заметил, что бабы меняются: есть рябая, в оранжевой нейлоновой робе, как бы в панцире, какие стали в последнее время выдавать дорожным рабочим и дворникам; есть старушка с медалью «За трудовую доблесть», и еще какие-то есть. Бабы разные, в общем, и в то же время вроде бы это какая-то одна неизменная баба: мы запоминаем не человека, а функцию, функцию блюдушей и куда-то вас не пускающей бабы, провозвестницы будущей феминократии — того времени, когда каждая кухарка будет управлять государством. Возле бабы надо замешкаться, чтобы дать ей возможность сказать: «Предъявите!» Если же вы сами, первым протяните бабе удостоверение ГУОХПАМОНА, вы лишите ее священного права: проявить инициативу, поставить вас в положение в чем-то подозреваемого. Тогда ей придется взять ваш документ, вертеть его так и сяк. А что дальше? Лучше замешкайтесь, и пусть баба буркнет вам: «Предъявите!» Тут уж можно не спеша, почтительно, бережно достать документ, показать его бабе. «Проходите!» — скажет вам баба, усмотрев, что на вашем удостоверении есть особый, секретный штамп. Вы откроете еще одну дверь, а здесь сразу начинается лестница. Ступени у лестницы стерты, но лестница ярко освещена, прямо, я сказал бы, озарена желтым, с золотистым отливом светом. Стены — кафель. Спускайтесь, смелее спускайтесь: лестница опять-таки узкая, но тут веет какой-то надежностью и добротностью. Лестница делает виток за витком. Стоп: площадка.

На площадке... Тут уже не баба с красной повязкой на рукаве: баба-то поставлена на всякий пожарный случай — вдруг, скажем, все-таки просочится во дворик любознательный зевака-прохожий. И называется баба, как впоследствии мне сказали, боец фильтрующей охраны, ФОХ. А на площадке стоит кто-нибудь посерьезнее: то милиционер, то общевойсковой старшина, а то и человек в сером пиджачном костюме. И опять-таки каждый раз кто-нибудь новый стоит, никогда не знаешь, кто будет стоять сегодня. Перед стоящим столик, над столиком надпись, табло: «Дежурный». Ниже: «Предъявите, пожалуйста, документ!» Одна надпись светится постоянно, другая вспыхивает, когда вы подходите к столику. Говорить ничего не надо. Не надо знать, какие лучи просвечивают в это время ваше удостоверение, но, если все в нем правильно, табло удовлетворенно мигает и гаснет. Коридор, резко наклонный: снова и снова вниз. Стены отделаны дубовой панелью, мягкий ворс ковровой дорожки. Идете долго, как, бывает, приходится идти по переходам в метро. И опять площадка. И снова табло, но теперь ярко-красного цвета, а буквы на нем чернеют: «Предъявите, пожалуйста, документ!» Снова столик, но на этот раз у столика люди в форме специальной охраны: фуражки с синим кавалерийским околышем, синие просветы погон. Двое, а то и трое: лейтенант, старшина или какой-нибудь прапорщик. Лейтенант обычно красавец, немного похожий на врубелевского Демона, глаза огромные, обведенные синими кругами, дремуче печальные; хрупкая рука с длинными пальцами, на пальцах перстни. Старшина же или прапорщик — по контрасту — приземистый, дюжий. Крепыш. Возле них иной раз толчется солдат. Все молчат. Идя по коридору, вы уже просвечены незримым рентгеном, вас обшарили металлоискателями. Авторучка, перочинный ножик, старенький серебряный портсигар, все это сфотографировано. «Прошу получить жетон», — говорит лейтенант.

Получив жетон, вы шагаете дальше. Коридор. За поворотом — стальная дверь. Сбоку вспыхивает табло: «Опустите жетон!» И мигающая стрелка показывает, куда жетон опустить. Опускаете. Дверь открывается. Сразу же за ней — эскалатор: как только дверь открывается, эскалатор приходит в движение. Он увозит вас вниз, очень-очень глубоко вниз. Как только вы сходите с него, он останавливается. Теперь еще одна дверь, без затей. Дверь как дверь, странно только, что на ней повторяется надпись, висящая над магазином-подделкой: «Мясо», «Рыба», «Овощи», «Фрукты». Чуть ниже: «Специальное учебное заведение». Еще ниже: «Категория 111-Д».

Вы толкаете дверь и слышите, как за спиной у вас замурлыкал самовключающийся эскалатор: ага, значит, еще кто-то, так же, как вы, пришел на занятия и поспешает за вами следом.

Интересно, кто это?

— Начинаем, товарищи, начинаем! — говорит человек в сером костюме. — Начинаем, звоночек был!

Сходства со школой никто не скрывает, и это, пожалуй, разумней всего. Тактично: школа, она школа и есть. Расписание занятий, тетрадки, учебники. А называемся все мы пристойно, только немного таинственно: УГОН, учебная

группа особого назначения. Парты? Нет их; чего нет, того нет: комфортабельный круглый стол, и накрыт он почему-то коричневатого тона плюшевой скатертью. Выдали нам и по стопке учебников. На каждом надпись: «Строго секретно», — а раз так, то про учебники я распространяться не стану. И тетрадки выдали, но на обложках тетрадок: «Государственная тайна. За пределы уч. заведения не выносить».

— Начинаем, товарищи!

Я здесь, думаю, самый старший. Седеющий, лысеющий, одутловатый, очкастый. На кой ляд, казалось бы, я понадобился в этом подвале, на все еще не до конца мне понятной работе, за которую мне якобы станут щедро платить? Но, когда меня осматривали люди в белых халатах, называвшие себя медицинской комиссией, они переглядывались друг с другом, многозначительно кивали и бормотали загадочное: «Да, аккумуляция просто-таки у-ни-каль-на-я... процентов по шкале Беккенбауэра... А у вас, Русико Мамиевна?» И красивая грузинка с марлевой повязкой, закрывавшей ей рот, сверлила меня черными романсовыми глазами: «У меня еще выше... Дорогой, с такими процентами не лекции читать надо, не студентам двойки ставить, а на Казбеке за облаками стоять! Да у вас же божественные проценты!» Понимал я довольно мало, да и не хотел я ничего понимать. На работу, в смысл и в условия которой я, как говорят теперешние студенты, не врубился, шел я по внутреннему капризу какому-то, из упрямства; шел наугад, шел потому, что мне надо было чувствовать себя защищенным от каких-то вызывающих душевную боль и досаду вмешательств в мою и без того неуютную жизнь. Те, кто лез в нее, распоясались уже совершенно, дошло до того, что шарили у меня в квартире, рылись в письмах и в рукописях, что-то пытались выведать. Что им надо? Не исключаю: мне прочили некий вариант карьеры доцента-мага. Маг со мной когда-то откровенно заигрывал. Воняви явно жаждал увидеть меня в составе своей ватаги, и я думаю, что в виде гостинца было мне приготовлено воплощение уже по меньшей мере в светлейшего князя Потемкина. Несомненно, взгляд на меня положили и какие-то более серьезные чернокожики. Но я был почему-то уверен, что сам факт моей причастности к КГБ защитит меня от дурацкой слежки; и Владимир Петрович давал мне понять: да, возможно, и защитит.

И вообще бесполезно мне было сделать попытку на свой страх и риск, в одиночку внедриться в структуру, по сравнению с которой, как это давно известно, и опричнина, и святейшая инквизиция видятся детской забавой. Проклинать ее втихари, в то же время нахраписто пользоваться теми благами, которые предоставлялись обывателю исключительно с ее дозволения? Шарахаться от нее, уверяя себя в непричастности к ужасам, при которых непричастных быть не могло? Служить ей из леденящего душу страха? Ни то, ни другое, ни третье. Я искал своего пути: ступить за порог ее. Увидеть ее изнутри, и притом увидеть глазами любопытствующего историографа моего обреченного времени.

— Итак, мы начина-а-а-аем! Меня зовут Леонард Илларионович, — отрекомендовался наш шеф. — Фамилия моя, допустим, Леонов, хотя, как нетрудно догадаться, Леонов я только для вас, поелику группа наша будет группой на букву «эль». Была бы группа на букву «эм», я был бы Михайловым, на «эс» — Сергеевым. В работе нашей фамилии менять приходится так частенько, что настоящую свою фамилию нам, профессионалам, лучше и вовсе забыть. Что касается вас, кооптированных, то здесь во время занятий и вообще друг для друга вы будете тоже на «эль», об этом мы говорили в предварительных наших беседах. Фамилия у каждого будет на «эль», причем иногда с огорчительной для вас эмоциональной окраской. Имя тоже на «эль», а отчество произвольно, хотя и с обязательным присутствием в нем буквы «эль». Итак, делаю перекличку. Я фамилию вашу новую называю, а вы уж, будьте добры, отвечайте мне, называйте свое имя-отчество.

Леонов (Михайлов, Сергеев) отодвинулся от стола, обернулся, открыл маленький сейф, вынул список, посмотрел на него и мягко позвал:

— Ладнова.

— Я, Леоanela Владимировна, — как-то слишком уж спокойно отозвалась круглолицая женщина.

Тогда шеф рубанул отрывисто:

— Лапоть.

— Я, Леонид Валентинович, — отозвался коротко стриженный.

— Лаприндашвили?

— Я, — сказал сорокалетний, с лицом, обрамленным бородкой. — Только имени у меня еще нет.

— Имени? Знаю, что нет. Имя для вас уже запросили, ЭВМ подбирает, но

загружены у нас ЭВМ, придется денек-другой подождать, имя вам сообщат дополнительно, в рабочем порядке. Ласкавый?

— Я Ласкавый, Леонид Юлианович.

— Лианозян?

— Лиана Леоновна я. — Это армяночка полногрудая с усиками, с зовущими глазами навывкате.

— Лимонова?

— Я, а зовут меня у вас странно как-то. Луна. Луна Владовна.

— Ничего странного, ЭВМ рассчитала: на ваш день рождения историческое событие приходится, ракета Луны достигла. Наша ракета советская. В честь этого вам и имя подобрано. Ловчев?

— Ловчев Леопольд Леопольдович. — Это тоже бородатый, но борода у него размашистая, славянская, русая.

Тут Леонов назвал и меня, и я вскинулся, отозвался на непривычную для меня фамилию, присоединил к ней причудливое, старомодное имя и отчество. Он взглянул на меня поверх списка, улубиулся глазами — по-человечески участливо и сочувственно. Позже я догадался: ЭВМ он козырял, по-блатному сказать, для понту; блефовал; никакой ЭВМ в данном случае и поблизости не было, имена и фамилии нам он выдумывал сам, не особенно напрягая воображение. Для меня, однако же, постарался, выдал нечто уж хотя бы пристойное.

Вновь Леонов уткнулся в список:

— Любимова?

— Я, Лада Юльевна.

Симпатичная она, Лада Юльевна: рядом со мной сидит, руки чинно на краешек стола положила, а пальцы у нее какие-то сочные, вкусные. Пианистка, что ли?

— Лютикова, — говорит между тем наш шеф.

— Лилия Алексеевна, я.

— Люциферова?

Ничему не удивляться просили нас всех, тем не менее все нервически вздрагивают, даже, кажется, сама Люциферова.

— Лю-ци-фе-ро-ва? — говорит она удивленно.

— Да, Люциферова. Люциферова, именно так. — Шеф упрямо, как пишут порою, взбился; смотрит он на девушку исподлобья.

— Люциферова — я. А зовут меня Любовью. Я Любовь Алексеевна.

— Гм, да, — вздыхает наш шеф, успокоившись. — Дисциплина дисциплиной, конечно, но по-человечески я вас понимаю. Не лучший вариант, нет. Но ЭВМ! Она знает, как надо. Кто же у нас остался? Кстати, должен вам сообщить, что еще одна есть, но она на ближайшие занятия не может прийти, присоединится попозже. А так — кто же? Ляжкин и Ляжкина, да?

— Лев Александрович, — отрекомендовался тип, чудом сохранивший какую-то дворянскую церемонность; тип, кажется, моложе меня, но ненамного: с проседью тип, седеющие усики, очки без оправы. Да, церемонный тип, а отчество он произнес, чарующе прокартавив: мол, Александрович.

— Ляжкина?

— Я, — отвечает девочка (девочка да и только!), сидящая напротив меня. Я вижу, как по личику ее расплывается боль обиды: пухнет носик, ясные голубые глаза увлажняются. — Лидия Поликарповна.

— Что, недовольны?

— Нет, я не недовольна... Я просто... Вы же знаете, настоящая фамилия у меня красивая очень... Аристократическая... Я ее и прошу мне оставить, я... Или уж другую фамилию дайте...

По-волчьи суживаются глаза сидящего за столом, перстом указывает на список.

— Ляж-ки-на, — раздельно, четко, с издевкою произносит он. — Ляжкина, повтори-те вашу фамилию! Быстро! Громче! Четче!

— Ляж... ки...

— Довольно! Останетесь для индивидуальной беседы, после занятий с вами поговорят. Фамилию вашу выучить вам придется, и повторять ее вы будете без запинки.

Мы молчим, потупившись или, напротив, разглядывая потолок.

Занятие, проводимое под закрытым на ремонт магазином впервые для нас, Леонард Илларионович Леонов назвал организационно-пропедевтическим.

Сначала Леонов виновато развел руками, как бы прося извинения за баналь-

ность, и поведал нам о том, что в мире в настоящее время идет непримиримая схватка двух различных систем, что разговоры о детанте и о разрядке не должны успокаивать нас, а тем более убаюкивать. Потом он понизил голос и вдруг выдал нам, что понятие «пролетариат» во второй половине двадцатого века нуждается в пересмотре, уж во всяком случае, в уточнении. «Я в различных странах бываю, приходится, знаете ли. На птичьих правах, конечно: турист, торговая делегация... Рыболовный флот помогает. Проникаем, присматриваемся, а бывает — внедряемся. И что видим? Швеция, скажем. Да какой там пролетариат! Там у рабочего, — тут Леонов понизив голос и вовсе до шепота, — у рабочего там имеется собственный дом в пригородной зоне. Машина. В отпуск? Да он в отпуск туда ездит, куда нам с вами дорога и вовсе заказана, на Канарские острова, на Майорку... Свободно едет! А у нас как-то все по старинке, в одну точку бьют, о пролетариате толкуют...»

В речуге Леонова просвечивал несомненный подтекст; было ясно, что, угощая нас особою долей либерализма, нас во что-то посвящают. Во что?

Словно угадав наши мысли, пастырь сам себе задал вопрос: «А к чему я веду? — сделал паузу, помолчал. — Стереотипы! Да, товарищи, сте-ре-о-ти-пы нас пока выручают, на них мы и держимся. А стереотипчики ста-а-аренькие у нас, что станки на заводах, что стереотипчики в идеологических, значит, боях, обветшали. Шутка ли, мы каких-то стереотипов с тридцатых годов не меняли. Да, с трид-ца-тых, товарищи! Кризис все еще нас выручает, да! Какой, спросите? Да такой, что полвека назад тому уже был. Тут художники наши хорошо поработали, графики: безработный, понимаете ли, бродит по улицам и несет на груди плакат, что согласен на любую работу... И трупобы тоже... Старики умирают в неоплаченных помещениях... Забастовки шахтеров, докеров, да... Изображения, понимаете ли, художественные, они что? Они образ творят, создают. Образ капитализма. Но приелось уже, наскучило. Уже кое-где не срабатывает, есть такие сигналы. Скоро, может быть, психосоциологические стереотипы надо будет ра-ди-каль-но менять, того более, я вам прямо скажу, кой-чему у капитализма и поучиться придется, а такие процессы протекают болезненно. Но посмотрим, посмотрим».

Пестун наш говорил неторопливо, иногда немного взволнованно, между тем, похоже, вел к закружению:

— Сегодня занятие у нас организационное было, ознакомительное. Познакомили вас друг с другом. Люди вы разные, но объединяет вас всех высочайший уровень способности аккумулировать психическую энергию. Вот и будете вы... Пчелы как бы будете вы, понятно? Официально сказать, агенты-коллекторы. Или так: стилизаторы монументов. Имитаторы их, а кто-то придумал: «Лабухи». Сбирать вы будете ПЭ, накапливать в себе и вносить ее в общий наш улей. Такой улей имеется, да. Где? И сам я не знаю, а возможно, и руководство не информировано. Но есть психохранилище, спецпсихохра... Всесоюзное хранилище, общее. А о чем я вас попрошу? У вас псевдонимы имеются. Встречаться друг с другом помимо занятий вы можете, это даже рекомендуется. Однако же имя и фамилия ваши паспортные — полная тайна. И удостоверения ваши храните пуще зеницы ока, ясно вам?

— Ляжкина Лидия Поликарповна, вы, как я уже говорил, останетесь. Остальных товарищей благодарю и не смею задерживать.

Расходиться рекомендовано по одному. Вышел я, по эскалатору поднялся, по узенькой лестнице.

Двор квадратный. Озябшие голые кусты: не сирень ли? Или жасмин?

В щель протиснулся, выскользнул на улицу милую.

Снег валил, и белыми призраками — озабоченные прохожие.

Я люблю свой УМЭ, но он как-то отодвинулся в моем смущенном сознании на второй да на третий планы, а на первом плане — УГОН.

Я чуть было не проворонил незаметную щель, отделяющую магазин «Мясо — рыба...» от соседствующего с ним дома, но вовремя спохватился, шмыгнул туда мышкой, а уж дальше все пошло гладко: надпись «вход» на двери, там — старушка с медалью, дальше — лестница, коридор, эскалатор. Все мои товарищи по... Я чуть было не сказал: по несчастью... Все мои товарищи по новому для меня труду, смысл и формы которого для меня наконец прояснились вполне, мне понравились, и меня к ним влечет; приходя на занятия, мне приятно встречаться с каждым из них.

Далеко наверху, надо думать, утомленно шумит Москва, но ее мы не слышим. Зато слышно, как где-то высоко-высоко над нами приглушенно гремят поезда метро. А у нас и уютно, и благолепно: спрятались, никому не мешаем.

Наша группа — учгруппа особаза; не приходится и помыслить о том, чтобы на халтурку сдать здесь какой-либо экзамен, пропустить занятие — сачкануть.

Понимаем: на дело мы подрядились суровое. И все же и забавно, и любопытно, тем более что дамская часть группы у нас — все как на подбор прехорошенькие.

Собрались мы в холле, что перед классной комнатой; друг к дружке присматриваемся. Только Лапоть к стенке прислонился, прижался спиной, «Крокодил» чрезвычайно серьезно читает.

— Кариатиды! — зовет неведомо откуда возникший наш пастырь Леонов. — Кариатидочки, милые! Начинаем, попрошу не задерживаться.

Ладнова, Лианозян, Лимонова, Любимова, Лютикова, Люциферова. Они столпились у телевизора. Экран у него — почти во всю стену, а на экране — видеозапись, монтаж: в купях ослепительно яркой зелени — памятники. Кажется, Самарканд: бронзовые узбеки в чалмах; длинные среднеазиатские дудки какие-то, трубы вроде бы. Изваяний целая группа. Дамы смотрят то, что для нас приготовлено. Все ли здесь собрались? Да, все; только нет из них самой-самой молоденькой — девочки, Ляжкиной.

— Собираемся, кариатидочки! Собираемся, выстраиваемся в цепочку и в просмотровый зал ша-а-агом марш! Я дорогу вам покажу, покажу...

Люциферова нервно затягивается сигаретой, спешит докурить.

А Леонов пританцовывает около стайки дам, в руках у него появляется узенькая черная дощечка, он нажимает на какую-то кнопку. Самаркандские памятники исчезли, на экране темно. Люциферова втыкает окурочек в урну, дамы готовы выстроиться так, как им было велено, — гуськом, в затылок друг другу, и цепочкой потянуться за пастырем: куда он, туда и они.

— Минуточку! — вкрадчиво говорит наш пастырь и нажимает клавиши на черной дощечке. Экран вспыхивает, а на экране — знакомое личико: девочка да и только! Та, недавняя, позавчерашняя, если точнее сказать: все просила оставить ей аристократическую фамилию, а ее превратили в Ляжину. Теперь личико ее то, да не то: окаменело, глаза запали, выражение в них — отчаянное.

— Всем смотреть! — командует бравый Леонов.

Смотрим. Девочка шевелит губами — по-детски пухлыми. Сейчас сделались они как бы резиновыми. Она что-то говорит, но звук еще не включен, не слышно. Зато видно, с какими усилиями дается девочке речь.

— Всем слушать!

Леонов включает звук.

Девочка медленно-медленно произносит: «Я Ляжнина... Я Ляжнина... Я Лидия Поликарповна Ляжнина... Я Ляжнина...» Она запинаясь. Она вроде бы даже пытается сопротивляться чему-то, скрытому за рамками кадра, но зато открытому ей. «Что-то» явно сильнее ее. И ей страшно. Ее подгоняют, и она, пытаясь заискивающе улыбнуться, частит: «Я Ляжнина... Я Ляжнина... Ляжнина я... Ляжниналяжниналяжнина...»

— Так-то, дорогие мои, — мурлычет пастырь. — Как видите, все в ажуре. В ажуре, Ляжнина?

Мы оборачиваемся. Ляжнина стоит в дверях, щеки ее покраснелись.

И по оговорке, по вываленному из горла «пришля», мы догадываемся, как тяжело было экранной Ляжминой позавчера, когда она осталась после занятий. С ней, видать, поговорили как-то особенно.

— Довольно, — улыбается пастырь, — мир и мир! И айда на занятия.

Мы сложенной толпой шествуем из холла в просмотровый зал. А вослед нам все еще доносится отчаянно бравурное и надрывное: «Я Ляжнина, Ляжнина, Ляжнина...»

В декабре, 21-го, Гамлет Алиханович с утра позвонил в комитет ВЛКСМ:

— Леша, праздник бы какой-нибудь отпраздновать нам! Понимаешь, чтоб вместе, а? Все кафедры собрать, привлечь иностранных учащихся. Танцы, что ли. Костюмированный вечер...

— Гениально! Только надо бы после сессии уж, а там и каникулы, все разъедутся, ищи их свищи.

— Леша, а что нам сессия? Может быть, я крамолу скажу какую-то, только... «Пир во время чумы», и такое у Пушкина есть.

— Вас понял!

И весьма мрачным утром 21 декабря Гамлет Алиханович с Лешей принялись фантазировать. Фантазировать на тему пира во время чумы.

Телефон в парткоме вечно ломался, отказал он и сразу же после переговоров с райкомом. Гамлет оборотился, постучал волосатым кулаком в стену: бух-бух. Стена ответила тоненьким стуком: тук-тук. Через минуту в дверях появилась безотказная председатель профкома Голья Кузьминична. Идею пира во время чумы изложили и ей. Леша сбежал в Лужаб, проскочил мимо Нади, что-то быстро,

захлебываясь, поведал почитаемой им Вере Францевне. Та внимательно выслушала, позвала всех к себе. Леша мигом взлетел обратно в партокм, схватил за руку Гамлета Алихановича, за другую — Галину Кузьминичну:

— Быстро, быстро в Лункаб!

Не прошло и часа, как УМЭ толковал о том, что 13 января имеет быть Вечер Общей Радости, ВОР: выступление ансамбля «УМЫ УМЭ», хор, танцы и лотерея — беспроигрышная. Разумеется, имеет быть и капустник.

И на фоне взвинченных разговоров о праздновании старого Нового года канонический, государственный Новый год в УМЭ встретили тихо и как-то невнятно. Со 2 января начались — проклятие Господне! — экзамены; запестрели на стенах таблицы: «Экран сессии». Сводки. Ведомости. И преувеличенно искаженные лица студентов.

Зато старый Новый год... О, его встречать готовились бурно!

А вослед нам: «Я Ляжкина, Ляжкина, Ляжкина...» Леонов захлопнул дверь, и надрывно бодрый голос видеозаписи смолк. Из приветливого холла перешли мы в ту аудиторию, где собирались позавчера: круглый стол, с потолка на шнуре свисает по-домашнему уютная лампа. Правда, стульев вокруг стола почему-то нет.

— Занятие сегодня будет внеаудиторное, — по-учительски строго сообщает Леонов. — Здесь прошу оставить сумочки, бумажники, записные книжки, авторучки, у кого они есть. — Усмехается: — Здесь никто ничего не утащит у вас!

На стол складываем в кучу все причиндалы, образуется куча наподобие тех, что вываливают для игры в бирюльки. Я кладу свою записную книжку рядом с красивой крокодиловой сумочкой Лианы Лианозян, полногрудой армяночки. Она смотрит на меня умело подведенными очами, шепчет:

— Хотите, спрячу?

И жестом предлагает спрятать мою книжечку в сумку. Я кидаю ее туда, сам не знаю, для чего и зачем: и те лярвы, что следят за мной и пытаются сделать из меня им подвластную марионетку, и ребята из КГБ прочитали все мои записные книжки, как мне кажется, по нескольку раз. Лярвам, ясное дело, сюда не проникнуть; кагебэшники здесь читать мои записные книжки не станут. И все же... Она милая, эта Лианозян!

В нашей аудитории есть несколько престранных дверей, куда-то в неизвестность ведущих. Одна побольше; другая малышка, как в космических кораблях, и ее ручка похожа на штурвальное колесо.

Возле двери — Леонов. Приглашающий голос:

— Прощу, товарищи. По одному, спокойненько...

Мы в каком-то подземном ангаре: сводчатый потолок дугой, поперек потолка идут балки. Все немного похоже на станцию метро «Библиотека им. В. И. Ленина». Полумрак.

— Вы сейчас увидите мо-ну-мен-ты, — возглашает Леонов. — Их будет довольно много, и для начала ваша задача просто всмотреться в них. Ясно? — И уже чуть погромче, не нам, а кому-то невидимому, наш Леонов командует:

— Попрошу освещение!

Свет загорается сразу же. Льется он отовсюду, с верхних балок, с боков: прожекторы! Стены ангара заставлены изваяниями. Они стоят тесно, одно к одному: сплошь Владимир Ильич. Ильич? Тогда как, Ильичи? Стало быть, Лу-ки-чи? Впрочем, как их там ни зови, а сейчас интереснее всего, что их много. Всего больше белянких, с простертой рукой. Есть и серебристые, аляповато покрашенные алюминиевой краской под сталь. Есть огромные, дюжние. Есть и в натуральную величину, а среди них застенчиво, скромненько притаились и монументики-малыши.

А в рукаве у Леонова, за обшлагом — микрофон. Маленький, такой, как у пастовых мильтонов. Он подносит руку ко рту:

— Попрошу движение!

Памятники начинают двигаться. Ползти вдоль стены, наклоняясь, запрокидываясь навзничь, а потом почти падая вперед, как бы клюют носами. Один памятник пустился в причудливый танец, и он будто скачет взад и вперед: он неподвижен, но весь он в движении. Я довольно быстро разгадал нехитрую механику подземной кунсткамеры: подошвы каждого монумента намертво приклеены к пьедесталу; пьедестал может наклоняться, вибрировать; вместе с ним оживает изваяние.

— Попрошу остановочку!

Монументы враз останавливаются.

— Попрошу полумрак!

Гаснет свет. Ангар опустел, только смутные очертания монументов угадываются вдоль стен.

Очень много узнали мы в этот вечер. Ильичей-Лукичей перед нами продефи-

лировало 184 (а нам-то казалось, что толпа их была просто-таки многотысячной!). Из них больше половины — или «большая половина», как выразился Леонов, — живых. Имитаторов, лабухов.

— Даю следующее задание. — Леонов серьезен. — Подойти к указанной мною группе, поглядеть минутку-другую, а затем доказательно разъяснить, где работает ваш старший товарищ, а где образное воплощение основателя нашего государства.

В среднем каждому из нас досталось по 13—14 штук Лукичей, а двоим даже больше. По команде Леонова вспыхивал наверху прожектор, высвечивал группу памятников. Подходили к ним, всматривались. Лапоть даже и понюхать попробовал памятник: подойдя к своим Лукичам, втянул носом воздух.

— Молодец, Лапоть, — сверкнул улыбкой Леонов. — Проба на дух. Обычно додумываются до этого в середине учебы, а вы с первого раза. И как результаты?

— Не унюхаешь ничего, — ворчал Лапоть сокрушенно, печально. — Но унюхаешь, хотя бронза, алебастр или мрамор не пахнут ничем, а от человека какой-никакой дух исходит.

Не дослушав, Леонов троекратно хлопнул в ладоши; и мы поняли, что это значило: мы должны собраться в кружок. Прожектор высвечивал небольшое пространство, в центре коего, устремивши незрячие очи в грядущее, возвышался сверкающий серебряной краской В. И. Ленин. Сей Ильич-Лукич был массивен: два человеческих роста, не меньше.

— Объясняю, — сказал Леонов. — Перед нами монумент класса А, разряда I, это гениальные вожди революции. Персонально кто? Маркс, Энгельс и Ленин Владимир Ильич. Его код А-1/3; можно просто А-3. А товарищ Фрунзе, положим? Тот уже разряда А-2. И Свердлов идет под А-2, и Воровский. Дальше — «тройка», как мы говорим: А-3. Современные полководцы, герои Великой Отечественной. Исторические деятели, те пойдут классом Б: Александр Васильевич Суворов, положим. Потом В: поэты, писатели, композиторы разные. И так, значит, и далее.

Леонов еще и еще раз растолковывал нам, что мы видим монумент класса А, разряда I, с персональным номером 3. Это Ле-нин. Был четвертый номер, он так и остался четвертым: кое-где сохранился в Грузии. Маркс — «Карлуша», «Фабрикант» — это Энгельс, «Лукич» — Ленин, а Сталина-то как прозвали? «Дядя Джо» он был, на англо-американский манер; в недрах органов государственной безопасности и среди кооптированных имитаторов-лабухов назвать его так было можно. Говорилось: «Лабать дядю Джо». Или просто: «Дядю лабать». И сходило. Более того, Сталину, конечно же, донесли о том, что в 33-м отделе непочтительно говорят о его монументах: дело в том, что начальник отдела активных акций, ОАКАКа, копал под тогдашнего нач.-33, ведавшего сбором ПЭ с монументов. Сталин напустился, однако ничего не сказал. Молчание его продолжалось несколько дней, пока не подоспела очередная годовщина Великой Октябрьской... Начала расправ и гонений ожидали тотчас же после праздников. Предполагалось, что вслед за нач.-33 в небытие отправятся три его заместителя, начальника курсов УГОН, десяток-другой имитаторов-«лабухов». Но утром 7 ноября Сталин, сонный после ночи, аскетически проведенной за письменным столом, в неустанных трудах, надевая стеганые ватные брюки, предусмотрительно повешенные у него в гардеробе в предвидении многочасового стояния на Мавзолее, неожиданно улыбнулся и бросил сквозь зубы: «Пайду лабать дядю Джо!» И посмотрел на начальника охраны. Этого было достаточно. В тот же праздничный вечер нач.-33 получил повышение в чине и орден Отечественной войны I степени.

— Теперь подведем итоги занятия. Различительная способность у вас, товарищи, — грустно вздохнул Леонов, — на первых порах ну-ле-ва-я, ни один из вас имитатора от монумента не смог отличить. Ни один! В каком-то разрезе это и хорошо получается: значит, гримеры наши отлично работают, постарались, сделали так, что отличить монумент от исполнителя возможно только на ощупь, путем касания, да и то не всегда. И по запаху тоже, тут товарищ Лапоть поступил, я вам прямо скажу, дальновидно, вам и с собаками придется дело иметь, бывает, узнают они в скульптурном изображении человека, гавкают, хотя мы дезодоранты все чаще используем. Но запах пока что — враг лабуха...

Леонов задумался, что-то пытался вспомнить. Не вспомнил; махнул рукою, словно от мрачных мыслей отмахиваясь, и продолжал:

— А что до выделения ПЭ, то вы были на высоте... Время настанет, мы с каждого из вас тысяч по пять, по шесть набираем за смену, и тогда ни крошечки ПЭ даром не пропадет, это я вам обещаю как коммунист и чекист!

Расходились мы из нашего подземелья по одному. Один за другим мы быстро поднимались по эскалатору, трусили к выходу. А у выхода старушка с медалью сидела в своем уголку и, кажется, благодушно подремывала.

Окончание следует

EXEGI MONUMENTUM

ЗАПИСКИ НЕИЗВЕСТНОГО ЛАБУХА

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Боря, Боря, что же запомнил ты из жизни Москвы конца XVIII столетия? Рассказал бы, а? Но мало запомнил Боря, а то, что запомнил, надлежит поскорее забыть: так повелел ему Маг — тот, что поконится в комнате с дубовым паркетом, возлежит под синим довольно замызганным одеялом, гриппом болеет. Забыть, из памяти выветрить, смыть повелел он Боре путешествие в XVIII век и меры кое-какие принял для того, чтобы Боря поскорее исполнил его повеление.

Приезжают клиенты на станцию — лезь под наспех вымытую машину: регулировка углов схождения и развала, регулировка ручного тормоза: «Борис Павлович, постарайтесь! Боренька, ты уж как следует!» Деньги теперь обесценились. Тьфу на них, на дурацкие эти бумажки! Золотишком разжиться бы, рыжиками...

И вчера, но только вчера держал Боря в руках настоящие деньги. Полотняный мешочек, торбочку с золотыми монетами. Он не думал, не знал, что золото такое тяжелое: оно руку оттягивает. И он высыпал золотые монеты на стол, целую кучу монет. И сказал: «Что ж, ваше благородие... Что ж, из полы в полу...» И смотрел на него человек в зеленом камзоле, а глаза у человека плясали, хихикали: он догадывался, догадывался!..

От Москвы XVIII столетия в памяти прежде всего: зеленый камзол и хихикающие глаза. И морозный снег, скрип полозьев.

От Москвы XVIII столетия в памяти остался собачий лай, потому что в эту пору Москва, по мнению Бори, была просто-таки оккупирована собаками; они лаяли в подворотнях, из-за каких-то сараев, из-за заборов. Они праздно бродили по улицам и крутились даже возле церквей. И еще — петухи: когда Боря очнулся, горланили петухи, отбивали время возврата из ментального плана в телесный, время жизни в дурацком наряде, в оперном, в опереточном: шуба внакидку, черный с белой прошивкой камзол, панталоны, чулки, башмаки — это выдала ему со склада клуба имени С. М. Кирова кладовщица Галина Сергеевна, расторопная дамочка на кривых бутылочках-ножках, а на дамочку навел Борю артист Виталий Васильевич Жук, потому что Боря, что называется, помогал ему с «Жигулями»: присобачил под капот дополнительный сигнал с переливчатым голосом, «Симфония» называется. «Маскарад, — равнодушно поинтересовался актер, — маскарадик затеял?» — «Угу, маскарад... К одной телке награться хочу...»

Приходил Боря к Магу еще перед Новым годом. Разговор был предварительный, сбивчивый. Впрочем, обо всем договорились без обиняков: Маг Борису обеспечивает транспортиацию в XVIII век, платой будет год, а точнее, 393 дня жизни: их отдаст Боря Магу, вычтя их из того, что ему отпущено. Договор же об этом будет подписан непосредственно перед отправкой. А теперь пришел Боря к Магу с рюкзаком. В рюкзаке же — камзол, чулки, башмаки.

Маг выбрался из-под своего одеяла, в тренировочном спортивном костюме с буквой «Д», эмблемой спортивного общества «Динамо», прощлепал к часам; постоял перед ними, что-то сказал им — кажется по-французски — и, сказавши, ухо острое к ним повернул, прислушался как бы, что скажут часы в ответ. Удовлетворенно кивнул. Обернулся к гостю:

— Теперь так, договорчик. 393 дня... Хоть спереди поглядеть, хоть сзади... Три, девять, три... Томно, да?

— Не понял вас.

— Это в XVIII веке так говорили: томно, мол. Грустно, значит. Тревожно. Так томно тебе?

— Уж чего там; знаю, на что иду.

Маг начертил на бумажке знак экспроприации времени, перехода протяженности земной жизни от одного человека к другому: один человек отдает другому столько-то дней своей материальной жизни. Написал: «393». Крошечный старинный ножичек взял со стола, зажгет свечу — церковную, была уже приготовлена. Раскадил на пламени лезвие:

— Сблаговоли, человече!

Боря резко царапнул ножиком, глубоко воткнул ножик в подушечку пальца, но крови — ни капельки. Маг:

— От волнения это. Бывает! Говорил же я, томно тебе.

Часы пробили четыре часа: оказывается, теперь они шли... назад.

— До полуночи еще далеко. До полудня то есть. Полдень будет полуночью... Как, течет ли?

Кровь закапала. Боря приложил оцарапанный палец к бумажке, сделал оттиск, ниже криво вывел свою фамилию, букву «Б». Маг бумажку взял, посмотрел, спрятав в ящик стола, на ключ запер. На стол глянул: окровавленный нож.

— Нож! — взвизгнул. — Нож убери, дурило! Поди в кухню, вымой.

Когда Боря воротился в комнату, Маг стоял у окна. Не оборачиваясь, сказал:

— Пророчества! У того, у шарлатана, неужто не научили тебя? Все соткано из пророчеств, все!

— Вонави не шарлатан, — взлохматился Боря, возроптал с хрипотцой: — Вы же знаете, он просто другой ватаги. Другого профиля он. И не смейте ругать учителя!

— У-чи-тель! — по складам проскандировал Маг. — Гуру. Сновидцы затруханные, сидите там, грызетесь да один другого морочите. Страхом да лезтью он вас купил, старо-престаро. А как до дела дошло, так ко мне. Ну-ка, выпей, а потом садись в кресло, подреми, порасслабься. Да не думай, что капли какие-нибудь колдовские, зелье. Валерьянка простая. Хоть ты и исправный мужик, а нервешечки смазать нелишнее.

Боря хлебнул валерьянки, впрочем, кто ж его знает, что такое ему Маг накапал в градедовского образца граненый зеленый стаканчик: Вонави, а попросту Иванов, дорогой учитель, гуру, упреждал его, что нельзя доверять ни единому слову Мага. Ни единому жесту! В главном, впрочем, Маг не сфальшивит: транспортирует примехонько в XVIII столетие, к ночи выудит транспортированного оттуда и доставит обратно с добычей, с покупочкой.

Вонави, как выяснилось вскоре после его походов в горах, на Кавказе, оказался посвященным в оскорбительно низкой степени и таком отделении, секте, ватаге, которая не могла двигать смертных во времени так, как двигают мебель по комнате, чтобы не было в доме однообразия. Его областью было что-то другое, а что — он не знал. День за днем, год за годом начинал он догадываться, что он просто мальчишкой на побегушках у высших сил состоял, по-блатному сказать, был шестеркой. Время же было в ведении Мага, колдуна, выходит, почище, рангом выше значительно; и о нем Вонави неизменно говорил, непристойно ругаясь, извиваясь лицом от ненависти. Только — нечего делать! — он Борю, любимчика, к Магу послал. И пришлось идти.

А допрежь того Боре пришлось репетировать: язык века, стиль обхождения. Узнавать, какие деньги в обращении были, как совершалась покупка, как она потеперешнему говоря, оформлялась. Обзаводиться одеждой: обзавелся, только башмаки тесноватые, жмут.

Дремлет Маг, под синее одеяло нырнув.

Боря дремлет; уходил он в уголочек, за ширму, волоча за собою рюкзак. Скинул там нейлоновую куртку, брюки сложил аккуратно. Облачился в камзол, натянул чулки, ноги вколотил в башмаки. Из-за ширмы вышел — красавец.

Улыбнулся Маг:

— Великолепен, хорош! — Кресло Боре подвинул и бросил ему: — Дреми.

Боря в кресло уселся, только сбросил с ног башмаки: сладу нет, до чего же тесны.

Часы прохрипели, пробил три. Потом на полтона ниже полтретьего. Потом — два.

Дремлет Боря.

Дремлет Маг, вспоминает приходивших к нему. Вспоминает инспектора уголовного розыска; он инспектору когда-то давно, в удалые, веселые, жуткие

тридцатые годы, крепко помог: уколошили, убили соседку по дому, проломил ей череп; и он знал, он прозрел, что убийц этой самой соседки, безобидной, хорошей старушки, было двое и один из них был из себя чернявый, высокого роста, а другой по работе был как-то связан с металлом. «Брось, — сказал ему Маг, — брось ты мне тут баланду травить, иди и зови ко мне вашего главного». О чем разговаривал Маг с поспешно вызванным человеком в потертом бобриковом пальто, неизвестно; но убийц на следующий день задержали. Началось сотрудничество, над которым Маг иногда подхихикивал, каламбуя про МУР и УМЭ. И нынче ходят посланцы от генерала, от комиссара милиции; приезжают на черных «Волгах», из багажников извлекают картонные, перевязанные шпагатом коробки: годами слагавшийся способ за услуги расплачиваться с законопослушными гражданами тугой сырокопченой колбаской, сардинами, коньяком.

А сейчас дремлет Маг, — и брезжат пред ним видения, скользящие тени прошлого...

Дремлет Боря: сейчас... сейчас...

Но часы не дремлют, и час пробило: не пора ли?

И обулся Боря — Борис Палыч Гундосов, граф Сен-Жермен. В хромовые башмаки обулся, пряжки с тигровыми головами застегнул: готовность № 1.

Что запомнил Боря из XVIII столетия? Лай собачий... Хриплый крик петухов да снег.

Завертелся Боря в магическом круге, в диске каком-то: центробежная сила рвала, терзала его, из пределов круга хотела выбросить; но Маг крепко держал его за руку, и рука у Мага была тяжелой, обжигающе жаркой.

А потом Маг исчез. И — провал...

Туман...

Лют мороз был...

Боря помнит: брел вдоль каких-то насыпей, по крепкому льду переправился через реку...

От реки — подъем к Калужским воротам: навстречу, с горки, неслись на санках мальчишки...

Переливчато звонили колокола... А, Калужская застава, конечно!

А теперь направо, и тут уже близко. Помотрел на часы: незадача, а часы-то... Часы новенькие, японские, на батарейке — на черном фоне серебристо светятся цифирки: часов XVIII столетия не словчился достать, а как без часов? Точно в 8 вечера, в 20.00 условлено: явиться — с покупочкой! — к Сухарева; там костер гореть будет и будет ждать нищий с черной повязкой на левом глазу, в руке жезл вроде посоха, на конце жезла — золоченый треугольник вершиною вниз...

Донская улица: накатанный санный путь, Рождество, горят плошки, дорога к монастырю, колокольный звон басом...

Колокольный звон вдогонку, в спину от Калужских ворот, колокольный звон от монастыря, от церкви Ризположения, отовсюду, стало быть, звон, а в руках мешок с пятьюстами, да, с пятьюстами рублями, а в дурацких чулках на морозе хо-о-олодно, а плошки горят да горят, и по улице в розвальнях кто-то катит, а за розвальнями поспешает карета, ах, как жмут башмаки, и насморк проклятый, а вдруг это грипп, заразился от Мага-умельца, догоняет Боря на скрипучих полозьях карета, вороные кони запряжены. Боря еле-еле посторониться успел, пропустил и розвальни, и карету, и куда тут идти... куда же идти?..

Донская улица — ряд замерзших деревьев: стоят деревья, ноги поджав, озябли. Стволы деревьев белым покрашены, известью — тоже будто в чулках у них ноги. По инею — на деревьях-то иней, иней! — розоватые отблески от пылающих плошек, красиво. На деревьях вороны тучей. А куда тут идти, ку-да?

Слетел с дерева ворон — вороненок, вернее, молоденький, кажется, — деловито покружил над головой, будто всматривался. Покружил, покружил дружелюбно, любезно каркнул: «Кар-р-rrr!» Полетел вперед да и сел на какой-то обрубок, ждет. С Бори лихость как смыло, ковыляет в своих башмаках по снежному насту. Как до ворона доковылял, ворон снова взлетел, покружился над головой, пролетел вперед, сел на ветку, качается. «Кар-р-rrr!» — зовет. Боря высморкался в два пальца и дальше — за вороном. «Кар-р-rrr!» — и вновь взлетел ворон, покружился да сел на ворота, долбанул для видимости клювом снежок, будто кивнул: «Сюда!» «Да-а, — подумал слесарь шестого разряда Борис Гундосов, он же граф Сен-Жермен, — добросовестная работа... Как ни говори, а крепко это у них отлажено».

На воротах — кольцо. Кольцом надо по столбу постучать, побрякать. В воротах — калитка.

Отворяет Боре кто-то бородатый, в тулупе: черная борода, смоляные патлы свисают на лоб. Отворяет, поясню кланяется.

Боря — по какому-то закону зеркального отражения — чуть было и сам не склонился в неумелом поклоне, но тут его будто током дернуло, спохватился: бородатый-то вроде бы в дворниках здесь или в конюхах, в кучерах, в сторожах; и накладка получилась бы: барин в шубе, в камзоле конюху кланяется: де-мо-кратия! Да, но что говорить-то надо?

И тут ворон на воротах каркнул: нетерпеливо, призывно. И как только он каркнул, дверь отворилась со скрипом, и вырос в двери лакей. Лакей по всем правилам: лысый, высокий, а собой представительный, благообразный. Ливрея черная, штаны черные, чулки тоже черные и черные башмаки.

— Пожалуйте-с... В дом пожалуйте. Как прикажете доложить?

Так. Не робей, Борис Павлович! Шубу, не оборачиваясь, сбросить лакею: должен с полновесной почтительностью ее подхватить. Сбросил шубу, так и есть, подхватил лакей. Перчатки. Ага, и перчатки взял. Дурацкую шляпу. Так, теперь можно и обернуться:

— Доложи, что поручик Сытин по важнейшему делу.

Чудеса: одна дверь — за лакеем — закрылась, зато почти сразу отворилась другая, и появился в ней вроде бы... тот же лакей. Но теперь уже не лакей: лысины нет, есть парик; вместо черной ливреи что-то темно-зеленое, с благородным узором, тоже зеленым, но только светлее. Но из-под темно-зеленого — те же черные панталоны, чулки; так же ногу волочит, так же руками взмахивает, как-то странно хлопывая себя по бедрам. А главное: тот же облик, общий облик какой-то птичий.

— Честь имею, честь имею, ваше благородие, господин поручик, даже жду-с и полагаю, что мороз принудил вас припоздниться. О деле же вашем смею догадываться, но полагаю, что надо бы... подзаправиться-с...

Сделал паузу и опять повторил:

— Подзаправиться, да-с...

В комнате, что примыкала к прихожей, стоял премиленный столик, зеленый хлопотливо его обошел, оглядел, руками-крылами взмахнул, показывая гостю на кресло. А на столике — вазочки, блюдца, тарелочки.

Память, мученицу-память страгали рубанком, напильником. И запомнить, что ел и что пил, не смог слесарь-граф; но твердо запомнил он: лакей и хозяин ни разу не появились одновременно, вдвоем; один выходил, прихрамывая, другой почти в ту же минуту входил, и менялись они порою так часто, что, когда Боря поднял рюмку с каким-то изумрудно-зеленым напитком, ожидая, что хозяин, по обычаю, притронется к ней своей рюмкой, хозяйина напротив него уже не было, а напротив него вырос черный лакей, хохотнул исподлобья глазами, и Боря — не ставить же рюмку на стол! — был вынужден выпить напиток один, и тогда в голове его что-то запело, заиграла музыка, менуэт. И опять напротив него сидел гостеприимный хозяин и, подавшись корпусом к Боре, прошелестел, прошептал:

— Приведут-с. Сей же час приведут... их... Одеваются оне...

Сквозь музыку насторожился Боря:

— Это кого же «их»? За одной я пришел... семнадцать лет... на театре балеты... в тамбуре...

— В точности так, — пожевал губами зеленый. — В точности так изволили все запомнить. Однако же сказано было, что про-да-ет-ся одна, а всего-то их две-с. Две девки-то, сестрицы оне-с, близнецы.

Тут в пронизанном музыкой сознании Бори мелькнуло, что и шеф его, всемогущий гуру, говорил о двух девочках-близнецах, но на этом он, гуру, и изволил остановиться (проникался Боря церемонным стилем общения позапрошлого века). А какую ему надо выбрать, про то не было сказано; выбор, стало быть, предстоит совершить самому. «Что ж, и выберу», — мрачно подумал Боря, постепенно входивший в роль владельца крещеной собственности. И подумал весьма своевременно.

Распахнулась дверь слева от Бори — вошла девушка в сарафане каком-то огненном, алом; распахнулась дверь справа — появилась точно такая же девушка, но в оранжевом сарафане. Обе встали у притоки, обе разом, не поднимая глаз, поклонились.

— Извольте взглянуть-с, — сердито сказал зеленый. — Екатерина, Елизавета. Как же-с, сестры. Тут уж так, господин поручик, извольте выбрать; извольте-с, хотя, смею я полагать, оно, может, и затруднительно. А мне... — тут зеленый вроде бы искренне всхлипнул, достал огромный платок, слезу вытер, — мне что ж...

А девицы оне добротныя и хорошаго поведения. Катя, Лизонька, подойдите да попотчуйте его благородие, господина поручика, на дорожку вишневым, домашним.

И опять перед Борей бокал на хрупкой, тоненькой ножке, хрусталь несомненный; а в бокале густо-красный напиток.

А эти две поют, танцуют, и какие-то красиво расшитые тряпки взялись откуда-то, значит, демонстрируют мастерство, это они расшили...

— Девушки, — взбеленилась в Боре игривость, — во-первых, дайте уж хоть на ряшечки ваши взглянуть, поднимите ясные очи, — и Боря с трудом поднялся из кресел. И оранжевая (Лиза), и красная (Катя) дружно, будто спаренный агрегат какой-нибудь, подняли личики и взглянули на Борю синими брызгами глаз, — ох, глазички же... во-вторых, надо бы мне вас спросить, а уж вы скажите мне честно, — кажется, понял Боря, чего именно не хватает для полноты, без которой — какое же крепостное право? И, пытаясь показаться суровым, строгим, хотя вышло развязно, набравшись храбрости: — А вас на ко-нюш-не сек-ли? — сказал и икнул.

Обе глянули друг на друга вопрошающе и встревоженно. Как-то даже не поняли. Катя вспыхнула, покраснела, будто отблеск от сарафана сверкнул на личике. Лиза, та ничего, не смутилась. Была, видать, посмелее, сказала с достоинством:

— На конюшне-с? Нет-с, не секли. Мы хорошаго поведения, а секут, когда баловство...

— Мы хорошаго поведения, — поддержала сестричку Катя, — мы белье шить горазды, и на балете... Никогда ничего-с... А по балетной части нас к французам возили, на Поварскую, так там никогда-с не секут...

— Никогда-с, — передразнил ее Боря. И совсем несолидно икнул. И сверкнуло в башке обалделой — он понял, понял...

Кончатся у Васи каникулы. Жена моя — бывшая — уехала по архивным делам куда-то, в Семипалатинск, по-моему: что-то связанное с Достоевским, насколько я понял. Ее матушке Вася, кажется, надоел, да и лечится она то и дело. Стало быть, подфартило мне: взял я сыночка к себе, и живем мы с ним, поживаем, не тужим. Через день, а то даже и через два я отправляюсь в УМЭ принимать экзамены, и Вася, сонненький еще, пробормочет мне из постельки: «Счастливо тебе... принимать... пока...» Я отъеду, беспомощно побуксовавши по льду перед домом, выкачусь на посыпанную песочком большую улицу. А Вася будет домовничать: будет грустно смотреть мой старенький телевизор или перелистывать художественные альбомы.

А студенты будут жечь меня ненавидящими взглядами, нервно перебирая исписанные заметками листочки, по-солдатски старательно талдычить мне, что Белинский поначалу не критически воспринял идею Гегеля о разумности всего действительного, но потом образумился и стал на революционно-демократический путь, хотя революционером-демократом он все же еще не был.

Я выслушаю порцию рассуждений о Белинском и о Чернышевском, загляну на кафедру и услышу: с одной стороны, идет устроение, и надо нам держать ухо востро и не распускать языки, но, с другой стороны... «Только ти-ше, — приглушенно скажут мне, — ти-и-ше, но, кажется, здравый смысл берет верх, даже самого Баранова поприжали, выводят из политбюро...» Еще скажут что-нибудь о негласных особых правилах приема экзаменов у студентов из капиталистических стран: да, конечно, поблажек им делать не следует, но, с другой стороны... они же платят ва-лю-той, а валюта государству необходима.

И я еду домой, домой...

Так и живем мы с Васей: двое мужчин, с полуслова способных друг друга понять,

— Вы о чем же-с, — это барин вошел. — Звали-с? А я, смею доложить вам, не без умысла вас покидал-с, поелику знаю я, изволите вы поспешать, а затруднение в выборе вами, я полагаю, нечаянно. Однако же сказывал мне камердинер мой, что видеть меня вам желательно, и что выбор вы сделали. Какой же из красавиц моих оказали вы предпочтение-с?

— Ик, — икнул неожиданно Боря.

— Водичку рекомендую вам выпить, — строго барин сказал. Он менялся с каждым мгновением, становился он суше, тон его речи неуловимо, но внятно

давал понять Воре, что пора и кончать. — Катя, Лизонька, ну-ка, воды его благородию!

Обе тотчас же скользнули к столу: Катя из прозрачного — хрусталь, настоящий хрусталь! — графина бережно налила в стакан, Лиза стакан на подносике Кате передала, та подплыла к графу-слесарю, поклонилась русой головкой.

— Ик, — икнул Боря. Стакан захватил, выпил залпом, давась, стыдливо отвернувшись от девушки, и тем же жестом, которым отдавал перчатки пугающему камердинеру, не глядя, поставил стакан. И зазвенело стекло, а то даже хрусталь, вероятно, потому что кто их там знает, бар московских XVIII столетия, из чего у них питьевая посуда была сработана. Но факт тот, что: за-зве-не-ло стекло-хрусталь. Обернулся: осколки на лакированном паркете сверкают, а Катя...

Катя, правда, успела подставить поднос, но рука ее дрогнула, поднос-то и выскользнул. Да и — дззинь! — зазвенев, подносик брякнулся на паркет, только брызги посыпались. И поднос дорогой, и стакан. Глупо — ик! А барин в зеленом скривился:

— К счастью! Впрочем же, поднос... Да уж что там поднос, оплошала ты, Катя, и, можно сказать, подвела. Как же я теперь рекомендовать тебя могу в услужение?

Деликатно исчезла Катя, а зеленый барин — очень-очень настойчиво:

— Лизу, я полагаю, берете? — и еще по-французски что-то.

Шибко этого Боря боялся; заговорят по-французски. Галломаны несчастные. Рабовладельцы — непосильным трудом изнурили, обирали до нитки и на конюшние секли. И ударило в неприкаянную пьяную голову упрямство:

— Ка-тю! Еще у меня к вам вопрос... Это самое... ик, — икнул напоследок. — Бе, что, и вправду никогда не секли? На конюшние?

Удивленно вскинул брови зеленый. Потом усмехнулся. Его, видимо, осенило, хотя он и не мог сформулировать мысли: есть наборы аттракционов, в которых мы воспринимаем историю; и такие наборы должны быть комплектными, полными. Коль, к примеру, речь идет о татарском нашествии — значит, должны быть татары; и татарам надлежит гарцевать на мохнатых лошадаках в церквях, собирать с русских дань и жечь города, раскрыв предварительно стены бревенчатыми таранами; Иван Грозный — это опричники, без опричников он не полон так же, как не полон без убитого им сына, Ивана (см. живописное полотно выдающегося русского художника-реалиста И. Е. Репина). Есть Разин, тот все больше швыряет в волну княжну-персиянку; есть Петр I, он бороды режет и строит деревянные корабли, трубку курит опять же. Крепостное право — это когда секут. Худо, худо было работать на барщине, ковырять сохой землю; еще горше бабам барских щенков кормить грудью, но первое дело — чтобы кто-то кого-то сек, сек под вопли и стоны.

— Никогда-с не секли, — это барин зеленый сказал по-прежнему строго, но слегка виновато; так обычно говорят о чем-нибудь дорогостоящем, но неполном, не испытывавшем того, что отпущено человеку ли, вещи ли; даже об автомобиле, никогда не бывавшем в аварии, порой могут сказать с сожалением непонятным: «Нет, в аварии не бывал!» Тут, казалось бы, радоваться, но виноватость словно сама появляется в голосе.

— Уж не знаю-с, куда вы ее и кому соизволите определить в услужение, токмо слыхивал ваши словечки, обмолвились вы. И идет она в мир неведомый, и путь у девицы будет труднейший, я так полагаю, да-с. Уж не знаю, вам ведомо ли, что они с сестрицею с малолетства в Симбирской губернии произрастали, в селе Симбухово, у крестьянина Дрона Копейки; а потом уж тут оказались, в первопрестольной столице неоглядной империи нашей, но отнюдь, смею думать, не империи зла, — хихикнул. — А давайте-ка лучше о деле. Пятьсот рублей. За одежду особо: платьев даю ей, сарафанов дожину, душегрейку на белке. А всего набегает пятьсот с четвертушкой, без запроса, да и то потому лишь, что срочнейшая надобность у меня.

И опять — электрической искрой — неловкость:

— У меня с собой пятьсот только... Вот-с...

Не давши хозяину одуматься, нырнул в обширный карман своего камзола, извлек тяжелый мешочек: монеты, то, что получил от еврея взамен крестов и колец. Поскорее высыпал монеты на стол, засверкала куча, монеты одна к одной, новенькие, не подвел горбоносый мешала, не надул. Кучка золота...

А Яша Барабанов обидой томим: день, и час и другие подробности путешествия его друга в XVIII столетие от него почему-то скрыты. А уж он ли Боря не любит?

И пришел он на станцию техобслуживания...

— Боря на работе сегодня?

Один мимо пробежал коридорчиком, сиганул в обитую жестью дверь: «I цех». Пониже: «Посторонним вход воспрещен». Захлопнулась дверь перед носом. И нарисовался в конце коридора другой, тот посолоннее, кажется, — высоченный и в войлочной шляпе замызганной, из-под шляпы на плечи падают сальные патлы.

— Боря на работе сегодня?

Тот приостановился, поглядел свысока:

— Из первого, что ли? Из единички?

— По моторам он тут.

— А фамилия?

— Гундосов фамилия. Боря. Значит, Борис.

— Так бы ты и говорил, а то: Боря. Кому Боря, а кому Борис Павлович.

— Так на работе он?

— Да не помню я, много их тут. А вы посмотрите график, в диспетчерской есть, — куснул яблоко и яблоком показал на дверь оцинкованную: «Диспетчерская. Посторонним вход...» Дальше было замазано, и тот, с яблоком, вместе с Яшей предупредительно к серой двери подошел: открыл, приглашая.

На изрезанном столе в диспетчерской валялись колбасные шкурки, ошметки недокуренных сигарет и лежали журналы какие-то. На стене висел Маркс, а поодаль — репродукция с рисунка, изображающего Ленина на кремлевском субботнике: бревно тащит, вроде бы муравей соломинку волочит старательно. Было окошко, задвинутое изнутри серым фанерным щитом. Яша помнил, что снаружи над окошком есть надпись: «Диспетчер». Возле окошка был «График работы персонала СТОА на январь 198... г.». По горизонтали — фамилия, инициалы. По вертикали — числа, начинаясь, естественно, с 3-го: 3... 5... 18... и до самого последнего, 31-го. Квадратики на пересечении фамилий с числами были закрашены красным, желтым или зеленым; и внизу значилось, что зеленый — работа с 8 часов до 17, желтый — работа с 8 до 21, красный же — ПК, повышение квалификации. Против фамилии Гундосова Б. П. стояло несколько желтых квадратов, два зеленых и один только красный, причем на сегодня квадратов не было.

Молоденький, неожиданно вежливый слесаришка дожевал свое яблоко, огрызком ткнул в чистый квадратик:

«Видал? — И с «вы» перешел на «ты». — Не работает твой Гундосов! — И пошел, положивши огрызок в кучу колбасных объедков и вытирая руки о замасленные штаны; а шляпа на нем и вовсе была соломенная, украинский бриль — натурально, уже замызганный, и соломинки кое-где бахромою свисали.

Яша знал, что Боря не работает нынче, и сюда он притащился, влекомый тоскою неясной.

Тоской и любовью: Яша любит Боря безмерно, кроткой щенячьей любовью любит, пришедшей на смену лиловой ненависти, зависти и вражде. Яша Боре уступает первое место — по правую руку гуру. Яша Боря готов считать наместником Вонави, а себя отодвинуть, занять место по левую руку.

И влекомый все той же тоской неясной, сжигаемый ревностью, как в жестоких романах, разрывающей сердце, выбрался Яша из скучной диспетчерской в коридор СТОА, а оттуда на улицу, на промозглый неуютный мороз. Запахнул он старенькое пальтишко, потрусил к троллейбусной остановке.

Троллейбуса нет и нет, улица сплошь бурой жижей покрыта: это соль с песком рассыпана по городу, чтобы не скользили машины, не буксовали. Закуривает. Новый год вспоминает: недавно встречали, но учитель, гуру, к себе Яшу не пригласил, а без приглашения к нему ни-ни, не ходи на такие праздники.

А теперь еще один Новый год справлять будут, называется: старый. Старый Новый год, с тринадцатого января на четырнадцатое.

И готовятся люди еще и к этому Новому году: торты тащат, ленточками перевязанные коробки волокут в неимоверном количестве; мало у кого одна, а то коробки и по две связывают, по три.

Скособочились праздники, развелась их уйма, неуправляемая.

Лишь бы людям напиться, что ли? Или это форма протеста какая-то: у властей, мол, свои имеются праздники, а у нас свои...

пародируя какого-то собирательного дядька, аж пропел хриловато, гриппозно: — В бо-о-оженьку!»

Крест!

Да еще и хозяин-барин крестил Катю, и сестренка ее крестила. Надо было не давать, помешать любым способом. Прозевал, так уж теперь-то не дать деформировать икс-лучи!

Боря выпрыгнул, вывалился из саней, протянул своей спутнице руку:

Тыма. Собаки лают, гавкают на Сретенке; звон колокольный утих. Силуэт здоровенной башни навис над площадью, скрип шагов: ходит-бродит поблизости где-то народ крещеный.

Кузьма с козел слез. Подошел. На Борю не смотрит, а Кате: ручищи раззявил, обнял. Боря его оттолкнул и махнул ему: «Поезжай!» Сани скрипнули, взвизгнули, крутанулись на месте и исчезли во тьме.

— Теперь так, — распорядился новый владелец крещеной собственности, — давай руки. Руки, руки, говорю, протяни!

— Что это вы-с? — морозно, испуганно прошептала она. Руки же протянула доверчиво.

— А то! — неумело опутал капроновой веревкой широкую в кости руку, подвел к ней другую, перехлестнул, затянул.

— Что это вы-с? — обиженно.

Боря поднял корзинку Катину, все приданое ее, что ли. Пару раз по дну стукнул, снег стряхнул. К рукам девичьим свободным концом веревки приторочил плетеные ручки корзинки. Катя ойкнула: тяжелая корзинка вниз потянула руки, и ей, вероятно, резануло в кистях. А Боря подумал злобно: «Теперь-то не сможет-с!» Хохотнул. Посмотрел на часы: 19 — 48... 49... 19 — 52...

Последнее: крестик!

Р-р-рраз! — под подбородок ее, кулаком. Откинула голову; раздвинуть платок, растегнуть на ней шубку, кофту рвануть и — вот он. На цепочке. Цепочку теперь — на себя: золотая? Да сейчас все равно. Крест сверкнул. Потянул Боря цепь, не рвется она, а впилась она Кате в шею; та головкой будто кивнула. Потянул опять — не рвется, и все тут! Что делать? Догадался: к девушке прильнул, в цепочку — зубами, перегрыз (а от девушки пахнуло теплом и свежими яблоками — по-домашнему, мило). Выволок крестик. Размахнулся, наотмашь бросил крестик куда-то в темень. (Рано утром на следующий день торопящийся к месту работы бухгалтер Института имени Н. В. Склифосовского А. Я. Нуйкин, перебегая Колхозную площадь и лавируя в потоке машин, увидел под ногами золотой крест на обрывке цепочки; он не мог не нагнуться; он нагнулся, он схватил этот крестик, и тотчас же его долбанул грузовой автомобиль-самосвал с городским номером МКШ 25-25; А. Я. Нуйкин скончался через сорок минут, не придя в сознание; секретарь парткома института позвонил его жене, сразу сообщил ей всю правду; а крест, оформив надлежащим актом, передали в доход государства.) Посмотрел на Катю: девушка всхлипывает, из глаз текут крупные слезы, из угла ротика кровь и из носа тоже некрасиво течет. А руками пошевелить не может, крепко связана, и вниз руки тяжелой корзинкой оттянуты. Только шепчет:

— Господи, Господи!

Р-р-рраз по правой щеке. Р-р-рраз по левой!

— Молчать! Молчать, телка, кому говорю!

19 - 58... 19 - 59...

И вспыхнул поодаль костер.

— Бежим! Быстро! — Боря Катю тащит, волочит к костру. У костра же — оборванец в заплятанном зипуне, рыжебородый, глаз повязкой закрыт, в руках — какое-то древко, а на древке — метла, на другом же конце — грубо позолоченный треугольник вершиной вниз...

Маг превосходнейше знал, что против потока движутся медленнее, чем в одном направлении с ним. В 167 раз медленнее, это уж точно: были у него таблицы — те, что Пушкин в романе «Евгений Онегин» называл «философическими таблицами», — и было в них обозначено, сколько времени... Брюзгливо кривясь, Маг вычислил, что в конце XVIII столетия Боря будет плыть, барахтаясь в волнах времени, около восьми часов, а точнее 167² секунд. Отправившись из конца XX века в полночь, он прибует в заданную точку времени в 7 часов 47 минут пополудни; но, отправившись из 1798 года в 20 часов 02 минуты пополудни, он окажется на исходной позиции через две секунды, никак не позднее.

И действительно, Боря вместе с его добычей возникли в Москве на Колхозной площади в 20 часов с небольшим. «Скорая помощь», которая с ревом и взвизгиваниями мчалась со стороны Института имени Н. В. Склифосовского к Самотеке, была вынуждена вильнуть влево, к резервной линии, потому что буквально из-под колес ее вдруг вынырнула странная пара: он — носатый, в шляпе-треуголке, в кафтане, в чулках; она — в русском национальном костюме. Выворачивая руль, водитель «скорой» успел подумать, что, мол, а девочка-то клевая, с такой и выпить не грех, да, видно, перебрали ребята, недалеко тут до беды, не встречать бы старый Новый год аккуратно у них, в приемном покое. «Скорая» рванула дальше, на эстакаду, а Борю отбросило к тротуару, к зловонному общественному сортиру, и тут от него и от Кати спархивали прохожие: старушка-еврейка, командированный мордвин из Рузаевки, стайка куда-то поспешающих школьников. «Ух ты, — сказали школьники, — во дакт-то!» И тут несколько прохожих, почему-то шатавшихся по городу сплоченною стайкой, хотя держаться друг за друга им вроде бы было и незачем, начала распадаться: старушка засеменила вниз, к Троицкому переулку; мордвин, озадаченно посмотрев на Борю, крепче стиснул ручку портфеля, набитого купленной в Москве колбасой, и зашагал на Сретенку, к центру; а школьники потрусили по улице Гиляровского, бывшей 2-й Мещанской.

Боря достал нож, резанул капроновую веревку. Катя подняла на него глаза: что дальше-то выкинет? Косилась на летящие мимо них к эстакаде, к Цветному бульвару, автомобили. Поглядев на видневшийся вдалеке высотный дом и принявши его, надо думать, за храм, подняла было руку перекреститься, но Боря успел, врезал ей по руке жестким ребром ладони.

Поймать такси? Боря понимал, что это немыслимо: ехать тут всего ничего, от Колхозной до площади Маяковского, Маяковки; но именно поэтому не поедут.

Однако случилось невероятное. Возле общественных сортиров, проскочив мимо женского и скрикнув тормозами аккуратно у мужского, остановилась клоуноско-апельсинового цвета «Волга». За рулем сидела дама в дубленке, рядом с нею девочка в сползающих на носик очках, а на заднем сиденье еще одна девочка, тоже очкастенькая. Боря не думал, что оранжево-буланая «Волга» остановилась ради него, но «Волга» постояла на месте, подымила, и, видя, что Боря приблизиться не решается, дама сдала назад. Девочка распахнула дверцу:

— Вам куда, товарищ?

Боря опешил немного, но не приходилось раздумывать:

— До Маяковки подбросите?

— Садитесь, — нагнувшись так, чтобы видеть Борю, сказала дама. — Надя, Люба, откройте нашим гостям.

Девочка, сидевшая сзади, распахнула дверцу. Боря толкнул вперед Катю, втиснулся сам, на колени поставил корзинку.

«Волга», помигав золотистым светом, рывком взяла с места.

Тихая метель началась: снежинками заносила день, оказавшийся для Кати равным почти двум столетиям, да и Боря, на секунду-другую закрывши глаза, вдруг отчетливо увидел внутренним зрением морозное утро невероятного дня: он лежит в полнейшем изнеможении, а над ним — мохнатая собака... два парня-прохожих. И подумал: «Неужели все это было? И собака... и парни... и утро?»

Но оно не пригрезилось, утро. Оно было: и в далекой, как бы даже и не очень правдоподобной Москве; и в Москве теперешней, нашей, тоже, ежели вдуматься, уж не очень-то и правдоподобной.

Поутру гуру Вонави проснулся, торопливо спустил с дивана безволосые ноги. Почему-то вспомнилось неприятное, тяжелое: как лежал он на излечении в скорбном доме, в Белых Столбах, просыпался, бывало, в душевной, смрадной палате, населенной несостоявшимися богами, хмурыми маньяками-«саморезами», сверх того — толстяком-пердуном, возомнившим себя африканским гиппопотамом. Ему делали болезненные уколы, совали «колеса» — таблетки. Было гнусно, но что тут поделаешь? Он же твердо знал про себя, что он бог Атлантиды, а богам положены страдания, боли и горести. А уж он подлинный — подлинный! — бог.

И теперь ему хорошо. И, встречая серебристое зимнее утро, он орет куда-то в пространство:

— Свершилось! Да, сейчас, как раз в эти минуты свершается!

А Вера Ивановна — сонная, в жиденьких волосах бигуди новой модели: термобигуди называются. По утрам она кипятит для них воду в той же кастрюльке, в которой варит мужу манную или овсяную кашку; как только вода принимает-

ся булькать, бросает в нее пластмассовые колбаски. Вынимает их сетчатой ложкой, горяченькими надевает на редущие волосы, сверху голову покрывает салфеткой. И сейчас покрыва. И говорит, поправляя салфетку:

— Знаю, знаю, что свершилось; к вечеру и придут, наверное.

— Не придут, а по-жа-лу-ют, Вера! Пожалуют. Он же все-таки граф, да еще какой, а она царевна, моя прабабушка, а потом появится и дочка моя, — сделал паузу. — Доч-ка!

— Что ж, я в белый магазин схожу, может, пельмешки выбросят. Наварю, а сама уж...

— Да, уж ты, — потупился гуру и, не надевая штанов, голоногий, потянулся к стулу, на котором висела одежда, порывшись в карманах пижамы, сигареты достал.

— Не курил бы ты натошак, сколько раз просила тебя!

— Другим вредно, а мне ничего. — Зажигалкой сверкнул, ядовитым дымом наполнил комнату. — А градусов сколько сегодня?

Вера Ивановна прошлепала к окну, чуть-чуть расчистила напоть:

— Всего-то четырнадцать.

— Ого, и это, заметь, на Крещение. Крещенские морозы исчезли, а? Да, работает еврейская орава, работает. — Пустил облачко дыма в потолок; призадумался и: — Ничего, недолго им, нам бы только... Вишь какие, и в КГБ забрались. И свое проникновение в КГБ замаскировали чем? Из-гна-ни-ем оттуда ев-ре-ев! Ну, хитрецы-ы-ы...

Опять призадумался, глаза опустил:

— Значит, так, Вера: уйдешь, когда Боря придет. Поглядишь и уйдешь. Ты пойми меня правильно, но тебе необходимо будет уйти.

— Да когда я тебя правильно не понимала?

— Ладно, я сейчас оденусь, а ты... В магазин в этот самый, в белый, да?

Вышла Вера Ивановна, стала копошиться в своей комнатенке: в магазин снаряжаться; «белым» назывался магазин за углом, в торце того дома, где жил-поживал гуру. А был еще и «зелененький», но тот был подальше, за кондитерской фабрикой: между девятиэтажками надо было брести, спуститься в неглубокий овражек по скользкой скособоленной лестнице, подняться и упереться в дом, облицованный попугайно-зелененькой глянцевой плиткой.

Торговали в обоих магазинах хлебом, кефиром, кое-каким бакалейным товаром, горчицей и минеральной водой «Московская».

Ни один из нас не может представить себе, что пережила за какие-то сутки, да нет, всего-то за пять-шесть снежинками пропорхнувших часов бедняжка Катя, дочь Екатерины II Великой, если, конечно, дошедшие до нашего столетия слухи не были враками, говоря по-блатному, парашей, и императрица Российская действительно согрешила, родила, да, оказывается, и не одну, а сразу двух дочерей.

Капроновую веревку, что стягивала Катины руки, Борис перерезал, как только очутились посредине Колхозной площади: тут тебе не XVIII столетие, тут со связанной, аки овечка, девчонкой по городу не походишь, препроводят в отделение, а там и пойдет разматываться: ладно, парень, ты, предположим, гражданном Гундосовым будешь, Борис Палычем, слесарем, а с тобой гражданка откуда? Приезжая, что ли? Лимитчица? Или в институт поступать прикатила с периферии? А паспорт имеется? Боря аж тихо стонал, предвидя предстоящие хлопоты: добыть Кате паспорт, а хорошо бы еще и комсомольский билет, устроить прописку. А пока Боря, крепко Катю за мягкую и какую-то добрую руку держа, метался с ней по вечернему перекрестку проспекта Мира с Садово-Самотечной неоглядно широкой улицей, тпился поймать такси. Подобрала его буланая «Волга», и нетрудно догадаться, что дама, сидевшая за рулем, была наша милая Вера Францевна: жила она в том высотном доме у Красных ворот, который Катя спрастала приняла за храм; и ехала она на официальный прием в посольство Восточной Германии, ГДР.

От Колхозной до площади Маяковского — три минуты; но надо же: в аккурат на эстакаде, что простерлась над пересечением Садово-Самотечной с бульварами, «Волга», как-то чудно, по-лошадиному фыркнув, заглохла. Только этого не хватало!

Вера Францевна пошарила под сиденьем, достала сумку с ключами, с отвертками. Вышли, причем Боре пришлось протискиваться с немалым трудом, потому что «Волга» была вынуждена припарковаться вплотную к барьеру.

Боря пуще всего опасался оставить Катю без своего присмотра. И не зря: девочки прямо-таки вцепились в неожиданную пассажирку, пустились в расспросы:

«А куда вы едете? На маскарад какой-нибудь, да? Или в кино сниматься? А почему у вас синяки? Упали? Ой, так скользко сейчас в Москве, так скользко, ужас просто...»

Боря злился, работал молча. Подумал: «Опять близнецы! Везет мне сегодня, то там близнецы, то здесь, неспроста это все; узнать бы, что тут к чему...» Он отстегнул крышку распределителя, посветил фонариком: Вера Францевна протянула ему и фонарь. Так и есть, гайка крохотная отвинтилась, выпала, лежит безучастно. Осторожно взял ее, но она как живая из замерзших пальцев скользнула и со звоном — бряк на асфальт. Вдвоем с Верой Францевной протолкнули автомобиль вперед метра на два, посмотрели: серебрится гайка на черном асфальте, хорошо, что снегу сюда не успела метель наместить. Пока то да се, Вера Францевна, святая душа, певучим своим голосочком — Боре:

— Приходите на наш новогодний вечер... в УМЭ... Знаете наш УМЭ? О, конечно же, знаете, так прихо...

Завертывая гайку, Боря сопел, нервозно поглядывал по сторонам.

— ...дите с вашей красивой спутницей. Вы, мне кажется, маскарады любите, так у нас маскарад и будет, а она же Снегурочка... Где вы только такую нашли?

Боря гайку поставил на место, кивнул, усмехнувшись криво: люди часто и сами не знают, что они говорят. Когда сели в машину, Вера Францевна достала из сумочки красивый билет, пригласительный: «Дорогой друг! Умы УМЭ приглашают тебя... Пир во время чумы... Маскарад... Всю ночь танцы...» Билет Боря сунул в наружный карман камзола.

Расстались на площади Маяковского — на Маяковке, возле редакции разбитого журнала для молодежи. Боря выскочил, открыл дверцу Кате, она выкарабкалась. Вытащили корзину. Боря взял Катю за руку, лавируя между машинами, вбежал во двор, в подъезд — к Магу. А тот, разумеется, уже в дверях квартиры стоит, по-стариковски любезен и ироничен:

— Поджидаю-с, — говорит не без насмешечки в голосе. И Кате: — Здравствуй, красавица!

Посмотрел на физиономию, на личико, на котором синяки прямо-таки светились в полутьме коридора, перевел взгляд на Бору:

— Понятно-с.

Потом Боря сидел на кухне опустевшей коммунальной квартиры, переодевался.

В узелок связал Боря штанишки, камзол, ужасающе тесные башмаки. В углу кухни — огромной, закопченной — со вчерашнего вечера пузырем возвышался рюкзак, а в нем — куртка, джинсы. И башмаки, мокасины. Влез в них Боря: разношенные, made in... Маг тем временем с девчонкою говорит о чем-то. А о чем? Успокаивает? Ладно, недолго ему; он свое дело сделал и свое получил: больше года жизни Боря ему отвалил. А кто знает, те дни, что отданы Магу, не окажутся ли чем-то таким, что решило бы судьбу Бори на много веков вперед?

Не благодарил Боря Мага, а просто взял Катю за руку, а Магу только: «Пока!» Уже дверь открыл на лестничную площадку, но тут Катя осторо-о-оженько высвободила руку, обернулась к Магу, поясню ему поклонилась:

— Спасибо! — Ее первое слово на новой земле, в новой жизни. — Спасибо, барин!

Значит, Маг сказал Кате что-то нужное, доброе: ишь ты, пекся о том, чтобы крест сорвать с девушки, а сам-то все-таки пожалел ее, про-све-тил. Или, может, заговор какой-то сотворил?

Поклонилась девушка Магу, но тут Боря сграбастал ее руку уже привычным движением и — по лестнице вниз: лифт опять не работал.

И шел по улице Горького вполне советский, вполне современный вроде бы даже и молодой человек: куртка, джинсы, итальянские башмаки на меху синтетическом. И корзинку несет. А с ним — девушка со светлой косой, в ярко-красной, в пунцовой шубе до пят, а личико светлое, ясное (Маг рискнул, потратил ПЭ из неприкосновенных запасов, дунул, и синяков не стало). Снегурочка!

Но опять надо было ловить такси, уговаривать: на проспект Просвещения, мол. По улице Горького, бывшей Тверской, известное дело, мечутся люди, скачут, как блохи; завывают протяжно, вторя метели: «Такси-и-и-и!» А такси проносятся да проносятся мимо по своим делам — таинственным, непонятным.

Все уловки наглых таксистов Боря знал, но что он мог сделать? Он корзинку выставил на проезжую часть: подумают, что на вокзал ему, что он на поезд торопится. Но и на корзинку клевать не хотят, рвут да рвут мимо Бори и Кати.

И девушку осенило: оттолкнула — впрочем, довольно ласково, как бы шутя —

своего господина на тротуар, сама шагнула на проезжую часть. Тут же с визгом остановилась машина, высунулся хмырь прыщавый, подмигнул, нехорошо улыбнулся: «Куда?» Боря с тротуара сорвался, ухватился за ручку дверную, словчился открыт. Втолкнул девушку, корзину и — сам взгромоздился. Тогда уж и адрес назвал, а шофер, подобно лошади, почуявшей властного седока, смиренно съехался, хотя и буркнул гнусаво: «На приманочку взял, командир? На живца? На Снегурочку?» Боря хмыкнул только: победителей, дескать, не судят.

И гудят голоса, аж на лестнице слышно: вечные споры о том, кто губит Россию.

Боря за руку держит Катю, прислушивается. Из-за двери же — гомон и гул голосов: бу-бу-бу... гу-гу-гу... ду-ду-ду...

Ищут тех, кто губит Россию: с востока — китайцы, с запада — американцы стараются, шлют лучи над волнами Атлантики; проходя над ушедшей под воду Атлантидой, лучи обретают незримую твердость и, усилившись, устремляются через Европу на нас. А уж тут — извечно подтачивающий Россию внутренний враг начеку: скажут, мечутся темные силы, еврейский кагал; собирают энергию своими иудейскими способами: педагоги, врачи, литературные критики и артисты. Один только спектакль Аркадия Райкина — целый пакет энергии, отправляемой на Луну; и хранится она на Луне до уже недалеких времен, когда замкнется кольцо иудейского полонения мира. Луна мертвое тело, труп, носящийся над Землей, а евреи — народность мертвая, и их власть — власть смерти над миром. Но гурь Вонави встанет на их пути и Россию спасет, а за ней и весь мир.

В дверь звонок.

Звонок у гурь Вонави, конечно, особенный: гонг какой-то. И гонг звонит басовито, неизменно возвещая нечто значительное: бум-бум-бум... И опять: бум-бум-бум...

Гурь на своем диванчике прыгает, как ребенок, в ладошки хлопает.

— Се грядет, — верещит, — Сен-Жермен! Сен-Жермен к нам грядет!

Открывать Сен-Жермену кинулись патриот-анархист и Яша-Тутанхамон: пуше всех Сен-Жермена заждались Тутанхамон.

Он-то первым и двери открыл, отворил. А в ту же минуту с дивана — в халате своем, порядком засаленном, — встал и сам Вонави и губами туш заиграл. И когда дверь распахнулась, перед Борей и Катей предстали и патриот-анархист, и Яша, и Буба, он же Гай Юлий Цезарь. А в проеме дверей, ведущих из прихожей в гостиную, — и гурь Вонави, который смешался вдруг, потупился и по-мальчишески покраснел.

— Пришли! — выдохнул Боря, и безучастно как-то у Бори вышло: слово выдохнул так, будто оба они, и Катя, и он, в магазин за бутылкой ходили. Впрочем, оно и лучше: не догадаются, где побывал граф Сен-Жермен.

Тут надо заметить: в школе гурь — сеть секретов и тайн. Как во всех конспиративных организациях, люди связаны наложенными на них запретами, угрозами и какой-то истерической лезью: полудебил, чадо безнадёжных и мрачных пьянчуг-алкашей, едва кончивший пять-шесть классов школы для дураков, болван, коего в течение всей его недолгой, но горестной жизни пинали да заушали, встретивши русских йогов, вдруг обретает горсточку нежности и тепла, а постепенно узнает и о том, что он-то, оказывается, и есть Юлий Цезарь. Кто такой Юлий Цезарь, он представляет себе неотчетливо, но раз, другой, третий ему объясняют про умение делать три дела сразу — писать, слушать и говорить, — про перейденный Рубикон, про коварного Брута. У него хватило ума, он однажды спросил, преданно поглядев на гурь: «А чего с этим Брутом сделали! Ему срок дали, да? Или к вышке?» Но что сделали с Брутом, гурь не знал; он смутился, но вышел из положения. Он погладил Бубу по жесткой шерстке, по голове, успокоил, напомнил, что надо почаще выкрикивать: «И ты, Брут!» И ему ли, Бубе, не радоваться дару судьбы? А она устами гурь открыла в нем Цезаря и поставила рядом с ним и милегу Тутанхамона, и угрюмого, но в общем-то добропорядочного и надежного Сен-Жермена.

Гурь шаркающей походкой своей, шлепая туфлями, приблизился к Кате — ученики, натурально, отпрянули. Гурь подошел, взял крепостную девку за подбородок, в глаза посмотрел ей. Щекою дергаясь и кривляясь — отрывисто:

— Принцесса, царская дочь! — Руки на плечи девушке положил. — Давно тебя ждем, человека достойного за тобой послать подбирали, пока-то не отыскали орла, — указал на Борю, — время ишло да шло. Но нашли орла, и принес он тебя

к нам, и быть тебе моей пра-пра... Разберемся во все этих «пра»... Что, устала? Вера, веди нашу гостью к столу.

Вера Ивановна ко всему привыкла. И к тому, что при ней, при жене, девчонок к мужу приводят. С улицы, с бездонных московских вокзалов, все с какими-нибудь оккультными мотивировками: герцогиня де Помпадур промелькнула, Клеопатра была, но на ней-то Вонави и подловили когда-то, в психбольницу как раз Клеопатра его загнала, сама же смылась куда-то, из квартиры пару простынь прихватив. Остальные девчонки на оккультные приманки клевали одна за другой, и — тут надо отдать справедливость гурю Вонави — далеко не все они оказывались в предыдущих своих воплощениях исторического размаха царицами или знатными дамами.

О том, откуда и зачем привели к гурю девушку в красной шубке, Вера Ивановна знала. Она женщина простая и добрая, по-русски отзывчивая, и она понимала: пришельца, новенькая, попавшая сюда Бог весть из каких миров, перенервничала, смертельно устала и хочет, наверное, есть. А поэтому:

— Испереживалась? — первым делом спросила она.

Та вопросительно подняла на Веру Ивановну очи — прозрачные, ясные.

— Непонятно? Хорошая ты моя, принцессочка, иди руки мой, ступай-ка сюда.

У гурю Вонави, что называется, совмещенный санузел: клозет, умывальник и ванна, все вместе. Тут же — стиральная машина, эмаль с нее послезала, но вообще-то машина фурычит, как раз час тому назад закончила Вера Ивановна стирку, и сейчас над ванной висят ее поношенные, растянутые колготки, голубые подштанники Вонави, полотенецки да платочки. Показала Вера Ивановна гостью, как и чем надо пользоваться и как воду спускать в унитазе. Потом слышно: вода потекла из кранов.

Ползет телега, влекомая парой серых одров; одры перебирают ногами, пучеглазыми мордами мотают направо-налево. На высоких козлах восседает красавец-негр, вожжи держит, на голове у негра шляпа-цилиндр.

По обе стороны телеги безжизненно свешиваются руки и ноги; ноги в джинсах, джинсы задрался, виднеются тощие волосатые икры.

Колеса скрипят, лошади мотают толстыми мордами. Негр стеганул одну лошадь вожжами, лошадь взбрыкнула, а негр ее снова стеганул, тут же, впрочем, ободряюще чмокнув: давай, мол, давай!

Актный зал в УМЭ остряки называют и аховый зал. Зал в УМЭ маленький, сидим близко к сцене. Видно, как изготовлены лошади; так обычно шутовских лошадей и делают: составляется лошадь из двух людей: один спереди, другой сзади; бутафорская лошадиная голова, капроновый хвост. Скрипучую телегу студенты сладили из тележки, на которой два раза в год, по весне и по осени, нашему УМЭ предписано было катить по Красной площади что-нибудь, подходящее случаю: говорят, что когда-то на ней везли огромный макет проектируемого Дворца Советов, возили фанерную Спасскую башню, а сейчас возят земной шар, и над ним, на особой, почти невидимой проволоке порхает здоровенная птица, голубь мира. А теперь, в новогодний вечер, тележка приспособлена для капустника на тему «Пир во время чумы». Что ж, молодцы студенты, сообразили, в точности выполнили указания ремарки гениального А. С. Пушкина: «Едет телега, наполненная мертвыми телами. Негр управляет ею». Повалялись в телегу доброты, ноги свесили: трупы. И в сплошной бутафории подлинное одно только: негр. Байрон Ли Томсон — не какой-нибудь там африканский негр из Университета имени Патриса Лумумбы, нет, а американский негр из штата Кентукки. (Почему-то американский негр считается более подлинным негром, чем негр африканский, первичный.)

Трудно понять, какими ветрами занесло негра Байрона Ли в наш УМЭ, но Байрон прижился у нас, кончил отделение русской эстетики, защитил дипломную работу по славянофилам и был принят в аспирантуру. Своим стал, умальцем. Сперва с ним носились, гладили его по головке, ибо живем мы все в окружении нами же созданных образов: коли негр из Америки, так является даже неглупым и мыслящим людям тень какого-то человека, коего или волокут линчевать, или каждую минуту могут схватить, окатить керосином, поджечь; и несчастный будет корчиться, полыхая, а вокруг него будут топтаться, приплясывая, фигуры в белых балахонах с прорезями для глаз. И на Байрона смотрели как на жертву злого ко-к-лукс-клана, обретающую в нашей стране и защиту, и кров. А к тому же принято чувствовать себя гуманистом, покровителем угнетенных, а свою неуклюже свире-

пую родину считать уж хотя бы от расизма свободной; поэтому с Байроном Ли и носились.

Постепенно, впрочем, к Байрону привязались и без всякой политической подоплеки. Оказалось, что он просто хороший парень, трудолюбивый, остроумный и на удивление целомудренный, во всяком случае, никаких признаков бешеного сексуального темперамента, который молва склонна приписывать каждому темнокожему, Байрон не проявлял. Эксплуатировали его беспощадно. В библиотеке почему-то именно ему доставалось перетаскивать с места на место толстые тома различных историй искусств; когда в буфет привозили любительскую колбасу, томатный сок и кефир, Байрон непременно оказывался возле фургона. «Байрон, — томно скажет ему проходящая мимо Вера Францевна, — да не позволяйте же вы вечно себе на шею садиться!» — «Но я негр, Вера Францевна, — неумолимо улыбается Байрон, — а негры для того, как известно, и существуют». И идет Вера Францевна по делам, а потомок дяди Тома хватается за новый ящик, и весело позвякивают бутылки, которые он несет. Занимается Байрон со мной. Диссертация у него почитай что готова, а в Америке ему обещали работу. Когда Байрон уедет, наш УМЭ лишится интереснейшего сотрудника, терпеливо сносившего все причуды высшего партийного руководства, все запреты, ограничения и упрямо гнувшего свою линию, по-хорошему либеральную.

Как ни старались где-то в невидимых, но повсеместно ощущаемых нами сферах уберечь наш УМЭ от наплывов либерализма, по меньшей мере преждевременного, в крайностях же своих и опасного, невинная идея отпраздновать что-нибудь, например, встречу старого Нового года в разгар экзаменационной сессии да еще под названием «Пир во время чумы» была высказана и дружно подхвачена массами. Пир во время чумы? Загорелась мыслишка: поставить капустник. На шестом этаже, на самом верху надстройки, собрались университетские весельчаки, заговорщики перешептывались, вразнобой строчили либретто, сценарий. Метафоры «пир» и «чума» заполнялись реалиями нашей жизни. Чума — экзамены, экзаменационная сессия; пир — веселье ни с того ни с сего, разве что под предлогом встречи старого Нового года. А где пир и чума, там всегда вспоминают и негра в телеге с телами умерших.

Ползет телега, влекомая парой одров, серых, в яблоках. Байрон Ли управляет ею, а мы стараемся не придавать веселому «Пиру...» никаких расширительных смыслов: это вовсе не про мир, на который надвигается безумие духовной пустоты — мертвящей все живое чумы. Не про нашу чудовищную державу. Нет, ни в коем разе, ни в коем... Мы имеем в виду экзамены. Только экзамены.

Очень похоже изобразили Веру Францевну Рот, хорошо получился Маг. Студент пародировал лекцию Мага, пародировал его самого: голова, похожая на яйцо, поставленное кверху острым концом, плешь, рыжеватые волосики по краям, нос буравчиком, очки-кругляши. Маг читал в своем стиле: зажигательно, страстно, брызжа слюной; и только в конце его лекции становилось понятно, что народ обволокли этой страстностью, заворожили полемикой с целой ордой неведомых путаников, запорошили зенки остротами, но внутри всего этого многоцветия была пустота, была безысходная скука. Это были лекции-мороки, и студент сумел обнажить перед нами пустоту, залихватски Магом преподанную; и Маг аплодировал: обижаться на капустник нельзя, не принято. Потом изобразили экзамен: экзаменуемые один за другим проваливались — падали в преисподнюю: на сцене в маленьком зале УМЭ имелся и люк. Мизансцены менялись: за столом восседали пирующие, молодой человек поминал безвременно провалившихся на экзамене:

...Но он ушел уже
в холодные подземные жилища.

Мэри пела про всеобщее опустошение. Председатель же сокрушался:

В дни прежние чума такая ж, видно,
Холмы и доли ваши посетила,
И раздавались жалкие стенанья
По берегам потоков и ручьев...

Говорил он так выразительно, что становилось по-настоящему страшно:

И мрачный год, в который пало столько
Отважных, добрых и прекрасных жертв,
Едва оставил память о себе...

Тут-то и выплывала на сцену управляемая негром телега: апофеоз изображения зимней экзаменационной сессии.

Потом была самодеятельность: пел хор УМЭ, и пел он, надо сказать, хорошо; студентка-украинка танцевала гопак. Занавес опустился, мы, хлопая откидными сиденьями, потащились в Лункаб, на Луну. На столе, за которым обычно заседал ректорат, — пирожки, бутерброды. Вера Францевна элегантна, худенькое лицо много и горько страдавшего человека светится внутренней радостью: праздник удался, получился.

Гамлет Алиханович настороженно прихлебывает дремучий чай:

— Вера Францевна, а намеки-то бы-ыли! Я имею в виду капустник...

Гамлет обижен тем, что на сцене не изобразили его; тут действует причудливая логика: нам хочется, чтобы нас пародировали, пародия признает в нас хоть чем-то выдающуюся индивидуальность, она дарит нам новую жизнь. А как будешь пародировать лекции по истории КПСС? Зал наполнен был стукачами, а возможно, что весь капустник втайне и записывался на пленку; мы сидим, болтаем, гоняем чай, а пленочку-то, гляди ж ты, сейчас где-то прослушивают.

Потом мы, профессорско-преподавательский состав, гурьбой покидаем Лункаб, вываливаемся в вестибюль. Здесь — танцы вовсю: из зала в вестибюль пианино выкатили, и за пианино, конечно же, наш Байрон сидит играет, только черные пальцы летают по клавишам; и я начинаю думать что-то нелепо замысловатое: когда за роялем белый пианист, то его руки контрастируют с черными клавишами, а когда пианист чернокожий, то, наоборот, его черные руки над белыми клавишами...

А УМЭ не узнать: вестибюль, коридоры, аудитории убраны еловыми ветками; масса цветов, пусть хоть бумажных, но все-таки... Сверкают стеклянные шарики.

Руки Байрона громят по клавишам.

Барабан грохочет, грохочет.

Рядом с Магом Боря, Борис, слесарь СТОА-10, граф Сен-Жермен. На нем полумаска — черная, с желтым кружевом, черный плащ на желтой подкладке.

Пляшет Боря.

А рядом с ним?

Байрон все еще крупит пианино. Но внезапно ритм обрывается: обернулся Байрон, остановился. Тотчас:

— Байроне, ты чому ж зупынивсь? — укоризненно и певуче восклицает студентка-украинка. — Байроне, зажурывсь ты чому?

Байрон в самом деле играть перестал. Белки вывернул изумленно, воззрился на нас: рядом с Борей танцевала красивая: сарафан ярко-алый и коса ниже пояса. Было личико маской глупейшей прикрыто — маской туповато глазещей на окружающий мир козы, уж не той ли козы, во славу которой назван наш великолепный проезд? Но тупейшая козья харя не удержалась на личике; и красивая — маску прочь, голубые очи с изумлением на Байрона глянули.

— Грай же, Байроне!

Байрон взял себя в руки, заиграл. Барабан подхватил его ритм.

Мы танцуем. Время близится к полночи.

Перебивая ритмичный грохот пианино и барабана, снизу доносится жуткий, истошный взви-и-инизг:

— И-и-ини!

Пианино снова смолкает. В наступившей тиши барабанщик бабахает еще несколько молодецких ударов и останавливается.

Все смятенно несутся вниз, и мне сверху видно, как там, возле телефона-автомата, у подножия гипсового Ильича-Лукича, быстро-быстро накапливается толпа. Не все догадались снять маски, поэтому в толпе мельтешат и русалки, и розовощекие поросята, и лисички-сестрички. В центре внимания — Сусанна Ринконен, стажерка из Финляндии, из какого-то городка, названия которого никто выговорить не может.

— Дурак! — рыдая, кричит Сусанна, снизу вверх глядя на застывшее в глубочайшей думе о судьбе мирового пролетариата извание. — Идѣт лысы! — И снова в слезы.

— Сусанна, что с вами? — протискивается к девушке Вера Францевна. — Что случилось, Сусанна?

Слово за слово выясняется: в разгар всеобщего веселья и пляски Сусанна спустилась вниз, туда, где на стенке висит телефон-автомат, позвонить. Она хотела предупредить своих соседок по комнате в общежитии, что сегодня она не придет, потому что в УМЭ очень весело и ее московская подруга Рая пригласила

ее ночевать к себе. Предоставлять ночлег иностранцам, особенно из капстран, как известно, было строжайше запрещено; и Сусанна, ничего не понимая в наших порядках, приглашение приняла, однако по телефону говорила о нем, заговорщицки снизив голос, едва ли не шепотом. Пришлось прокричать: «Не приеду... Да, оста-ва-юсь... Не вольновайтесь...»

Многие из говорящих по вестибюльному нашему телефону, забывшись, кладут ладонь на огромный башмак гипсового чудовища, а иной раз, как я уже говорил, и нужный номер запишут на нем. Финночка исключения не составила: говоря, она машинально поглаживала рант башмака вождя. И тут вождь мирового пролетариата — хрясь! — надавил ей на пальцы. Теперь финка показывала всем свою руку; три пальца на ней были отдавлены, из-под почерневших ногтей, капая на пол, сочилась кровь. Кровь сочилась и из-под башмака Владимира Ильича.

— Леша, — распорядилась Вера Францевна Рот, — быстро ко мне в Лункаб, там в приемной, у столика Нади, ящичек есть, аптечка, несите ее сюда. А руку под кран, под холодную воду, да и снега с улицы принести не мешало бы.

— «Скорую» будем вызывать?

— Ах, не надо «скорой», неудобно, что иностранка...

— Да и придет-то эта «скорая», глядишь, под утро, у нее же на сегодняшнюю ночь работы навалом.

— Лучше музыку!

— Му-зы-ку!

— Вера Францевна, можно нам танцевать?

Байрон — хитрый! — драматической паузой воспользовался: он нашел в толпе Катю, высмотрел, пробрался к ней, подошел. А она не испугалась его, потому что арапов в Москве они с Лизюю выдвигали не раз и еще потому, что от Байрона токи исходят какие-то: и доброжелательность к миру, и нежность, и юмор. Перемолвились они с Катей (а Боре не отходить бы; но его понесло туда же, куда помчались и все: поглядеть на студентку, чуть было Лукичем не раздавленную).

А теперь Байрон снова рванул летку-енку. Громыхнул барабан, и толпа у подножия Владимира Ильича начала рассасываться, редеть и вытягиваться в цепочку.

Громыхнул барабан.

Кажется, я один понимал, в чем тут дело. «Лабух, — думал я уже на профессиональном жаргоне, — зелененький. Имитатор неподготовленный, говоря официально. Будет втык и ему, и руководителю группы».

Громыхал, гремел барабан.

«Хотя, — продолжал думать я, — многое спишут за явно повышенную дозу ПЭ. Когда лабух, бедняга, финке на пальчики наступил, она же так завизжала, что в Козьмобородском проезде, чай, слышали. А уж после-то! Из нее тогда ПЭ на объект потоком лилась, а за ней и другие... Целый диспут у монумента! Толпа, митинг, а митинговая ПЭ высочайшего качества: жаром пышет — буквально; обладает повышенной температурой, и недаром же говорят о накале страстей или жарком диспуте... Да-а, тут сложная ситуация!»

Громыхал барабан. По лестницам, по тесному вестибюлю галопом неслись танцующие.

Захотелось не слышать шума, топота, лязга. Подышать свежим воздухом. Покурить, грешным делом: я сегодня и в ГУОХПАМОН заезжал, Динару провед-дал. Она мне обрадовалась и по милой своей доброте сигаретами угостила — с верблюдом на коробочке, «Camel».

Потянул на себя скрипучую дверь, пахнуло душистым морозом, в эту пору зимы, как давно уж кто-то подметил, свежий снег почему-то... арбузом пахнет.

«С Новым годом! — орал, сотрясаясь от ора, дом купчины-бараночника. — С Новым годом и с новым счастьем!»

Ночь метелит и у меня, в Чертанове. И на проспекте Просвещения метель работает, засыпает дорогу к дому гуру Вонави, и пускай засыпает: заметет следы и за Борей, за Сен-Жерменом, и за Яшей, за фараоном. Поразъехали они и оставили учителя с...

Ах, с кра-са-ви-це-ю... С принцессой, если верить преданию, слуху, не дошед-шему до самых дотошных историков, — еще одному слуху о Екатерине II.

И ушла из дому Вера Ивановна кроткая. Но она всего лишь к соседям ушла, на верхний этаж; смиренна она, и если гуру считает, что не надо ей быть сейчас дома, то...

И в квартире остались двое, гуру и Катя...

А уже изрядно перевалило за полночь, а у них... Как бы это сказать-то, а?

А у них — ни-че-го...

Потому что Катя — не в матушку, не в Екатерину II, она — на широком ложе лежит как колода: не умеет, не знает, как надо, учить, видно, некому было; и лежит неподвижно девушка, и на вампирические поцелуи гуру отвечает лениво, робко...

Потому что и бедняга гуру беспомощен: видно, кто-то ему ворожит поперек судьбы, остужает, уничтожает спрятанный в мужчине Гераклитов огонь, начало начал, основу всей жизни...

Нет огня у гуру...

Нет огня у гуру...

Нет огня у гуру...

Так бывает, бывает, когда женщину ждешь слишком долго... Когда слишком, слишком значительный смысл он вложил в долгожданную близость... Когда... Да и просто тогда, когда он утомился, намаялся за день, перенервничал.

И гуру это знал, и обычно нашего мужского страха в нем не было. Только тут...

Тут он чувствовал: во-ро-жат...

Слышал, слышал он смех, нервный хохот какой-то, долетающий откуда-то издалече сюда, на метельный проспект Просвещения: хохотали над ним!

Он поднялся, накинул халат. Подошел к окну.

Хохотали снежинки, кружась в хороводе...

Хохотал, пьяновато пошатываясь, фонарь за окном на столбе; хохотал, будто он головою мотал...

И неясные тени скользили в метели: трое, четверо? Почему-то со старинными фонарями — слюдяными, и свечка вставлена в них.

Собирались, сбивались в кружок. Разбегались, фонарями размахивая: привидения в каждой стране свои; привидения русские — те все больше в метелях, в пурге являются грешникам.

Только это не привидения были. Были те, кто когда-то в кавказских горах посвящал Валерия Никитича Иванова в высочайшую степень гуру. Посвятили, обещали явиться еще раз. И — явились: суетятся и, верно, хохочут.

Помахали они фонарями и исчезли один за другим во тьме за троллейбусной остановкой.

Босиком прошепал гуру на кухню, наставил воды из чайника, пьет...

Хохотали тараканы, разбегаясь от раковины: там у них водопой был устроен, в темноте они радостно пили, а когда загорелся свет, они с хохотом побежали в щели...

Январь пушистый и не студеный вовсе, но и не слякотно-бесформенный, как теперь бывает все чаще; настоящий январь, классический: добродушный морозец и снег.

Полюбил я наши занятия: и гул пролетающих где-то над головою поездов метро, и почтенный стол, окруженный стульями с высокими спинками, а на спинках — тисненый орнамент: по темно-зеленому фону — тоже зеленые, но посветлее, гирлянды дубовых листьев. И люди, конечно: добрая-добрая девочка Ляжкина, вся какая-то мягкая армяночка Лианозян, простак-работяга Лапот с непонятным трагизмом в глубоко запавших глазах. Кажется, понимаю, отчего обыватель идет в КГБ, безотказно идет; и отнекиваний, отказов, по многолетним сведениям, набегает только 3,8 процента; грубо говоря, это значит, что из 25—30 приглашенных отказаться норовят лишь один. Отнекиваются интеллигенты, питающие к КГБ неискоренимую брезгливую неприязнь, к ним вообще-то и соваться не надо бы; отказываются гордые дамы из все еще не добытых дворянских фамилий, а бывает, что и рабочий человек резает сплеча, пошлет на три буквы. Бывает, бывает — особенно же в последнее время, когда как-то все помаленечку распоясываться начинают. И все-таки есть в КГБ влекущее что-то, заманчивое: приближенность к тайне, наверное; и — об этом я уже говорил — чувство особенной защищенности.

Полюбил я наши занятия!

Спрос на лабухов, как я начал догадываться, нынче огромен; он растет, и, видимо, каждый год в нашу школу принимают несколько новых групп, потоков. И это в Москве. А есть, кажется, такая же школа и в Ленинграде, и в столицах

союзных республик есть такие же школы. Поговаривают и о соц. странах. Что касается кап., кап. стран, то там копошатся свои службы по сбору ПЭ; и слышали мы такое, что мужскую часть нашей группы до нутра потрясло, хотя дамы наши только плечиками пожали: подумаешь, мол!

Слышали мы, будто та, что вырастает из-за океанского горизонта, поднимаясь над ним; та, что олицетворяет Америку, могущественные США, враждебность к которым нам, наяривая нас, прививают долгие-долгие годы, но привить почему-то не могут, та огромная медная статуя, та великая Мать-свобода, политическая свобода, заменившая в сознании современного человека Матерь Божию, она... Она тоже... Да, тоже, тоже... Понятно? Лабают ее, свободу! Ла-ба-ют, то есть некая американочка, мисс или миссис, положим, Смит, Джексон, Уоркер какая-нибудь на смену, на несколько суток (!) водружается на пьедестале, берет в руки факел и... Как наши противники этого добиваются? Как им достичь успеха изменения масштабов, выходящего за пределы каких бы то ни было возможностей человека, ибо ясно, что тут не Горький, не Маяковский и даже не дюжий Лукич, уменьшения коих никто до сих пор не заметил ни разу? Тут некое новое качество: мисс или миссис с факелом увеличивается в сотни, наверное, раз — наваждение, да и только! И ПЭ к янки струится сочная, чистая: летят в небесах самолеты; плывут по волнам корабли — глядят на статую и аборигены, и иммигранты. Они глядят, а ПЭ течет да течет помаленьку... Ах, узнать бы, как же это так у заокеанских воротил получается! Узнать бы! И нетрудно дотумкать, что над выведением этого секрета американцев много лет подряд работает здоровеннейший подотдел, возглавляемый, говорят, генералом. Но близок локоть, да не укусишь: американцы — болтуны просто-таки на редкость, а до каких-то сторон их жизни никто никогда добраться не смог. И того, что торчащая на самом краю обетованной земли здоровенная баба, начиная с последних лет XIX столетия, заменяет путникам Матерь Божию, никто допетюкать не может. А она заменяет, однако же!..

Много-много успел я узнать за наполненные новыми смыслами дни занятий в подземной школе. Лекции, семинары, презанятнейшие демонстрации: утверждают, что есть, например, такой спец — аж Лаокоона лабают, хотя трюк опасный: змеи в трюке участвуют на-ту-раль-ны-е. Оно, конечно, дрессированные змеюки, да к тому же и отвердители им впрыскивают, а все-таки... Да-а, интересно у нас, интересно до ужаса.

Сегодня занятия начинаются с лекции.

Лекции читаются разные. Один раз к нам даже приходил человек, до подбородка закутанный в черное покрывало. Был он в черных перчатках, в берете и в маске, натянутой на лицо. Назвал себя товарищем Ивановым, причем, хохотнув из-под маски, сказал, что эта фамилия у него настоящая. Чувствовалось, что голос он умело менял. Говорил он отрывисто, броско, интеллигентно; и весьма уважающая всевозможную солидность и благопристойность Лианозян прошептала: «Сразу видно культурного человека!»

Темой лекции Иванова была деятельность нашей психоэнергетической агенты в кап. странах. Это он, как раз он и рассказывал нам о подмененной свободе.

Рассказывая про статую Свободы, лектор Иванов сначала сыпал подробностями, отвлекался, но чем ближе к концу, тем все более и более озабоченно поглядывал он на часы, висевшие у нас на стене. Он увлекся, не уложился в регламент и начал спешить, уж мне ли не понимать его!.. Но кончил он все-таки складно: напомнил о гигантских горизонтах, открывающихся сегодня перед Психологической разведкой, Псир, намекнул на ее успехи. Несмотря на цейтнот, сделал выразительную мхатовскую паузу и душевно сказал: «Не исключено, что и американскую даму-свободу уже в следующей — слышите? — пятилетке будет лабать наша, советская девушка, и уж поверьте, что добытая ею ПЭ до последней капельки достанется нашей стране. — И потом, оглядев наших дам: — Начинайте с малого, с карнатид; после Озу немножечко полабайте, лабаньте Девушку с веслом в Центральном парке культуры и отдыха, республику какую-нибудь на ВДНХ подберут вам, а уж там, глядишь, вам и Венеру доверят или уж хотя бы Артемиду с собакой. А как знать, дорогие мои, как знать, может быть, вы, Ляжкина, или вы, Лианозян, и встанете однажды на са-а-а-мом берегу океана, а? То-то!» Дамы наши переглянулись, какая-то ойкнула: ничему мы не удивляемся здесь, в подполье, в маленьком нашем аиде, а все же... Откуда он, человек в балахоне и в маске, знает нас пофамильно, в лицо? А он усмехнулся и продолжал: «Вам на практику скоро идти, а там, оглянуться не успеете, и на работу пора подойдет. Так вот, пуще рака или, сказать более современно, пуще СПИДа бойтесь любви. О какой любви я вам говорю? Не о всякой, нет; вне работы любите кого хотите, это ваше личное

дело, и в него наше ведомство вмешиваться не может. А я о любви монументов к девицам или там о любви кариатид да античных богинь к случайным прохожим. Случай был, я уж вам напоследок выложу. Одна богиня в Летнем саду в Ленинграде — а какая именно богиня, информировать вас не буду, положим, Венера, Венус, — в постового милиционера, который сад караулил, втиралась по уши. И не выдержала, ночью — белой! — призналась ему. Чуть было у парня не поехала крыша, но очухался он, присмотрелся, стоит на пьедестале чувиха, натурально, в чем мама ее родила. И взыграло ретивое, как в песнях поется. Завязался у них роман; официально говоря, вступили они в интимные отношения. Регулярные, систематические. Здесь же, в Летнем саду: на травке; все равно, мол, никто по ночам на богов не глазет, ПЭ не идет, так чего церемониться? Непотребство одно. Неприличие, да. На исходе были белые ночи, но гулять охотники отыскались, сигнализировали в компетентные органы. Приехали сигнал проверять, а Венера с лейтенантом в траве-мураве развлекаются; хитрая девушка-имитатор при вливании отвердителя дозу понизила, так что все у нее получалось фирменно. Ух, какие тут драмы бывают! И мой вам совет: работаешь, так работай, а не то чтоб с девицами... Особенно если тебе удвоенное доверие оказали, направили на сбор зарубежной ПЭ; тут под видом любви бывают и провокации, потому что на Западе тоже не дураки, контрразведка у них налажена. На этом разрешите закончить».

Человек, отрекомендовавшийся Ивановым, заглянул в последний разок в конспект, свернул его в трубочку, зажигалку из кармана балахона достал. Огонечек вспыхнул: поджог он конспект и исчез, словно не было ни балахона, ни перчаток, ни маски, ни его самого — ничего и никого у нас в подземелье как бы вовсе не было. Но к таким исчезновениям мы уже попривыкли.

Я забыл сказать, что лекция товарища Иванова называлась академически полносезно: «Некоторые особенности и характерные экспессы зарубежного сбора психознергии подменными стилизаторами». После лекции с заключительными словами таинственного пришельца наш подземный пастырь Леонов, вскочивши со своего всегдашнего места, пробормотал: «Я, товарищи, нашего гостя провожу по традиции, а вы передохните пока...» Тут и ступевался Леонов. Мы же вышли в прихожую-холл, закурили. Лианозян предложила мне «Честерфильд», но я уже мят в пальцах свой всегдашний «Дымок».

— Да-а, — сказала Лианозян, мечтательно пуская под потолок сладковатую струйку, — а хорошо бы... это самое... с факелом... А глаза-то у Свободы сердитые, гневные, ух! — И она на минуту собрала мускулы лица в плотный узел, напряглась, подняв вверх красивую, сильную руку с сигаретой вместо всемирно известного факела. — Постояла бы я...

Я догадывался: в миру, вне предстоящей нам службы, романтической и трудной, Лианозян скорее всего актриса и актриса недюжинная. И сейчас догадка моя подтвердилась.

— Вы актриса, Лианозян? — в один голос спросили ее, словно прочитав мои мысли, и Лапоть и кто-то еще. Но армяночка наша только пепел с сигареты стряхнула:

— Не рекомендуется спрашивать. А про Свободу я совершенно абстрактно, так просто сказала...

— Почему же абстрактно? Ничего не абстрактно, очень умно придумано: завоем их ихними же силенками, ихней психознергией. Они, субчики, будут глазеть на свою свободу, пальцами в нее тыкать, зубы скалить, а энергия-то к нам потекет, в закрома Родины, как говорится...

— Тут, — Лапоть подхватил кого-то из наших, обвел рукою вокруг, — тут тоже не зазря денежки огребают. Планируют, калькулируют. Думаете, он нам все сказал, Иванов этот? Да он и вот столечко не раскрыл нам. — И Лапоть показал нам самый-самый кончик толстого пальца с изъеденным кислотой ногтем, а потом неожиданно печально добавил: — А вообще-то до чего же противно все!

— Канэчна, канэчна, и столэчка не раскрыл. — Это Лаприндашвили. — Испания знаешь? Мадрыд знаешь? Город Мадрыд памятник есть, Дон Кыхот на коне сидит, коня Росинантом зовут. Дон Кыхот, у них роман такой есть, как у нас поэма «Витязь в тигровой шкуре», герой там хороший челавак. Дон Кыхотом зовут. Так мне адын армянин гаварыл, мы на коня Росинанта нашего офицера посадылы, сидят уже много лет, ПЭ собирает, наше пасолства носыт...

— Да, далеко забрался мы!

— В Испанию, надо же!

И тут:

— Продолжаем, товарищи! Делу время, потехе час, продолжаем, монументики дорогие вы наши! Понимаю, лекция была впечатляющая, но поработать нам сегодня еще предстоит.

Гасим сигареты, двигаемся в классную комнату, рассаживаемся, громыхая стульями с зеленой обивкой. Семинар проходит вяло; девушки, в головки которых, как там ни отнекивайся, прочно запала мечта встать на берег Атлантического океана, взять в руки факел, лабать свободу, — девушки говорят невпопад, путают вождей революции, сбиваются; перечисляя групповые и одиночные монументы. На лицах то и дело проглядывает смертельная скука. Да и в самом деле так ли уж важно знать, сколько памятников великому Лукичу воздвигнуто в Витебске и какие из них бронзовые, а какие всего лишь из алебаstra (тема семинара «Памятники разряда А в городах и в населенных пунктах БССР»).

Но немного веселее проходит очередная демонстрация из серии «Мастерство антропологизированной стилизации произведений ваяния» — так официально называется то, что мы будем делать — лабать.

Начинается с освоения скульптурной группы, стоящей, как нам сообщили, в городе Хлебогорске — есть, оказывается, и такой город где-то в южных степях. Группа именуется бесхитростно: «В. И. Ленин беседует с крестьянином и рабочим». Скульптуры отлиты из алебаstra, фигуры, в рост человека, стоят низко, цоколь, как нам сказали, всего лишь 82 см, и это символизирует близость вождя к народу, к земле.

Мысль о близости Лукича к земле, разумеется, справедлива. Но всякий мало-мальски опытный лабух знает: нет ничего опаснее низеньких пьедесталов, потому что в этих случаях к монументу и карабкаться даже не надо, и все кому не лень начинают к нему приставать: один обниматься спяну полезет, другой написать что-нибудь норовит хотя бы шариковой ручкой на лбу, а некая девушка недавно поэту Есенину надавала пощечин на том основании, что какой-то земляк поэта, тоже поэт и даже член Союза писателей, стал ухаживать за ней, выразительно читал ей лирику приокского барда, клялся в любви до гроба, соблазнил ее и уехал, даже не попрощавшись, в Рязань. И она лупила Есенина, приговаривая: «Вот тебе, подонок, любовь до гроба! Вот тебе исключение из Союза писателей! Вот тебе, падало, моя девичья честь, невинность моя!» Лабух, которого несчастная лупцевала, едва-едва выстоял, и с тех пор не находится охотников, выражаясь на нашем жаргоне, «Серегу лабать», хотя дозу психознергии при всяческих экзекуциях лабух получает утроенную.

Словом, лабухам низкие пьедесталы не сулят ничего хорошего; но художественный совет Хлебогорска предложил ваятелю поставить Лукича и его собеседников пониже. В остальном же...

Изображен на монументе, натурально, Лукич: большой палец левой руки прославленным жестом заткнут в пройму жилета, а правая рука, десница, застыла, как бы протягивая что-то собеседникам; она словно яблоко держит, а на деле-то в ней пустота. Рабочий, в косоворотке, в сапогах до колен, оперся на молот с длиннющей ручкой. Крестьянину, говорят, намеревались дать в руки вилы, но потом их заменили косой, а вилы забраковали по той причине, что они напоминали о некоем бунте, а в лучшем случае — о горьком, саркастическом смехе: «Поддеть на вилы» — значит язвительно осмеять собеседника; «вилы в бок» — метафора убийства смехом. А тут — Лу-кич! Вилы, стало быть, заменили косой; но когда монумент уже обсудили и под плакуче-призывные звуки «Интернационала» водрузили на площади, известный всему городу кляузник, отставной полковник, написал в Хлебогорский райком обличительное письмо: по его наблюдениям, изваяние крестьянина, если взглянуть на него в определенном ракурсе, недвусмысленно напоминало о сказочной Смерти; к письму была приложена фотография, едва взглянув на которую, секретарь райкома по идеологии, как вспоминают, взвизгнул и, трижды перекрестившись, помчался на площадь. А там, вставши так, как подсказывала ему фотография, он увидел, что старуха Смерть и в самом деле нахально замахивается на бессмертного Лукича. Тою же ночью памятник сняли с пьедестала и вывезли в некое спецхранилище, а попросту говоря, в гараж, воздвигнутый во дворе райкома.

Но ломать изваяние не стали. Оно некоторое время пылилось в спецхране — небольшой городок Хлебогорск стал гордиться тем, что у него есть спецхран. Местного Фидия, что называется, ставили на ковер, тыкали ему под нос фотографию, на него орали, перемежая ор бесконечными упоминаниями о том, что нынче не те времена, а не то сгорел бы Фидий так, что и пепла не отыскалось бы. Наконец ему вынесли выговор за какое-то нарушение финансовой дисциплины, а секретарь-идеолог в частной беседе по-приятельски посоветовал ему как можно быстрее уматывать из района. Про монумент позабыли. Года через два, когда лишённые гаража автомобили стали ржаветь, скульптурную группу взялась закон-

чить жена местного ветеринара, учительница младших классов. Заполнив ряд необходимых анкет и пройдя у уполномоченного проверку на доступ к особо важным гостайнам, она просто-напросто отпилила крестьянину руку с косой, объяснив, что крестьянин мог быть искалечен на первой мировой империалистической войне и что Ленин несет ему мир. Объявление приняли и на цоколе написали: «...с крестьянином, искалеченным на первой мировой войне, и с рабочим». Без помпы, втихаря, темною южной ночью группу однажды выволокли из гаража и трех собеседников поочередно водрузили на пьедестал. Памятник привлек к себе сердца хлебогорцев и стал местной достопримечательностью. Как все южане, звук «г» хлебогорцы произносили приглушенно, и они говорили, что памятник в их городе установлен «орихинальный». ПЭ текла на крестьянина обильнее, чем на рабочего и на Лукича, и худо было одно: фигура оказалась не приспособленной для подмены лабухом, для стилизации, ибо одноруких лабухов в распоряжении КГБ припасено не было. «Девчонка одна есть, — сокрушался уполномоченный КГБ по области, — есть сучка одна, ее многие знают, спекулянтка, б... каких мало, а Венеру Милосскую лабаёт просто-таки ге-ни-аль-но; как заступает она на дежурство в горпарке, так вокруг изваяния толпа собирается, мужики останавливаются, глазают, исходит от нее чего-то такое, особенное... — И, почмокав суховатыми сиреневыми губами, стареющий чекист печально качал сединой. — А мужчин одноруких мы в штате не держим, до сих пор не требовалось, был бы хотя б один, уж мы бы...»

Всю историю хлебогорской скульптурной группы мы узнали потом, узнавали мы ее по частям, по доходившим до нас обрывкам: надо сказать, что при всей таинственности нашей подземной жизни и при всей секретности самого института стилизаций произведений ваяния пересуды, слухи, толки и сплетни и за пределами его, и в его границах процветают, и утихомирить их невозможно. На чужой роток не накинешь платок, и, оказавшись в тесном кругу кооптированных, человек, поначалу обалдев, а порою и перестав отличать скульптуру от реально живущих вокруг него собратьев его, вскоре входит во вкус ведущейся с ним игры. Естественно и желание его: сохранив свою уникальность, приобщиться к опыту своих коллег и соперников. Отсюда-то слухи, которые, как это ни странно, по большей части впоследствии подтверждаются. В виде отрывочных слухов дошли до нас и вести о злоключениях орихинальной скульптурной группы из города Хлебогорска, копию которой нам ныне и демонстрируют.

Высота пьедестала, установленного в нашем демонстрационном зале, легко регулируется: очень разумно, и к нам, стало быть, можно привозить только лишь изваянные фигуры, не волоча вместе с ними громоздкие и тяжелые кубы и цилиндры. Эти кубы и цилиндры стоят на своих местах в городах, на обочинах разбитых российских шоссе, в музеях, в зелени парков и скверов. На них возвышаются наши старшие товарищи, а попросту — лабухи. И бывает: где-нибудь на площади хмурого зимнего города свистит ветер, бушует метель, редкие прохожие трусцой трусят по домам, спрятав лицо в воротники, а лабух стоит да стоит на своем посту, съезжившись, ссутулившись Ф. М. Достоевским, задумавшись А. С. Пушкиным или стремительно, азартно шагая вперед В. В. Маяковским. Он, бедный, торчит на ветру, а у нас тут тепло, уютно, чисто, светло, и перед нами медленно вращаются подлинники монументы, те же Маяковский, Пушкин и Достоевский. Мы подходим к монументам вплотную, рассматриваем каждую складочку их одежды, каждую морщиночку на их утомленных лицах: все надобно нам помнить, все знать. А потом и мы, еще очень робко, балансируя, будто канатоходцы, друг за другом взбираемся на пьедесталы. Нажатие кнопки, жужжание электромотора, и нас возносит на многократно промеренную высоту, одних повыше, других пониже. «Теперь позу, позу давайте!» — командует снизу неутомимый наш пастирь; и надо неспешно заложить руку за борт сюртука, как Пушкин, опустить очи долу и грустно задуматься. Лабасть Повесу (на жаргоне и в служебных шифровках А. С. Пушкин зовется Повесой) у меня уже иногда получается. А теперь чего от нас требуют? Кого из изваянной хлебогорским Фидием троицы предстоит нам лабасть? Лукича еще сможем, сможем и работу, а с мужиком-то как быть? Не отдашь же на ампутацию руку!

Скульптурную группу подняли на положенные 82 см, потом опустили: площадка пьедестала оказалась вровень, заподлицо с бетонным полом демонстрационного зала. Мы подошли, поглядели. Лианозян близорукая, а очков не носит: то ли стесняется, то ли боится привыкнуть. Рассматриваем копию хлебогорского монумента. Лианозян подошла вплотную к калеке-крестьянину, а свою сумочку на длинном ремне машинально повесила на руку Лукича. Крестьянину она поглади-

ла плечо, коснулась алебастровой культи, прошептала: «Бедняжка!» А в это время: «Лианозия!» Обернулась — Леонов аж малинов от гнева, заходится, просто-таки брызжет яростью, заикается: «Лиан... но... ээзя, это с-с-самое... сумка... с-с-снимите!» Ох, и правда, нехорошо получилось: что Ленин ей, хахаль какой-нибудь, что ли, чтоб сумку за ней носить? Бросилась наша актрисочка к сумке, а иначе трудно сказать, во что бы ей непочтительность обошлась.

Демонстрационные залы нашей школы огромны. Полагаю, что они тянутся один за другим, анфиладой вдоль всей Мясницкой, составляя часть теперь уже более или менее полно описанной подземной, потаенной Москвы. За залами располагаются склады, подземные конюшни, помещения для геральдических львов, ибо мраморных и алебастровых зверюг, сидящих у парадных подъездов старинных особняков, иной раз тоже, оказываются, лабают; и играют, стилизуют их живые, настоящие львы, дрессированные, напичканные транквилизаторами и отвердителями. А коль есть конюшни, львятник и даже, как мне рассказывали, курятник, есть и соответствующая обслуга: конюхи, птичники, дрессировщики и огромный штат ветеринаров опять же. В общем, за дальними воротами нашего демонстрационного зала расположено какое-то подземное царство.

Сие царство преподносит начальству сюрпризы — один за другим. Оно и понятно: от ретивых коней, от львов да от глухих кур, как ни старайся, все же не добьешься того послушания, к которому год за годом приучали людей, одних терроризируя, шантажируя, обещая другим утоление терзающего их любопытства, льстя третьим и всех награждая дефицитными лакомствами, модной одеждой и, конечно, командировками за границу для выполнения там довольно деликатных заданий, вплоть до...

Впрочем, помолчать бы надо. По-мол-чать, потому что и без того приоткрыл я немало секретов...

Помолчать бы да о душе подумать...

Вот-вот, буквально на днях я должен принять решение, ответить, согласен я или нет.

Смолевич клянется, что за мною остается право не согласиться: 33-й отдел, да что там отдел, все управление сотрудничеством со мною довольно, сам начальник управления, генерал-лейтенант, изумлен количеством и качеством ПЭ, которую я добываю. Башли я стал огребать такие, которые прежде мне и во сне не снились, а лабаю я уже совершенно свободно: начал я с драматурга Островского, а потом я и Карлушу лабал, и Облако в штанах, Маяковского. И Буревестника, Горького. Насыщается и любопытство мое: я и жизнь обывателя вижу в таких ракурсах и аспектах, в которых, не связки я свою судьбу с 33-м отделом, я сроду бы ее не увидел; я в тайны государственного механизма проник, вплотную к ним прикоснувшись. Но меня — меня осенило теперь! — заманивали все дальше...

Да, хотелось чувствовать себя защищенным. Получил ли защиту? Вроде бы, легко стало, хотя все еще прорываются в мой мир обступившие меня глупые лярвы, лезут в уши; но уверенность в себе они, кажется, потеряли. Они мечутся. Суетятся. Разменялись они на анонимные писульки, которые Люде подбрасывают; а недавно они снова в квартиренку мою залезли, утащили два номера журнала «Москва» с «Мастером и Маргаритой» Булгакова, облигации, коробочку с копеечными монетами. Мелковато! Значит, все-таки их союз дезорганизован, и защиту я обретаю. А ее-то я и искал.

И еще я искал утоления любопытства. Мне хотелось проникнуть в КГБ изнутри — так, как никогда не сможет проникнуть в него простой обыватель, рысцей пробегающий мимо гигантского дома в Москве, на Лубянке. Не важно даже, на какую глубину я проник туда; важно, что я все же туда проник.

Итак, любопытство. Любопытство мое насыщается, и не в каких бы то ни было фактах пикантных тут дело. Я увидел реализацию принципа, только лишь намекающегося: союз тоталитаризма с оккультизмом, бюрократизма и магии. Бюрократу всегда недоставало опоры в бюрократической власти. В XX столетии политика и магия вернули себе утраченное единство. В тридцатые годы в Германии оно осуществлялось еще примитивно, кустарно. Приблизительно с начала двадцатых годов к тому же шло и у нас. Война со всеми ее разрушениями, термоядерное оружие или террор — отвлекающие маневры. Вонави прав в одном: началась парансихическая война. Вернее же так: она шла давно, с библейских времен, но к середине XX столетия она выявила себя, ее стали вести едва ль не в открытую.

Смолевич подчеркнуто деликатен, но он поторапливает...

О, неужели я соглашусь? И не посоветуешься ни с кем, запрещено мне советовать: тут утечки информации быть не должно никак. Самому все надо решить.

Но я забегаю вперед; хронограмма моя опережает события. Возвращусь-ка к началу, к занятиям в нашей УГОН: пока Боря Гундосов, как вскорости выяснилось, покорял не подвластное человеку время, я спускался в тоннели центра Москвы, аккуратно приходил на уроки.

А Леонов уже тут как тут:

— Семинар у нас нынче будет необыкновенный, товарищи! Пройдем в демонстрационный зал, туда, где Лукичи... гм, да... В общем, где Лукичи перед вами... вибрировали. Но сегодня не Лукичи, а скорее наоборот. Может, страшно покажется, но вы же храбрые, да и меры безопасности приняты все. Как, Ляжкина, приняты меры?

Леонов и Лидия Ляжкина после памятного случая подружились: пастырь наш оказался не лишенным одаренности педагогом; началось с того, что, разговаривая с девочкой, он стал от души, обаятельно улыбаться. Потом начал поручать ей какую-нибудь работу, для которой требовалось его особенное доверие: никому не доверяет, а девочке доверяет. А много ли надо девочке? Она, кажется, начала привязываться к суровому шефу, во всяком случае, она смотрела на него прозрачными, ласковыми и почему-то умоляющими глазами: так смотрят на мужчину, которого умоляют не уходить из семьи. И одна из дам-кариатид уже произнесла однажды с чисто женской многозначительностью: «А Лидочка Ляжкина к нашему лидеру неровно дышит, заметили?»

В тот метельный январский вечер Ляжкина пришла часа за два до начала занятий, в демонстрационном зале трудилась: что-то там убрала, помогла расставить. А сейчас она стояла у дверей ведущего в зал коридорчика, улыбалась. В ответ на игривый вопрос Леонова тихонько кивнула: да, меры безопасности приняты.

Идем коридорчиком; как всегда, гуськом друг за другом. Вошли в зал, озираемся. В почти полной темноте неуверенный голос с кавказским акцентом:

— Ничего из! понимаю, зачем зоопарк под землей?

— Ой, и правда! — Это кто-то из девушек, Люциферова, кажется: говорит она низким контральто, у нее тяжелые, красные руки прачки. Кажется, попала она сюда по знакомству: папа ее — член какой-то высокопоставленной коллегии, возможно, что и коллегии КГБ. Оказывается, даже для того, чтобы несколько часов в месяц в виде кариатиды или Зои Космодемьянской на морозе или под дождем проторчать, нужны связи, вульгарный блат. И богинь античных, мне говорили, все-то больше по блату лабают генеральские дочки да внучки; раздеваться, оказывается, им очень и очень нравится, сбор психозергии у них гарантирован. В Ленинграде, конечно, не сахар: настоишься в Летнем саду, натерпишься всякого. А в Москве все больше под крышей, в музее: чисто, тихо, тепло. Плохо, что ли? Но для этого нужен блат, и немалый.

Люба ойкнула, а Леонов в ответ хохотнул:

— Зоопарк? Ух ты, догадливые какие! По запаху догадались, что ли?

Вспыхнул свет. Был он мягче, чем в прошлый раз, когда здесь, в просмотровом зале, плясали разудалые Лукичи; с потолка, из-за балок, лился поток лучей.

Мы замерли. Мы, оказывается, стояли на возвышении, как бы на небольшой эстраде. Тесно: впереди нас ограда из стальных серебристых прутьев, прутья плавно изгибаются вверх, они загнуты внутрь ограды. Над головами тоже ограда: мы как бы в клетке. Девушки щебечут, и сходство наше с птичками в клетке становится от этого уж совершенно явным.

Мне Лиана Лианозян шепотком:

— Что ж, выходит, попали мы все-таки в подвалы ЧК?

А Леонов:

— Всем стоять на местах, выхожу только я! — И, открыв незаметную дверцу в ограде, калиточку, чуть пригнувшись, выходит из клетки. Решетчатая дверца за ним защелкивается. В руке у него всегдашний его инструмент — пластинка с кнопками дистанционного управления. И еще откуда-то взялся хлыст — тонкий, гибкий и длинный. Никто ничего, разумеется, не сказал, но я уверен, что многие внутренне вадрогнули и мелькнуло чудовищное: «Для кого этот хлыст? Неужели...» И у каждого черной искоркой проскочило: «Не для меня ли?» Люциферова даже отмахнулась от этой мысли, как от мухи отмахиваются.

А Леонов:

— Му-зы-ку!

Заиграли марш Дунаевского из давней кинокартины «Цирк». Луч прожектора упал на противоположную стену, едва различимую вдалеке. Широкие ворота в этой стене неторопливо раздвинулись, что-то там, вдалеке, сверкнуло.

Марш нарастал. Мирная популярная цирковая мелодия здесь, в подземелье, звучала по-сатанински, захлебываясь, беснуясь.

— Ой, — прижалась ко мне Лиана.

Издали, от противоположной стены, к нам приближались лошади. Впереди вороной буффал, скорее всего, жеребец: опущена голова, пышный хвост помахивает туда и сюда.

За ним четверка золотисто-рыжих, квадрига.

И еще жеребец — тяжелый, окованный латами. «Па-па, — мелькнуло в памяти, — а мы с тобой пойдем в тот музей, где есть рыцари?» Ага, понимаю, в чем дело: нам сегодня показывают анималистические объекты, животных, оттого-то и пахло в зале зверинцем. Мы с Васей своим любили ходить в Музей изящных искусств, а там, как известно, едва лишь войдешь, громадина-рыцарь стоит на лошади.

А лошади шли, взрывая песок копытами: жеребец, что под Юрием Долгоруким; жеребец из музея, построенного батюшкой поэтессы Марины Цветаевой. И с кровли Большого театра квадрига.

Кукарекнув, взвился, залетел петух. Где такого нашли? Кило десять, не меньше. Золотисто-красный, веселый. «Такому, — подумалось мне, — клюв не так-то просто будет срубить, такой петел за себя постоит!»

— Постоит, — шепотком мне подкакнул Леонов: прочел мою мысль, уважаю. Не фанфаронит, не хвалится, гуру из себя не строит, а мысли читает!

— Есть такое дело, читаю, — улыбнулся чуть-чуть, будто бы прося извинения. — Но не все мысли, а только те, что касаются нашей работы. А гуру... Если вы о том же гуру, которого я имею в виду, то... Об этом потом, а сейчас глядите, глядите!

Я гляжу, а руку Лианы, оказавшуюся в моей руке, не отталкиваю. И мы, лабухи, кооптированные исполнители ролей монументов и памятников, собиратели психоэнергии, восторженно ахаем: шествует хрюк-кабан — гора, туша мяса. Это знаменитый хрюк с ВДНХ, он когда-то бронзовел у скотоводческого павильона. Говорят, его изваяние копирует доподлинного кабана, точно такой же величины; но живой прототип изваяния, надо думать, давно сожрали, зато бронзового дублера на пьедестал возвели. То-то ПЭ насбирал!

— А что ж, — говорит Леонов, — и насбирал. Любуются на него, дивятся, прикидывают, сколько бы из него получилось сосисок, а ПЭ и течет.

— И не брезгуете?

— Чистоплюйство, — назидательно поднимает палец Леонов. — Партия навсегда от него отказалась: мелкобуржуазное чистоплюйство. По метакимическому составу, по структуре ПЭ одинакова, что с Аполлона Бельведерского, что с хрюка. На него значительная часть населения, граждане еврейской национальности да татары, узбеки разные поглядят да и плюются, бывает, пережитки суеверий иудейско-исламских, а нам-то и ладно. Нам без разницы, все собираем, все народу на пользу идет: и сосиски, и ПЭ получаем. А в общем давайте смотреть.

Мечется по демонстрационному залу петух, то на голову лошади сядет, то хрюку на жирюющий хребет.

— Петушок, петушок, золотой гребешок!

— А он кукарекать умеет?

А Леонов отошел от нашей серебряной клетки. Когда он со мной перешептывался, было немного смешно: я-то в клетке, за прутьями, а он по ту сторону ходит-покачивается, то подальше отойдет, то вплотную приблизится.

В нашу сторону:

— Попрошу внимания, девушки! — И куда-то в глубь зала: — Собачек я попрошу, собачек, собачек давайте!

Отверзается люк в полу, выскакивают собаки: живой памятник опытам по физиологии.

— Кариатидочки, а знаете ли вы, где собаки бронзовые стоят?

— В Колтушах, возле Института академика Павлова, да?

— А еще? Ладно, после об этом, успеется... А сейчас... Ну-ка, Ляжкина, ну-ка, скомандуй! — И сует свою пластинку с кнопками через прутья решетки нам.

Ляжкина — сама важность. Но пластинку берет еще неуверенно, нажимает на кнопки осторожненько. А потом произносит — отчетливо, хотя и преодолевая волнение:

— По-про-шу зоообъект ээ-один. Ээ-один попрошу!

Ти-ши-на. Настороженно подняли благородные морды лошади, неподвижно застыл петух. Издалека глухим громом раскаты рычания доносятся.

— Это львы! — выдохнули мы в один голос.

Златогривые, с аристократическим скучающим выражением на физиономиях, важно шествуют львы. Один... два... четыре... восемь...

Львы на воротах
И стан галок на крестах, —

вспоминается мне из «Евгения Онегина» — вот бы Гамлет меня похвалил!

Да, попали мы... Будто бы в книжку басен Крылова Ивана Андреича мы попали: и петух, и собаки, и коняги, а тут еще львы!

— Наши главные добытчики, — мурлычит растроганный пастырь. — Кошечки наши милые, ах вы, лапочки. Цари зверей. А-а, да что там, давайте работать, потому как у нас и цари работать должны. Аллэ, Левушка!

Лев, ближайший к Леонову, плетется к одной из стоящих вдоль стенки тумб, прыгает на нее, застывает, положивши грустную голову на лапы.

— Генка, номер второй, аллэ!

Лев поменьше прыгает на соседнюю тумбу. И еще, и еще: и уже на всех тумбах по льву.

— А теперь и лошади, ну-ка! Аллэ!

Квадрига вздымается на дыбы. Вздымается, застывает, поднявши копыта.

На наших глазах происходит чудо: львы каменеют, шерсть их, утрачивая натуральную шелковистость, становится мраморно-глянцевитой. Мертвеют глаза. Слепые, они устремляются в необъяснимую даль. Только что на львов кони косились, ушами прядали. А теперь они рядом со львами и — ничего — успокоились.

— Атвердитэл?

— Угадали, Лаприндашвили. Отвердитель. Новый испытываем, венгерский. PQ-18. Пэку, леший их знает, что бы это по-ихнему, по-венгерски, значить могло. Однако смотрите!

Окончательно застывают лошади. Львы бронзовеют, погрузились в мраморный транс. Застывает, распростерши крылья, петух. Хрюкнувши напоследок, костенеет кабан.

— Сейчас мы покажем вам весь процесс приготовления зоообъекта, — возмущает Леонов. К нам через прутья клетки руку просовывает, выхватывает у Ляжкиной пластинку свою, нажимает одну из кнопок. — Сергей Викторович, Леонов докладывает, готово!

Как, сюрпризы не кончились? Из дальних ворот появляется колесница. Ее катят несколько солдат, синюют околыши знакомых фуражек. Колесница тяжелая, солдаты войск КГБ уж такие здоровяки, а лица их покраснели, глаза выкатились. Тяжеловато им. Тяжко.

А на влекомой солдатами колеснице...

— Халтурщики, — ворчит наш Леонов, — слышите, колесница скрипит? Опять смазать забыли, никогда не добьешься порядка. Уж я им задам!

А на колеснице в лавровом венке, горделиво поднявши голову, едет Феб, Аполлон. Незрячи его широко открытые всевидящие глаза, свободно простерты руки.

Солдаты подкатывают колесницу к квадриге. Слышно, как они переругиваются:

— Справа цепляй, мать твою...

— Осадил бы маленько...

— Хвост-то, хвост подбери, муди..!

Наконец колесница прицеплена. Все честь честью: застывшая четверка коней, за ними колесница, на колеснице же — бог.

— Здо-брово! — восхищаемся мы.

— Да, чистая работа, нам так слабо, — говорит кто-то, имея в виду, по всей вероятности, Аполлона. — Нам с вами так и минутки не простоять.

— А львы не... Не проснутся ли?

— Спокойствие, — уверяет Леонов, — ни один объект не проснется, проверено многократно. Желющие могут пройти сюда. Леонов открывает калитку. Делает приглашающий жест. В калитку ныряю я, за мною — Лиана Лианозян. За ней —

Лаприндашвили, Ладнова, конечно же, и Ляжкина тут как тут. Больше желающих нет.

Подходим ко льву. О том, что он живой, догадаться можно только с большим трудом, уже зная, в чем дело.

Лошади. Застыли добротнo. Застыл Аполлон, и радостно узнавать в нем... Ах да, снова Сережу, Сергея свет Викторовича! А он грациозно соскакивает с колесницы, смеется:

— Привет! Решил стариной тряхнуть, лабануть. Что, неплохая работа? А отвердителя, между прочим, ни капли. Ах, кооптированные вы наши сотрудники, что-то, смотрю я, кое-кто из вас загрустил. Дай, думаю, развлеку, подниму настроение людям, лабану бога. А товарищ Леонов не рассердится, так я думаю. Не рассердитесь, а, Леонов?

И Леонов смеется:

— Никак нет, и мысли такой не держу. И уж прямо скажу: хорошо у вас получается. Хорошо, товарищи, да?

— Хорошо! Хорошо! — гудим мы без тени лукавства. — Еще как хорошо-то!

— А у вас как дела? — розовеет Сергей. — Кандидаты на Феба имеются? Или так, Лукичи одни?

Леонов осторожен:

— Полагаю, что придет время, мы и Феба сработаем. А Лукичи, они что же... Тоже работа, ежели с умом подойти. Да сами знаете, Сергей Викторович, сами и знаете. Да что ж мы стоим-то? Чудно как-то.

Оно и вправду чудно: вовсю горит мягкий зеленоватый свет; и кони застыли, и кабан, и петух. Застыли и львы. В зале — мы, те, кто набрался храбрости выбраться из-за прутьев; а за серебристой решеткой — наши товарищи.

— Свет прошу погасить, — командует Леонов, нажимая кнопки на своем маленьком переносном пульте. — И солдаты свободны.

Солдаты уходят, топая башмаками по доскам арены. Мы ныряем в калиточку, выходим из клетки: все вместе — и Леонов, и Сергей-Аполлон, и мы, лабухи.

Отворяем дверь коридорчика и гуском в свою классную комнату, уже обжитую.

Так неслись мои вечера и дни.

Ох, вприпрыжку неслись они, голопом, аки кони лихие, приближая иных из моих героев к неожиданной и веселой свадьбе, а иных к трагедии в духе, право же, трагедий античности. А меня?..

Кто же знает, к чему приближает нас необратимое время?

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Боже, Господи, да что же случилось-то? Что случилось, произошло?

Силы тайные уже вовсе и не скрываются, все ломать принялись, хохот ихний, хихиканье я порой вокруг себя слышу. Наступление их туманно предчувствовал и гуру Вонави; он назвать их не мог, он в определениях путался, но он что-то угадывал: был и ум у него прирожденный, и не зря же все-таки его посвящали во что-то в Теберде, в высоких горах. Нечто знал он, не умея выразить своих знаний и к тому же завышая свои возможности. Там, где надо было втихомолку догадываться да помалкивать в тряпочку, принимался вещать, взгромоздившись в полосатых носках на продавленный свой диван: монумент, да и только. Слесарей увенчивал императорскими и графскими титулами, во все тяжкие пустился: аж хотел родить себе дочь, ее, дочку, сделав своей прапрабабушкой. Донгрался, болезный! И сам горя хватил, и своих учеников с панталыку сбил. Побывал поновой в Белых Столбах, а теперь исхитрился, принялся за детишек: где-то якобы ползает, лечит их души. А кругом монументы рушатся, люди мечутся неприкаянно да слова выкрикивают: «телекс», «факс», «спонсор» и «менеджер».

Долго-долго гуру в скорбном доме томился, под Москвою: Белые Столбы называется поселение, огороженное, как водится, высоченной стеной да еще и с колючей проволокой, по верху накрученной. А клеветы его, его креатура. Сироб-Боря, Яша, Буба, девушка-ангел? И Катенька, Катя?

Разбредились кто куда. Расташила их жизнь; кто к добру и к большущей удаче приблизился, а кто — к худу. Но самое страшное — с Борей.

Нож, понятно ли?

За что, в частности, не люблю я романы, романы как жанр, так это за нож. За ножи: непременно они в романы вползают. Будто сами собою вползают, вопреки намерениям романистов: может быть, и не хотел романист, а уж непременно окажется так, что вклинится нож в его праведное сочинение, хоть во сне каком-нибудь, да непременно герою привидится.

Начал Пушкин в романе «Евгений Онегин»:

Спор громче, громче; вдруг Евгений
Хватает длинный нож, и вмиг
Повержен Ленский...

Как схватил герой произведения Пушкина длинный нож, так его и не выпускает из рук вереница его преемников: они нож передают друг другу, как спортсмены-спринтеры эстафетную палочку; и бегут, бегут с такой эстафетой из романа в роман. И Булгарин тут, у которого героя даже зовут Ножовым (Пушкин над такою прямолинейностью издевался, а его заклятый враг, между прочим, пронизательно обозначил закономерность, коей века на полтора хватило). А затем пошло да пошло: тут и Лермонтов с «Героем нашего времени», у него разбойник Казбич Балу, горянку, зарезал ножом, кинжалом; Достоевский, конечно, со своим блатным Федькой из «Бесов»; «На ножах» Лескова и далее, далее — до смешных «Двенадцати стульев» Петрова и Ильфа, до Булгакова с его «Мастером и Маргаритой».

Не обходится роман без ножа. Я давно уже понял, почему же именно нож назойливо вползает в роман и зачем он там нужен: с момента возникновения своего роман противостоит эпосу, налицо здесь столкновение двух типов восприятия жизни — эпического и романного. Нож в романе — пародия на... эпический меч. Сплошь и рядом священный, заговоренный, соединенный с крестом (на изящных швейцарских карманных ножах, кстати, тоже гравирован крест: это память, сопрягающая младшего брата со старшим). И в контексте конфронтации романа и эпоса нож, конечно же, чрезвычайно значителен.

Но записки — жанр мирный. Я согласен: аморфный, но всего прежде именно мирный. К международной борьбе они никакого отношения не имеют. И, однако же, нож оказывается орудием, посягающим не только на героев моих записок, но и на сам жанр, для меня посильный: нож, он словно бы режет мои записки, норовя сообщить им хоть что-то романное. Он мелькает то здесь, то там, волооча за собою и другие элементы романа; и роман у меня как бы сам собой иногда получается: жанр, возможно, бывает сильней говорящего, пишущего. И в судьбе гуру Вонави-Иванова пробивается что-то романное.

Вонави-гуру давно под подозрением был, был зарегистрирован и состоял на учете в нервно-психиатрическом диспансере. И тут — надо же... Что-то мерзкое в его школе Ста сорока четырех великих арканов случилось. Что-то скверное. С девушкой-ангелом анархист один, кандидат в Ивана Грозные, да Буба, Гай Юлий Цезарь, мерзостно поступили; все вульгарно было, на чердаке: подобрали себе в компанию каких-то проходимцев, бомжей; всемером и приобщили пришлицу из миров иных к земной жизни. Ангел-девушка оклемалась и — в отделение, а уж там на всю шарагу гуру Вонави давно глаз положили. Анархиста с римским императором замели и, хотя гуру в их акции и не думал участвовать, с милицейской прямолинейностью смекнули: от него-то все и исходит. Да, он был под надежной защитой: у него была спасительная справка о том, что он состоит на учете, его даже в качестве свидетеля не допросишь. Не допросишь — не надо: за гуру в одночасье приехали, как уже приезжали однажды: «Перевозка больных» с зарешеченными окошечками, санитары в неопрятных халатах; новые санитары, а не те, которые были однажды. Но методика устоялась, и все санитары для всех недужных затвердили одно: «На футбол поедом, дорогуша! Футбол будем смотреть!» Вонави футбола терпеть не мог, почитая его, как и прочие спортивные зрелища, лишним способом выматывания людей, выжимания из них соков душевных. Но сопротивляться не стал. Успокоился как-то, собрался внутренне.

Санитары топтались в дверях, потирали плечи. А бедняжка Вера Ивановна спешно складывала в хлорвиниловые пакеты пожитки: голубые кальсоны чистые, мягкие тапочки, полотенежки, мыло да покушать на первое время, огурцов неизменных, в кулечек — вареной рыбы. В санузле совмещенном схватила было флакончик одеколона, присоединить хотела к огурчикам; санитар постарше руку ее отстранил и сказал: «Не положено!» Она вскинула брови недоуменно, он лениво ей пояснил, удостоил: «Ваш-то, может, и трезвенник, не употребляет, а вообще пьют его... Пациенты наши, бывает, пьют...»

А другой санитар: «И посуда стеклянная... Осколочки, мало ли что случается...» Оставалось: зубную щетку; и опять же: пасту нельзя, из нее больные месиво химичат какое-то, тоже пьют и балдеют. А зубной порошок — дефицит, позабыли, как он и выглядит. Так, со щеткой, неизвестно зачем уложенной, да с электрической бритвой «Харьков» и уехал гуру. Успел Катю в щеку поцеловать; она вышла из кухни в ладном передничке: щи варила с убойной. Даже хныкнул, покаянно выдавив из себя: «Ты уж меня про... прости!..» И последовал за санитарями. И назначено было ему смотреть долгий-долгий футбольный матч: «Левый край, правый край, не зевай!..»

Через час по отбытии гуру на футбол о визите к нему знали... Кто? Все соседи по дому — знала дворничиха, продавщица из белого магазина, их мужья и любовники: «Колдуна-то в психушку забрали... давно пора... А баба-то, баба евонная... убивается, чай... Ничего, проживет, квартира двухкомнатная...» А из русских йогов кто знал? Понячу немногие: анархист и Гай Юлий Цезарь томились в узилище — групповое изнасилование, это вам не хухры-мухры. Оставались новички, шушера разномастная, — те шушукались, даже злорадствовали. Яша был в Ленинграде; ездил в ночных экспрессах да где-то в городе на Неве и застрял. Оставался Боря — Борис-Сироб: по счастливой случайности, а вернее, по зову предопределения, потому что случайностей в жизни нет; он примчался к Вере Ивановне через час-другой по отбытии дорогого учителя: добыл Катеньке паспорт. Все путем: Романова Екатерина Дроновна, год рождения — не писать же было 1780-й — подобрали подходящий, поближе... русская... За прописку особо пришлось отстегнуть — чудно: дорожке паспорта обошлась; но опять-таки ништяк, ничего: «Прописана временно... Просп. Просвещения, д. 9...» Исхитрились оформить Катю как лимитчику, лимиту.

Боря мчался на демонических своих «Жигулях», грязь разбрызгивал, а дело-то шло к весне, и летела из-под колес зловредная грязь. Хрен с ней, с грязью: душа пела, — и на тебе!

— Боря, ваше сиятельство, граф. — Это Вера Ивановна встретила счастливец в прихожей. — Боренька, забрали его!

Ярость алой волною хлынула откуда-то из-под сердца. А ему:

— Мы вдвоем тут с Катюшей остались. За ним и приехали...

— «Волга»?

— Нет, какая там «Волга», из психушки приехали, взяли...

И не плачет, не плачет: сильная женщина, русская.

— Ты останься у нас, хороший ты наш! Переспи, утро вечера мудренее.

Пили чай, на осиротевшей кухоньке сгрудившись: Боря, Катя и супруга гуру. Потом Катя с Верой Ивановной стелили Боре, графу, постель в кабинетике, на диване. Всё дышало гуру: на столе у окна рукописи начатой книги под названием «Аум!», ненадеванные ботинки, на спинке стула пиджак.

Боря свет погасил. Луна с наглой любознательностью заглядывала в окно, освещала проспект Просвещения. «Луна хохотала, как клоун», — вертелось в сознании. Ей еще бы не хотеть: на Луну отправляют евреи энергию, снятую с русских людей, в этом смысле и пьют они христианскую кровь; не буквально же пьют, гуру научил истолковывать хотя бы простые индосказания. На Луне — хранилище ПЭ: евреи устроили. КГБ, конечно, конкурирует с ними, с евреями, но работа там грубая, примитивная: собирают с размахом, а хранить не умеют — как в совхозных зернохранилищах ячмень да пшеничка гниют, так в секретных накопителях ведомства иссыхает, выветривается ПЭ. И еще ее собирает кто-то... Люди странствуют по свету, люди работают, любят, детишек рожают и не знают, не ведают, что за души их битва идет, драка, свара вампиров, вьющихся вокруг них. Что евреи? Золото копят? Да г... это золото, оно ценно только в той степени, в которой на нем остаются слезы: следы. Следы слез и молитв, преступлений, страданий, крови; что Пушкин прекрасно знал, все сказал в монологе Барона в трагедии «Скупой рыцарь». Посвященным был Пушкин, да только не удержался, болтал много, его и убрали. И не в золоте дело, все проще: евреи — дантисты, урологи, гинекологи, венерологи. Медики самых деликатных специальностей. В урологи, что ли, пойти? В венерологи? В онкологи можно: тут и стыд у людей, и надежды. Тут молитвы, мольбы: люди маются и сами не знают, что не столько к Богу летят их моления, сколько к урологу. И энергия с них и струится, не теряйся, собирай ее, насыщайся духовною кровью! И потом — на Луну! Исполните ли опять же они, евреи. Композитор музыку написал, а скрипач играет ее. Люди слушают, дыхание затаив. А кому же идет энергия? Композитору? Не смешите меня: скрипачу, исполнителю она достается. А гуру — что хотел? Гуру — гений!

Он сверхгений. Он хотел освободить людей от энергетической подати. От оброка, от барщины. От энергетического ясака. Мир построить гуру хотел так, чтоб не шла энергия ни-кому. Ни попам, ни евреям, ни КГБ, ни каким-то таинственным силам, собирающим ее в том кругу, где вращается Маг. Если б каждый — каждый! — оставлял свою энергию при себе, делясь ею исключительно добровольно, по своему усмотрению, никому не отдавая ее, ни империи, ни вампирическим демократиям... О! Пусть бы каждый жил по любви. А любовь — это что? Это добровольная отдача психоэнергии ближним своим. Доб-ро-воль-на-я! Потому что энергию нельзя отчуждать у людей ни силой, ни хитростью, ни обманом. Гуру — новый Иисус Христос. Он сильнее Христа, потому что определеннее: не темнит, не напускает тумана.

Не спалось. Посылал Боря Яше сигналы по ментальному плану, да чувствовал: не доходит сигналы. Было сделано заграждение где-то возле станции Тосно: оккультисты с Невы по каким-то своим соображениям изолировали город на время. Ах, пакостники!

И слагался у Бори план, и жестокий, и фантастический. А слагался он потому, что подопечные Вонави отличались удивительным незнанием жизни. Суетливой и пошлой, но упрямо-реальной.

Уж, казалось бы, тот же Боря. Он огонь, и воду, и медные трубы прошел. Служил в армии где-то на Крайнем Севере, чуть ли не под Верхоянском; полюс холода там и морозы под 70 градусов. По Москве вертелся таксистом. А его СТОА-10 — энциклопедия русской жизни: ковыряясь в яме, слушаешься, насмотришься.

Но и Яша, и Буба, и Боря-Яроб рисовали в своем воображении и далекое прошлое, и современную нашу реальность как картинную галерею, ряд живописных полотен. В центре каждого из полотен непременно явлен кто-нибудь из их школы: на одном полотне сам гуру восседает на полутроне, окруженный толпой представителей благодарного человечества, улыбается, глядя на освобожденных им обывателей; на другом — демонический Яша распоряжается воздвижением какого-то светлого храма...

А далее...

И стала в полусонном сознании Бори слагаться картина: он, Боря, произносит громоподобную гневную речь; он, обращаясь ко всему человечеству, вызывает к правде; он — кто-то вроде Иоанна Предтечи. То саркастически хохоча, то переходя на патетику, то с неумолимой логичностью рассказывает он о гуру. О миссии его. О его гениальности. О той свободе, которую он несет человечеству.

И — вспыхи блищей. Стрекочущие телекамеры. Звукотасывающая аппаратура. И тянутся, рвутся к Боре прозревшие репортеры солиднейших заокеанских, европейских и австралийских газет; среди них и прехорошенькие телки мелькают — экзотика!..

Вскоре после путешествия в XVIII столетие со своей СТОА-10 Боря сбегал: уволился. А чтоб не было придинок — нигде не работает, мол, — определился сторожем куда-то на склад: сутки работать, трое суток свободен. Деньги роздал женам. А мысли о породистых телках хотя и мелькали порою, он гнал их безжалостно: скверные это мысли. Стал Боря хранить целомудрие. Не поздно ли? Да нет, прозревать никогда не поздно.

А теперь рисовалась ему картина: панио некое с его триумфальной фигурой в центре. Слышал он о судебных процессах над диссидентами; завистливо фыркал: в школе Ста сорока четырех великих арканов терпеть не могли чьего бы то ни было успеха, а тут был успех, хотя и дорогою ценой доставшийся. Но Боря и восхищался: уж эти, они у-ме-ют. Да, умеют они превратить скамью подсудимых в трибуну, а свою защиту — в обвинение мучителей и тюремщиков. Их слова подхватывают радиостанции всего мира, их цитируют. И они триумфально отбывают в узилище. А что, если?..

Да, гуру он должен спасти! А, да что там спасти. Он должен провозгласить гуру, его в мир ввести, как этот блаженный Иоанн Креститель Христа миру открыл. Возвысил Иоанн Креститель Христа, хотя жизнью заплатил за слово свое: голову ему отрубили. Пусть и Боре...

Героические картины, наезжая одна на другую, теснились в сознании: Павел Власов из «Матери» Горького и Георгий Димитров на процессе о поджоге рейхстага. А еще — академик Сахаров. Надо речь произнести на суде, показать всему миру, кого у нас гонят и травят. И тогда распахнутся ворота в Белых Столбах, гуру выведет под руки, гуру въедет в Москву по Каширскому шоссе в открытой машине, и колокола звонить будут — ко-ло-ко-ла! И хотя не он, не Боря-Яроб,

будет сидеть за рулем, потому что его на земле, в материальном мире, не будет уже — расстреляют его, казнят, а за руль посадят какого-нибудь майора. Будет въезд в столицу, прямехонько в Кремль: взрыв, открытый взрыв общенародного ликования, столпы огненные, в которых сгорит, испепелится вся черная масса заокеанских злобных энергий, и в бессильном бесновании станут корчиться американские маги в своих норах, в подземных бункерах...

Воссияет правда, восторжествует!

Что для этого надо сделать?

Ясно, что: погибнуть, но перед казнью сказать вещее слово...

А у нас в подполье, в группе УГОН, тем временем шло к концу обучение. Мы порядочно поднаторели в прикладной скульптурологии, в науке о бытовании изваяний: логика их расстановки на площадях и на улицах, психоэнергетическая продуктивность, способы и формы ее форсирования.

Очень много занимались историей парапсихологической эксплуатации изваяний, ИПЭИ. Лекторы менялись, каждый подходил к проблеме по-своему. Оговаривались: многое из сказанного ими — всего лишь гипотезы да догадки, потому что каждая религия, каждая нация свои тайны и секреты уносит с собой. Среди них — секреты методики сбора ПЭ: охраняют их жрецы, посвященные; знания передавались только изустно, и лишь к XVIII веку стали что-то записывать. Разумеется, тайнописью, шифром. Есть преемственность в хранении тайны: большевикам было передано нечто от Временного правительства Керенского, а ему — от великих князей; и переданное хранится в запаянных колбах-бидонах, распечатать которые нет и нет дозволения свыше. Что-то из переданного использовать было можно, хотя идиотский «классовый подход» много нам навредил.

Был у нас чин какой-то, по-видимому, из пенсионеров-чекистов, выплывают такие откуда-то время от времени. Лет ему за семьдесят было, видать; стал уже помаленечку опускаться: под глазами мешки, а сами глаза с прожилками красными — попивает. Перед приходом его на стол водрузивши проектор, два безмолвных прапорщика натянули экран.

Он про скифов рассказывал разные разности; знаменитые скифские бабы надвигались на нас с экрана, глядели на нас печально, ручищами обхватив раздутые животы. Заиграла музыка: скифы психоэнергию собирали, оказывается, под музыку, ритуально; где-то как-то кому-то из подотдела истории удалось докопаться, восстановить мелодии. Тягостно ныли свирели, бумбумкал какой-то ударник наподобие барабана.

— Ритуал! — многозначительно говорил нам пенсионер. — Изваяние ритуально, оно призвано восприниматься оргастически. Мы об этом забыли, будем у скифов учиться...

Кто-то тихо хихикнул:

— Вокруг Лукича отплясывать?

— Да, — хихикнул чекист-пенсионер, — как-то трудно представить себе, что шахтеры Донецкой области придут к бабе, заведут вокруг нее хоровод. ПЭ рекой потекла бы, тысячи, миллионы эргов. Скифы с бабы мно-о-ого ПЭ поснимали, как могли, укреплялись, и богам своим отдавали психоэнергию, и себя не обижали. Их жрецы по части психоэнергии грамотеями были, разбирались в распределении, оснащались. А где скифы? — меланхолически спросил. — Скифов нет уже, будто и не было, знай себе, стишки повторяем... — И он нараспев исполнил отрывок из Блока, про скифов.

А потом пенсионер рассказал нам нечто довольно забавное и, по-моему, довольно правдоподобное. Мы привыкли к тому, что различного рода диковины излагались в нашем подвале буднично, скучными голосами; но старик разволновался немного, расхохотился:

— «Медный всадник» Пушкина, это знаете ято? До сих пор считают: по-э-ма. Так-то так, оно, конечно, поэма. И пускай ученые спорят, выявляют ее источники да усматривают там даже и намеки на восстание декабристов. Декабристы декабристами, но нам важно, что Пушкин про изваяния что-то такое знал, чего, может быть, даже и мы не знаем; неспроста у него Дон Гуана в ад Командор увлакивает.

И поведал нам пенсионер: «Медный всадник» — реальное происшествие.

— Понимаете, при царе Александре I масоны были в фаворе. И служили они, по их вере, добру и благу, благоденствию отечества, стало быть, их царь-батюшка тайно жаловал и правильно делал, потому что они ему кое в чем помогали. И они-

то подсказали царю психоэнергию собирать не только в церквях да во храмах, а и с памятников и не всю ее Господу отдавать, а брать кой-что и империи, государству, полагая, что до Бога высоко, отданная Ему психоэнергия к людям в виде блага вернется, а империя здесь же, под носом у каждого. Соберет империя ПЭ, направит на просвещение, мужички помаленечку пьянствовать перестанут, у помещиков аппетиты уменьшатся, и не надо будет отменять крепостное право, оно и само отомрет. Утопия, в общем. Чтобы кесарь, не обижая Бога, все же что-то у Бога урвал и себе.

Выходило довольно занятно.

Отвердители были тогда натуральные, на травах настоянные, — питье. И решились проделать опыт, эксперимент. Подрядили поручика какого-то из гвардейских полков, разъяснили задачу: постоять на Сенатской площади медным всадником с рукою простертой, посмотреть да прикинуть, как получается. И коня подыскали. Да неопытны были, подобрали поручику аргамака чистых арабских кровей, а на них-то как раз отвердители плохо действуют, слабо. Под объектом конь какой должен быть? Посмирнее, лучше, если простая крестьянская лошадь. Те выносливы, терпеливы; напоишь ее отвердителем, стоять будет как миленькая; еще не было случая, чтобы как-нибудь нашладила, нахулиганила. А тут что? Отвердителем-то поручика угостили, попотчевали, а того не ведали, что поручик накануне в бардак наведалься, угощался с цыганкой ершом, ликер плюс шампанское, а уж коли есть в организме спирт, никакой отвердитель до конца не подействует. Офицерик, значит, с похмелья, конь своенравный. Осень поздняя, холод собачий. Но поручик знал дисциплину, вскочил на коня, застыл. Коню ноги передние подняли; глотку разжав, отвердителя влили чуть ли не полведра — как раз вовремя; окаменел аргамак, а точнее, обронзовел. Ладно, славно так стоят они, а тут наводнение. Нева вышла из берегов, безобразит: спасайся, кто может! Главный ихний масон лататй, сбег куда-то, хоть и был он обер-мастером ложы «Света и камня». Атлантиду, потом говорили, вспомнил; а они же в потомках атлантов числят себя, он подумал, что повторяется история с Атлантидой, что настала пора платить за грехи. Так платил бы со всеми вместе, а он, понимаете, на Кавказ припустил, на гору Арарат, его где-то возле Ельца изловили, догнали обер-мастера этого, потомка атлантов.

— А поручик? — у кого-то из наших дам вырвалось.

— А поручик знал дисциплину, стоит да стоит. Конь под ним уже шевелиться начал; поручик ему: «Не балуй!» А тут волны кругом беснуются и гробы по волнам поплыли — это все у Александра Сергеевича в точности художественно отображено. Но поручик стоит, обсказали ему, что он на правах часового, он свой пост оставить не может, покуда не придет разводящий, был у них такой ихний масон на посылах. Ладно, схлынули волны. Ночь навалилась, и на площади псих какой-то, из переулочка выскочил. У него невесту и в самом деле волнами смыло, безгрешную девушку; почему ей надо было за грехи императоров да масонов расплачиваться, одному только Богу ведомо. Ходит, бродит, бегаёт вприпрыжку патлатый псих и лопочет что-то. Подобрался к памятнику, императора стал оскорблять; это сплошь и рядом бывает, уж и сами вы знаете, почему-то трудящиеся всех времен и народов, как какие-нибудь неполадки в стране учинятся, сразу к памятникам бегут. Устремляются, пытаются счёты сводить. Монологи толкают. Подошел, значит, псих и ругается, а по-нашему сказать, по-недавнему кодексу, — типичная статья пятьдесят восемь пункт десять. Докопались мы, изучая архивы, что поручик не стерпел, монархистом он был, хотя и придерживался идеалов просвещенной монархии. Подмигнул для остротки психу, да сурово так: проваливай, мол, подобру-поздорову! А тот, знаете ли, не унимается, и мало ему ругательств, кулаком погрозил: «Ужо, — говорит, — тебе!» Тут не агитация только, тут уже и покушение на свержение власти. ПЭ ка-а-ак хлынет! А поручику непривычно; это вы теперь медосмотры проходите, кардиологи, то да се. Да инструкции по технике безопасности с вами штудируют. И то верно, поначалу страшновато бывает: сердце ПЭ воспринимает с повышенным напряжением, будто током человека шибает; я же знаю, самому лабать доводилось. Ночь, тьма лютая, холод. Псих беснуется. В сердце будто стрела кольнула. И, понятное дело, поручик не выдержал, тихо-тихо коню шепнул на ушко. И — в карьер с постамента. Псих, бедняжка, наутек, а поручик за ним, еле-еле коня придерживает, чтобы, значит, не потоптал. Хорошо, психопат проходные дворы какие-то вспомнил, улепетнул. Все у Пушкина прекрасно описано, очень художественно.

— А поручик, поручик? — стонали дамы, потому что навеки вклинился в сознание русской женщины светлый образ собирательного поручика, и хоть кол

ты ей на головке тещи, никакой Корчагин Павка ей несчастного благородного поручика не заменит. И симпатии моих новообращенных коллег были явно на стороне гвардейца, а тем более был он своим, собирателем ПЭ, коллектором, императорским лабухом.

— Все бы вам про поручиков, — понимающе улыбнулся чекист, на мгновение оскалив редкие желтые зубы. — А поручика за доблесть его наградили чем-то таким, по-нашему, ценным подарком; а за то, что оставил пост, на Кавказ отправили в двадцать четыре часа. Там его чеченцы и ухайдакали, а может, и не чеченцы, свои убрали, потому что знал слишком много, только не исподтишка убрали его, а скорее всего инспирировали дуэль — так бывало в те времена. Петра Первого, настоящего, металлического, из Невы, со дна самого, вытащили; остроумно они придумали: нигде не увозить его, а канатами к воде оттащить да на пару суток в реке и спрятать; с монументов ПЭ снимать они тогда не умели. Говорят, отыскалась артель, болтались без дела по Санкт-Петербургу мужичков два десятка. Каждому по рублю отвалили да по чарке, а тут русский мужик кого хошь куда хошь оттащит, хоть в преисподнюю, а потом, еще за чарку, и вытащит. Императора тоже вытащили, водрузили на место. Операцию в тайне сохранить не сумели, да все как-то на наводнение изловчились списать. Только слухи ходили, будто Нева оттого разлилась, что в нее основатель Санкт-Петербурга прыгнул. Да не верили слухам, тем и живем... Ладно, милые, заболтался я с вами, — по-домашнему просто закрутился чекист. — Мне пора-с.

И исчез наш славный старик точно так, как и предшественники его исчезали, на это они мастера.

А потом была практика: на старом дворянском доме, между третьим и вторым этажом, встали наши красотки-кариатиды; говорят, раздевались и гримировались они охотно, весело перенесли внутривенное вливание отвердителя, приняли крепительное — деликатная подробность, о которой я скажу сухими словами инструкции: «Во избежание несвоевременного позыва к отправлению естественных потребностей (надобностей) коллекторам предписывается принять 50 см³ сдерживающего мочеиспускание крепителя и такое же количество крепителя, сдерживающего...» Тут, однако, даются латинизированные наименования и химические формулы снадобий, называть которые я не имею права.

Вознеслись наши девы под третий этаж. Мы же, двое мужчин, Лаприндашвили и я, стояли внизу, глазели: наше дело, во-первых, присматриваться, во-вторых, когда операция по подмене первичного монумента, то есть каменного или металлического, объектом подменным будет закончена, собрать у подножия зевак и каким-нибудь способом натолкнуть их на мысль в монумент уставиться зенками и пуститься в беседу о нем или, что предпочтительней, с ним. Мы и начали присматриваться, стоя поодаль.

Сделано все было блестяще, как в цирке. Поздним вечером едет мимо дома грузовичок-фургончик — вроде тех фургончиков, на которых разъезжал по городу, демонтируют новогодние елки. Притормаживает фургончик. Раз-два: кто-то лихо цепляет под мышки каменных кариатид. Три-четыре: кариатиды взмывают в воздух и плавно ложатся в кузов на специальную поролоновую подушку. Пять-шесть: тот же трос, обернутый опять-таки поролоном, обвил талии милой Лианозян, светленькой Ляжкиной и солидной Ладновой; кто-то тихо скомандовал: «Вира!» И семь-восемь-девять: все три наши дамы расставлены по местам. Трос автоматически отстегнулся. «Хоро-о-ош!» — кто-то профессионально скомандовал. Рванул с места желто-красный фургончик и скрылся за поворотом.

А нам надо встать подле кариатид, при виде прохожих задираť кверху головы, начинать придирчиво рассматривать изваяния и судачить о них.

Долго ждать не приходится. Несмотря на темень, на поздний час и на предвесеннюю холодную ночь, вдалеке, покачиваясь, бредет неунывающий обыватель. Приближается.

Я начинаю:

— Посмотри, генацвале, батоно Лаприндашвили, а не кажется ли тебе, что у той вон кариатиды как-то нос съехал на сторону?

Надо было придумать что-нибудь позанятнее, но фантазия моя не срабатывает. Лаприндашвили выручает меня, подхватывает:

— Зачѐм съехал! Нѐ съехал! Хороший дѐвушка, у нас в Грузии такой дѐвушка тожѐ имѐется...

Обыватель заинтересованно притормаживает. Поглядывает на меня, на Лаприндашвили:

— Мужики, закурить не найдется?

Я лезу в карман. Умышленно медленно шарю. А Лапρινдашвили осклабился весело:

— Закурить? Ты навэрх пасматры, у дэвушэк папраси, у кариатид навэрху.

Прием очень рискованный, применять его рекомендуется в крайних лишь случаях, если нет других способов понудить прохожих положить глаз на памятник и начать, как у нас говорят, доиться — перекачивать лабуху ПЭ. Называется: провокация мини-чудом. Для подобного рода чудес к ногам девушек-коллекторов кладут несколько сигарет, тюбики зубной пасты, губной помады или несколько пластинок добротной жевательной резинки. Ног их не видно. Но движение пальчиком задекорированной ножки, и едва ли не на голову прохожего упадет сувенир. Мини-чудо и сейчас происходит: вниз летит сигарета. Я слежу за полетом вождя-ленного курева, ловлю тонкую бумажную трубочку. Проходящий сперва недоумевает, обалдело взирает на окна, останавливает взгляд на одной из дам: начинается перекачивание психозергии, а нам только того и надо. С провокацией мини-чудом кто-то из вознесенных поспешил, но теперь отступать уже некуда.

Работяга-полуночник раздражается скучной руладой; о подобных руладах мой сын Вася рассказывал приблизительно так: «Пап, а дяди, которые наш детский сад ремонтируют, все время повторяют: трам-тарарам...» Закончив руладу, прохожий, вяло пошатываясь, смотрит наверх — туда, откуда спорхнула сигарета.

Я — ему:

— На, закуривай!

Недоверчиво взяв сигарету в руки:

— Гы, выходит, и вправду сверху! Да еще и «Мальборо», мать ее...

Вокруг нас уже стайка. Мы задали тему: я твержу про съехавший на сторону нос кариатиды, а Лапρινдашвили налегает на ее чудодейство. Уж теперь-то прохожие никуда не денутся: судить-рядить будут час, не меньше. Увлечлись, им и ночной морозец не страшен.

Нам же пора смываться: наше дело сегодня заключалось в одном: завести у подножия объекта диспут, спровоцировать диалог, разработать канал для потоков ПЭ. А дальше само пойдет.

Мы старательно растворяемся во тьме переулка; в следующий раз, когда объектами станем мы сами, спровоцировать диалог руководство поручит дамам.

Шла весна — молоденькая весна последнего угрюмого года; а уж далее годы и дни понеслись галопом, вприпрыжку, все ломая, все перекраивая.

Подступил и апрель, по-московски неопределенный, прохладный.

Руководство УГОНа сочло, что кариатиды дебютировали на редкость успешно: ровно сутки трудились, их сняли, дали снотворное, увезли куда-то для отобрания психозергии; результаты превзошли самые смелые ожидания. На занятии, посвященном разбору дебюта, их хвалили, лишь немного пожурив за преждевременно сброшенную сигарету: это Ляжкина, конечно, отважилась порезвиться. Но она оправдывалась, смело поднявши глаза: «А что же мне оставалось делать? Я же слышала, Лапρινдашвили предлагал прохожему у нас, у кариатид, сигарету стрелнуть; не брось я ему гостинчика, разочарование было бы, а так он в следующий раз у новой смены попросит, энергия и потечет понемножечку!» На нее махнули рукой, благо днем, уже и безо всякого стимулирования трудящиеся, трусившие переулком по своим разнообразным делишкам, томимые жаждой хоть с кем-нибудь вступить в диалог, не обошли наших дам вниманием. Да еще молоденькая девушка, воспитательница приютившегося неподалеку детского сада, догадалась вывести на прогулку младшую группу, шепечущих ребятишек-цыпляток, и когда один из них пустился глупо шалить, задирая девочек и дергая их за шарфики, воспитательница строго сказала ему: «Не балуйся, Артем, а то, видишь, тети стоят наверху и сердятся!» — и на кариатид показала пальчиком, а им только того и надо было. Стайка тотчас остановилась, воззрилась на готовых разгневаться тетю. «Марина Васильна, а почему тети наверх забрались? А им не холодно там, они же голые, да?», «А они дом держат, чтобы он не упал?». Малыши щебетали, а свежая психозергия струилась в сердца дебютирующих коллекторш. Им поставили каждой по девять баллов по принятой в УГОНе десятибалльной шкале.

Но пока кариатиды стояли да скучным весенним солнышком любовались, рядом с ними, в Главпсихонервупре города Москвы и Московской области, толкалась милиция, топтались неизменные личности в штатском, вспыхивали блицы, орудовали судебные эксперты; и слов нет у меня, чтобы описать происшедшее.

Ночью — той ночью, когда мы с Лаприндашвили натравливали прохожих на наших девушек, — Боря нервно ворочался на опустевшем диване увезенного гуру. Ему грезились почему-то татаро-монголы, какие-то янычары-турки: пришли, забрали, уволокли. Он стонал, зубами скрипел; и в тон ему обиженно скрипели пружины дивана: вещи плачут, когда их покидает хозяин.

Боря слал сигналы по ментальному плану Яше-Ашы, но сигналы разбивались о стенку незримой преграды. Поделиться негодованием было не с кем. И слагалось: он им покажет! Он устроит им красивую жизнь!

Стереотипы владели сознанием слесаря-графа, вернее, сторожа-графа, прочно, как злобные демоны: татаро-монгольское иго, крепостное право, штурм Зимнего... В кладовой его памяти был и стереотип процесса Георгия Димитрова: революционер превратил скамью подсудимых в трибуну; он готов был умереть, но он умер бы, дав бой врагу, на весь мир возвестив свои идеалы. Добро, и мы тоже...

В носках Сироб прошлепал на кухню. Зажег свет. По чисто вымытым тарелкам сновали жирные тараканы, на столе серебрился ножик — тот, дагестанский. Сироб ногтем провел по лезвию: да, точить не надо, но все-таки... Знал: в хозяйственном шкафчике хранится брусок. Раскрыл створки, достал. Принялся точить, аккуратно водил лезвием по пористому камню.

Добро, мы тоже... Узнают они!

Боря слышал про диссидентов: на СТОА-10 о чем и о ком только новостей каких-нибудь не заслушаешься, всё расскажут, да и с такими подробностями — никакому радио там, за бугром, и не снились. Никакой «Русской мысли».

Диссидентов судили. За чтение и распространение Сахарова, Солженицына и Шаламова, за послания нервических либеральных дам седеньким старикашкам из политбюро. Увозили захлебывающихся словами людей в Пермь, в Чистополь. Но они успевали высказаться.

Один за другим кипели процессы, мир возмущался: Сахарову в очередной раз закатали питательную клизму, в бараке под Пермью умирает украинский поэт, его единомышленники дотлевают в психушках. Янычары! Мало им диссидентов? Они и за Вонави принялись?

Боря знал: тут особенный случай. И не только в заокеанских метафизиках дело. Гадят, пакостят завистники из элитарной шайки. «Умэ-э-эльцы», — явственно слышалось ему саркастическое блеяние учителя. Да, умэльцы... Заключили они союз с американскими экстрасофами, перешли в наступление. Вонави им мешал: строил стенку на пути их сверхмощных супертрансляций. Он не только русский народ от духовного ограбления хотел оградить, заодно он и этих, седеньких старцев кремлевских, оберегал, а они... Отблагодарили они!

Так добро же, он им пропишет...

Им всем...

Хорошо, ритмично точился кинжал, и все четче, все ярче рисовалась картина. Борю судят да судят, пусть судят, он прикончит этого мозгляка — агента экстрасофов, главного психиатра Москвы, и пускай же, пускай его приговорят к смертной казни; на суд соберутся журналисты с разных концов планеты, и он будет говорить, говорить всю правду о великом гуру, которого бросили в психиатричку, о спасении родины и о том, что интриги экстрасофов ведут к ее разрушению, и пусть знает мир правду, и поднимется мир, и восславит великого Вонави.

И не знал, не ведал Боря о том, что на Западе его бледный гуру удивить никого не сможет.

И — точил кинжал, улыбаясь.

И наутро он кончил: кинжал сверкал.

Завозились Вера Ивановна, Катя.

Пили кофе, Катя по-старинному говорила: «кофий».

После кофий Боря выложил Кате паспорт, зевнул. И небрежно:

— Это, Катя, тебе. От меня. Подарок, прими на добрую память. Извини, если что-нибудь... Если обидел тебя.

Катя молча разглядывала красную книжечку, добралась до фотографии.

— Я? — спросила испуганно.

С фотографии на Катю, вскинув брови недоуменно, смотрела вторая Катя.

— Не бойся, не подменили тебя, ты и есть. — И в другой интонации, неожиданно теплой, шепнул еще раз: — Уж прости, если что не так...

Вера Ивановна мыла чашки — растрепанная, бигуди не варила, не до них было ей.

— Боренька, что теперь делать?

Улыбнулся устало:

— Что-нибудь сделаем.

Грустно-грустно посмотрел на Веру Ивановну и на Катю — ушел.

И пошел в Главпсихонервуп.

Шел, оказывается, по улице, параллельной той, на которой трудолюбиво торчали наши кариатиды, а мог бы пойти и по ней. А что было бы? Да ничего: в КГБ неустанно вел свою деятельность 33-й отдел, кооптировал, а попросту сказать, вербовал под свое покровительство нашего брата, коллекторов-лабухов, собирал да собирал психическую энергию в тайный фонд государства, и гуру, и Боря-Яроб, разумеется, знали, что ее собирают, а как именно — сие невдомек им было. Боря мимо наших лабухов десять раз на дню проходил, окидывал взглядом, морщился: надо же безвкусица, надо же! Психоэнергия ленивыми брызгами источалась на лабуха, у которого екало сердце: ага, еще капелька. А Боря дальше шагал, не подозревая о том, что в этот момент государство оттяпало у него малую толику ПЭ. А на кариатид он вряд ли и поглядел бы: не до них ему было.

Дагестанский кинжал в кухонную тряпицу завернут и бережно заткнут за пояс. Прикрыт полами плаща-болоњи, берет на лоб сдвинут.

А что было потом?

Но откуда мне знать, меня же там не было, и происшедшее дошло до меня в изложении сердитого протокола: «...ворвался в служебный кабинет главного психиатра г. Москвы и Московской области...» в нецензурных выражениях требовал немедленной выписки гр. Иванова В. Н. из психиатрической лечебницы № ..., находящейся на станции Белые Столбы Московско-Павелецкой железной дороги... Получив обоснованный отказ, выхватил из-за пояса принесенный с собой заранее заточенный кинжал, выделки ДагАССР (прилагается в качестве вещественного доказательства), с визгом бросился на потерпевшего и нанес ему удар в область...»

Нет, не допустил Господь: не состоялось убийство — может, дрогнула рука в последний момент, а может, и психиатр мужик не промах оказался, увернулся, попытался отвести от горла смертное лезвие. Миллиметра какого-то не достало.

Шум борьбы, истошный визг Бори, старательно зафиксированный. Да вряд ли и психиатр молчал.

Увезли Бориса. Уволокли. И, когда волокли его вниз по широкой лестнице Главневропсихупра, стало ясно ему, мучительно ясно, что не будет судилища со всемирным размахом и не прогреметь ему в веках, вставши выше Георгия Димитрова и даже Андрея Сахарова, академика-вольномудца: будут скучный, заплеванной зал заседаний Мосгорсуда, кучка любопытствующих старушек-пенсioonеров в первом ряду, ссохшиеся от горя мыльные лица и Аллы, первой жены, и Марины — второй. И еще, конечно, Вера Ивановна пристроится, примостится с краюшку. А Катя придет ли?

Я же в разнесчастный этот день не знал ничегошеньки: я готовился.

Я к дебюту готовился, и готовился так напряженно, как и к самым страшным лекциям никогда не готовился.

Днем поспал у себя, в Чертанове; спал я по-своему, прилег одетым, положивши на грудь часы: и дремлю, и на часы удобно взглянуть-поглядывать. Со стороны посмотреть бы: придавлен часами, часы будто пресс; маленький пресс, а тяжелый.

Но со стороны на меня смотреть было некому. И давно уже, с осени не было у меня ощущения присутствия кого-то возле меня, во мне. Тут — как отрезало: с тех пор, как подрядился я в коллекторы, в лабухи, меня окружила, окутала незримая аура, пленка — за своих в Комитете всегда постоять умели, тут ничего не скажешь.

Проснулся я к вечеру, солнце усаживалось за корпуса карбюраторного завода.

В 22.00 быть в УГОНе: жеребьевка, кому что (кто?) достанется — так на экзамене студенты тянут билеты. Разыгрываться будет несложное, преимущественно сидячие: Лев Толстой у Союза советских писателей, во дворике, что на улице Воровского, да другой Толстой, Алексей Николаич, на нашем жаргоне — «Старец» и «Гиперболоид». Александр Островский у Малого театра. И «Карлуша», Карл Маркс, основоположник научного коммунизма, а попросе сказать, превеликих обывательских бед и несчастий. Не хотелось бы, чтобы достался Чайковский (прозвище у него непристойное, но не только поэтому не хотелось). Гоголь — только сидячий, андреевский, тот, что на Суворовском бульваре, опять же во

дворике. И его не хотелось бы: он энергии собирает мало, кому он там, в закуточке, нужен?

«Старец», Лев Николаич Толстой, тоже, могу сказать, не нужен. Ан нет, нужен! К нему ночью, и то пьяненькие, писатели пробираются, шастают — ресторан-то рядом. Перепьются — и ко Льву Николаичу. На завистников сетуют, на интриги в издательствах. Вразумления испрашивают: эпопеи писать всем хочется. А уж днем, как ворота Союза советских писателей отворяются, не бывает покоя графу: и экскурсии посещают, и различные инородцы глазают. Нет, его лабать, говорят, одно удовольствие!

На Мясницкую громыхаю, в метро: «Жигули» оставил у дома. Правда, некоторые лабухи, заступив на дежурство, машины свои ставят подле себя, так надежнее. Говорят, будто случай был: Гоголь, а но-нашему Нос, новый Гоголь, стоял на Арбате, в начале бульвара; свою «Волгу» приткнул у молочного магазина, неподалеку, поглядывал. Ночью двое подкрались, стали отвинчивать задние фонари. Глянул он и, хоть рот у него отвердителем скован, не покраснел, а наоборот, слишком уж, не стерпел, стал бубнить с высоты своего пьедестала: «Архиплуты! Протобестии! Надувайлы мирские!» Оглянулись ворюги, уставились на него. Только того и надобно было великому сыну России: сердце екнуло, триста эргов сразу дали ворюги (опытный был!). Басом — органы речи уже стали работать — их укоряет: «Протобестии, надувайлы! Да я вас огнем сатиры, фельетон настрочу и в комедии выставлю!» Наутек припустили, вдоль бульвара.

Громыхал я в метро, вечером народу поменьше. Ехал, с чувством скрытого превосходства на пассажиров поглядывал: «Ничего-то не знаете вы, сидите, подпремываете, а как встану я... То есть как сяду... Поглядите вы на меня, потечет из вас, голубчиков, на меня драгоценная психознергия...»

Тетка, охраняющая первый вход в наш УГОН, в достопамятный вечер дежурила, славная старушенция, с медалью «За трудовое отличие». И один лейтенант на втором контрольном посту мне попался знакомый. Не приученный особенно разговаривать, он, проверив мой пропуск, деловито, помню, предупредил: «Эскалатор сегодня у нас отключен, техосмотр. Вам придется пешком...»

Пешком так пешком. Я спускался, от нечего делать считал ступеньки. Насчитал пятьдесят и сбился. Дверь открылась, в УГОНе меня поджидали, радостно встретили.

— Теперь так, — сказал Леонов, Леоныч, как мы стали его величать промежуточно. — Теперь ваше слово, товарищ маузер. Отвердители будем вам вприскивать здесь, для начала в уменьшенной дозе. Здесь же примите и крепительное, так на первых порах поступим. Сперва жребий, посты все хорошие, легкие, о них опытные коллекторы денно и ночно мечтают, но даем мы их исключительно практикантам да ветеранам, кому на пенсию выходить. Гримировку тоже вам сделают: парики; если надо, и бороды всем. Лев Николаич Толстой или Маркс... В лучшем виде предстанете. Дежурство суточное, в полночь заступите, ровно в полночь и сменят вас. Скажу прямо: руки, органы речи оставим свободными, с провоцированием, однако же рекомендуется быть осторожными, провоцирование вам обеспечено будет со стороны. В группу провоцирования назначаются курсанты Люциферова Любовь Алексеевна и Любимова Лада Юльевна, уж их дело, что они исхитрятся придумать; я, к примеру, могу сказать, что цветочки можно Карлу Марксу взволнованно выложить; хотя этот прием не оригинальный, но ввиду первомайского праздника вполне можно. Только темперамента надо при этом побольше, побольше: принесли цветы приехавшие с периферии трудящиеся к монументу основоположника... Да, научного, стало быть, коммунизма; воздать дань сердечного уважения сочли делом необходимым. Одна скажет: «Он выковал нам строго научную теорию прибавочной стоимости». А другая... Другая тоже что-нибудь скажет, только надо больше на научность марксизма налегать, пропаганды нам не надо, декларативности. А на-уч-но-е что-нибудь. И — цветы. А после за них счет поставите, вам оплатят, не сомневайтесь. У Толстого, у Старца, о толстовстве можно поспорить, но тут ленинские работы о нем упомянуть не забудьте, положено. И опять же помните: рядом Союз писателей, вдохновения просят, а иной раз вовсе до неприличия дело доходит, кланчат. Подвернется писатель, гм... в предпраздничном состоянии, можно в спор с ним вступить, попенять, погрусстить: дескать, почему сейчас так не пишут? Психология, диалектика души, то да се. Словом, действуйте, Люциферова и Любимова. А теперь — жребий, жребий. Жребий брошен, как сказал Юлий Цезарь. И спокойненько, не волнуйтесь, это я волноваться должен.

Мне достался... Островский! Удача! Начинать с Карлуши мне не очень

светило, сидеть сиднем во дворике доходягой Гоголем монумента Андреева — тоже.

Маркс, к немалому моему удовольствию, выпал Лапρινдашвили: жребий снова свел меня с этим немудрящим выходцем из Сванетии. Значит, будем мы возвышаться друг напротив друга, друг на друга поглядывать. Элегантным же дамам предстояло непринужденно прогуливаться между Малым театром и сквером, останавливаться у наших подножий. А ввиду того, что дело это по ночному часу рискованное, «Метрополь» всегда был известен как место флиртующих ночных дев, дамам будет придана группа охраны, ГРОХ: молчаливые молодые люди в низко надвинутых шляпах, в затемненных очках, в одинаковых коротких плащах.

Чуть начнет к легкоранимым дамам клеиться ищущий острых ощущений командированный из далекой глубинки хозяйственник или подгулявший темнокожий стажер из Университета Лумумбы, молодые люди сумеют встать на их пути ко греху, одним видом своим показывая, что, пожалуй, разумнее им исчезнуть.

Появилась... Батюшки, как я был изумлен: врач-грузинка, которая осматривала меня на медицинской комиссии, восхищалась моими аккумулятивными способностями и сулила мне место на вершине Казбека. Улыбнулась: узнала. Но прижала палец к губам, разложила стерильную салфетку, флаконы со спиртом, с отвердителем и с розовой жидкостью, это и было крепительное. Отвердитель влила в вену, а крепительное оказалось мятно-прохладным и на вкус сладковатым. Незаметно нарисовался гример, совсем еще юноша в сером халате, кое-где заляпанном краской под бронзу. Деликатно взял меня за подбородок, запрокинул мне голову. Я почувствовал себя бородатым. А вообще-то передать, что я ощущал, превращаясь в драматурга Александра Островского, трудно. Да и надо ли пытаться передавать? Я вживался в образ; и, по мере того как я становился им, какие-то фигуры у меня перед глазами поплыли: и купцы в суконных поддевах, в сапогах бутылками, и дородные девушки, а за ними суетливые, говорливые свахи и кочующие по Руси скитальцы-актеры. Нас о чем-то подобном предупреждали: вливанию отвердителя сопутствует легкий гипноз; и повесе, Пушкину, начинает мерещиться что-то из «Капитанской дочки», мелодичнейшие стихи, непристойные строфы «Гаврилады». Трудно в роль Лукича входить: видятся партийные съезды и конференции, неотступная клуша Надежда Крупская; пенсне Троцкого сверкает, исторгается дым крепчайшего тютюна из трубки Сталина-Кобы. Это мне довелось испытать потом, но пока я чувствовал себя драматургом, посылающим луч света в темное царство.

Итак, я уселся в кресло. Смешно, что стоит оно под открытым небом, на площади. Это, полагаю, дефект всех без исключения сидящих изваяний, статуй, неправдоподобие пол-но-е! Понимаю, как мог оказаться на площади или на перекрестке конь; отчего столбом остановился здесь полководец или поэт, это тоже объяснимо, как бы то ни было, поддается. Но как оказалось на площади... кресло? Тем не менее на площади оно оказалось, и сижу я посиживаю. Справа от меня Большой театр, прямо скверик с веселыми яблонями, но листочки на них не распустились еще, хотя скоро, надо думать, распустятся. Слева... Слева, вижу, тоже «Аварийная» подкатила, у Карлуши притормозила и тотчас же плавно отъехала: ага, значит, и Лапρινдашвили водрузили на пьедестал. Светофор подмигивает мне игривейшим образом.

Поглядел я и вверх. Аполлон — пост труднейший: там же кони участвуют с отвердителем, передние ноги взбрыкнув; человеку, ему стоймя стоять надо, и как только лабух справляется (Боже, Господи великий, не знал я, не знал, какой трагедии доведется мне быть вскоре свидетелем). Аполлон подсвечивается снизу, вся группа стоит незыблемо: может, бог, но может, и лабух, только высшей, полагаю, категории лабух.

А тем временем ко мне человек подошел. Закурил. Поглядел на меня:

— Сидишь? Я чуть было не ответил: «Сижу!» Вовремя спохватился, глянул на зеваку как мог сурово. А зевака-то, видно, был артистом Малого театра, только что игравшим в какой-то драме Островского. Не в «Лесе» ли? Несчастливцева, бродягу-актера, полагаю, играл, по-теперешнему, так бомжа. Задержался после спектакля.

Я решил так на том основании, что мой... собеседник — ибо как же иначе его называть? — произнес целый монолог о драматургии. Из его монолога я уловил: я, Островский, писал хорошо, хотя иногда и растянuto. Что касается нынешних, то они...

— А нынешние халтурят, — доверительно поделился со мной собеседник;

и я чувствовал, что сердце у меня начинает покалывать, значит, психоэнергия потекла; датчик принялся еле слышно жужжать. — Да про что и писать-то? — сокрушался актер-полуночник. — Про рабочий класс? Не может у них получиться, потому что такая петрушка с ним происходит... Купцов нет, извели их под корень. Конфликты, брат... Нет их, нету конфликтов, — разводил он руками. Подумал. Бросил мне: — Ладно, ты тут посиживай, ты олицетворяй, брат, традиции. А уж я потопаю, мне аж в Бибирево тащиться, вот так.

Погасил сигарету о мой пьедестал. И ушел. А я вспомнил приметку: если первым собеседником мужчина окажется, смена будет удачной. Женщина — улова не жди.

Появилась и женщина. Две. Эти сразу воззрились прямехонько на меня, и одна сказала:

— А, Островскому памятник? Это он про Павку Корчагина написал?

Сердце радостно екнуло. Датчик зазуммерил,

— И про Павку Корчагина, — подхватила другая, — и «Грозу», про Катерину, которая в Волгу бросилась.

— Почему? — расширила глаза первая, и мне очень понравилось, что она проявила хоть какое-то, но все же искреннее участие к поступку неведомой ей Катерины.

— Муж в командировку уехал, а она с одним своим знакомым встречалась.

— И чего?

— Да их соседи засекли, где-то видели вместе, сплетки пошли... Хорошая вещь, переживательная, только мне про Корчагина Павку больше нравится.

Постояли, подумали.

— А «Рожденные бурей» — тоже он?

— Ага, кажется. Раз «Гроза» его, то и «Рожденные бурей» его. Гроза, буря — это он на революцию намекал, только чтобы цензура не поняла, написал «Гроза», символически, значит. А потом «Рожденные бурей».

И пошли. Датчик смолк, но для первого раза неплохо. Наконец появились откуда-то со стороны Петровки наши девушки, Люциферова и Любимова. Я мало их знал; Люциферова мне казалась актрисой, Любимова, та попроще, экономист, бухгалтер где-нибудь на заводе. В руках у них были цветы, гвоздики какие-то: раздобыли.

Любимова подошла ко мне, шепнула подруге:

— Люб, а Люб? Я цветы ему возложу.

Люциферова:

— Лапочка, цветы для Карлуши.

Сердце начало колотиться сильнее: ПЭ потекла.

— А я хочу этому! — Любимова топнула ножкой в шегольском сапоге. — Может, этот мне больше нравится?

Положили цветы, поправили стебельки: зазуммерил датчик — ПЭ при возложении цветов, как свидетельствует инструкция, вырабатывается чрезвычайно высокого качества.

Слева выпорхнул одинокий в берете:

— Девушки, где брали цветы? Ух, какие краси-и-ивые. — Стебельки потрогал. — Не уступите, а? Я бы вас не обидел, — хохотнул, намекая на что-то.

Тотчас вышли из-за угла те, двое. Остановились поблизости, шляпы на лбы надвинуты, руки в карманах, — группа охраны — ГРОХ.

У меня же тем временем датчик то и дело включался. Сердце билось, глотая психоэнергию: подгулявшая компания вырвалась из «Метрополя»; одиночки-путаны похаживали. Позже, привыкнув лабать «Грозу», узнал, что пятачок перед моим монументом назывался у них «Доходное место для бесприданниц».

Потом побывал я и Железным Феликсом, и Ванюшей, Иваном Федоровым. И по области поездить пришлось, по райцентрам: как нетрудно догадаться, лабал Лукича. Побывал и в больших городах: нас частенько перебрасывали с места на место, потому что коллектор-лабух не должен утрачивать остроты восприятия окружающего, свежести впечатлений. Но Островский остался любимым моим объектом; это знали, и, поскольку меня ценили все больше и больше, в 33-м отделе старались считаться с моими желаниями.

А тогда, в первую ночь...

Сидел я посиживал, о разных вещах размышлял. Например, колонна и дерево. Колонна пришла в архитектуру из дерева, вернее, от дерева; следы ее связи с деревом остаются: ствол, а сверху как бы ветви — орнамент, дорический ордер, ионический, так? Но камень, заменяя дерево, все-таки словно бы хочет, желает,

чтобы где-нибудь поблизости от него произрастало и настоящее дерево. Это что? Желание победителя видеть рядом с собой побежденного? Нечто вторичное жаждет смотреть на первичное? Потому-то и здесь, напротив меня — колонны Большого театра и скверик напротив них, яблоньки, которые скоро распустятся.

Смотреть интересно. Строго говоря, ни на что смотреть я не должен. Я же слеп. Я же статуя, монумент. Только тело, сплошное тело, а душа ушла из него, растворилась в пространстве, и нет ее будто.

Но на место монументов ставят людей: бухгалтеров и матросов, артистов драматических театров, манекенщиц, танцовщиц из кордебалета. И тогда появляется у монументов душа? Ничего не пойму!

К двум часам опустела площадь Свердлова, бывшая Театральная (мне и в голову не приходило тогда, что и нескольких лет не пройдет, снова станет она Театральной). Стало скучно. Я позевывал, поглядывал направо, налево. Сiju, будто курица на насесте, а зачем я сiju-то? Справа ЦУМ, бывший Мюр-Мерилиз. Справа, но надо мной — Аполлон: гонит, гонит куда-то свою квадригу. Дознаться бы все-таки: настоящий он или туда лабуха исхитрились поставить? Слева — Маркс, Карлуша. «Гамарджоба, батоно Лаприндашвили», — подумал я. Не успел подумать и слышу:

— «Капитал», — явственно доносится до меня. Ага, это Лаприндашвили, тоже скучает, острить вздумал, благо, рот нам не заморозили. «Капитал»?

— «Бешаные деньги!» — кричу я в ответ приятелю. До Лаприндашвили дошло, улыбается.

— «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — выкрикнул со своим неповторимым акцентом.

— «Не так живи, как хочется», — осадил я его революционный порыв. И я вижу: Карлуша поднимает кулак и с размаху бьет им по краю конторки, как бы прилавка, за которым он должен неподвижно стоять.

— «Нищета философии!» — кричит он мне с деланным гневом.

— «Бедность не порок», — смиренно я отвечаю.

Он подумал, подумал и продекламировал мне — почему-то совсем без акцента:

— «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма».

— Грех да беда на кого не живет, — вздохнул я меланхолически.

Батоно Лаприндашвили — о ужас! — поднимает кулак ко рту и, я вижу, хихикает в бороду.

Дремлем мы. Дреmlют наши, так сказать, прототипы, еврей и русский, — драматурги, изобретавшие для человечества такие конфликты, сочинявшие такие драмы... Интереснее не придумаешь, хоть умри. И умирали, сердечные, умирали и постановщики, и герои их драм, такие им отводились роли. Одна в Волгу бросилась, согрешив, а других в ту же Волгу сбрасывали. И в других русских реках топили людей, и в пучинах Белого моря. Брезжит утро. Люди — сколько же я насмотрелся на них с высоты различных пьедесталов потом! — потянулись к метро. Возле кассы Большого театра, что напротив меня, начала выстраиваться очередь любителей оперного искусства. Справа — очередь в ЦУМ.

ПЭ текла в изобилии. Выползали откуда-то цыганки шумной толпой, и подумалось мне: не из Большого ли театра вытянулись они оранжевой, зеленой цепочкой (вчера вечером, скажем, отплясывали на сцене в последнем акте «Кармен»). Но откуда бы они ни возникли, они тотчас же стали прохожим предлагать из-под полы губную помаду, тушь для ресниц. При виде милиционера отработанным маневром разделились: часть попряталась сзади меня, часть куда-то порскнула. Тут же заспанный муж с женой, почему-то остановившись у ног моих, стали скучно выяснять отношения. Жена взвизгнула:

— Тоже мне, Тихон! Ти-хон ты, Ка-ба-нов! Но я... Я тебе не Катерина, не надейся, я в Москву-реку бросаться не буду! — И пальчиком почему-то на меня показала; мое сердце тут же глотнуло добрую дозу психоэнергии, счетчик радостно зажужжал.

Но чужие разговоры, разговоры прохожих подслушивать, — фн! Выходят из ГУМа, обсуждают, что кому удалось достать, кто без очереди протырился, что давали вчера и какие виды на завтра. Презабавно, когда назначают свидания. Деловые — днем. Кто-то что-то на что-то меняет. И все-таки датчик зуммерит, ПЭ течет: от усталых взглядов служащих, выходящих из разных учреждений на Петровке; от стайки школьников и молоденькой учительницы, пришедших сюда в порядке подготовки к сочинению на тему «Темное царство в изображении А. Н. Островского». А уже когда потянулись к Малому театру жиденькие цепочки

зрителей, желающих посмотреть шедшую в этот вечер комедию «На всякого мудреца довольно простоты», сердце мое с непривычки даже стало немного побаливать: дело в том, что каждый второй из идущих смотреть как бы лично мной написанную комедию считал нужным остановиться возле меня, у подножия, и пуститься в обсуждение актуальных проблем эстетики. И наслушался же я в первый свой вечер! Устарел Островский или не устарел, надоел или нет? И что будет с русским театром? И когда же наконец запретят модернизм? А то даже театр абсурда придумали, вишь ты, делать им нечего! Останавливались, лениво спорили, каждый раз апеллируя почему-то ко мне; а мне только того и надо: датчик зуммерил, и психоэнергия неспешно текла туда, куда нужно.

Я устал, а Лаприндашвили, по-моему, откровенно подремывал, невзирая на то, что у самого подножия его как раз и кипели страсти; и серьезный бородачатый мужчина в очках и джинсовой куртке, ничего не боясь, хотя все же временами оглядываясь, объяснял нескольким своим приятелям и собравшимся вокруг них любопытствующим, что марксизм искажали и истины, которые преподносят им, не марксизм, а хороший марксизм, марксизм подлинный можно узнать, только прочитав всего Маркса.

— Ты читал всего Маркса? Читал? — доносилось до меня в тишине замирающей площади. — Нет, ты, жопочка, сначала всего Маркса прочти, а тогда уж и вякай!

Это был русский спор, беспощадный, бессмысленный. И отважный бородач, кивая на памятник, делал жест приветливого объятия — так, будто он обнимал этот памятник, вбирая в себя всего Маркса. «И течет же психоэнергия!» — думал я с глухой завистью, вполне обоснованной: на 1326 эргов Лаприндашвили меня обошел, это выяснилось под утро, когда нас, снятых с наших сидений и очищенных, опустошенных, отдавших психоэнергию, привезли в УГОН на разбор дебюта. За игру с заглавиями бессмертных трудов нас, само собой, покритиковали. Снизил нам по баллу, заработали мы по восьмерке.

Леоньч от радости места себе не находил: общие итоги нашей группы были поистине триумфальны.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Пасха Божия в тот год пришлась на двадцатые числа апреля, и Святая ночь для меня ознаменовалась странным подарком, вроде яичка расписанного: подарила судьба мне новые знания о забавном 33-м отделе и о людях, окружавших меня теперь.

Вечеру, в страстной четверг сошлись мы в УГОНе; за какие-то полгода всего стала наша УГОН мне домом родным. Выступая перед нами, сам Смолевич Владимир Петрович говорил о том, что все мы теперь немного яснее должны представлять себе, каково живется на земле Человеку. Всякому. Человеку вообще. Говорить об этом можно до бесконечности, но сейчас он очень советует нам пойти послезавтра в церковь — все устроено, за два часа до полуночи будут нас ждать, проведут со служебного входа. Верит каждый из нас в Бога или не верит — его личное дело; в 33-м отделе при кооптации в этом аспекте никого из нас не просвечивали. Но побыть во храме нам надо.

— А потом уж и прямо сюда, — расплылся в улыбке Леоньч. — К разговленьицу пакеты для каждого приготовили, официально называется «спецпаек». Для начала разговеемся здесь, за нашим учебным столом кое-что организуем, уважаемые коллекторы.

В церкви было невиданно хорошо: светлый сон, да и только! В золотистых переливах отблесков мерцающих в канделябрах свечей лица наши преобразились; и заросший щетиной Лаприндашвили смотрел древним грузинским воином, а простушка Ладнова — русскою мещанкой из пригорода, из слободки какой-нибудь: жилали раньше когда-то в слободах такие красавицы. Надо было видеть, как солидный, степенный Лапоть брал в огромные ручки тонкую свечечку, подносил ее к лицу Богородицы, благоговейно крестился, кланялся. В уголке притихла со свечкой давно уже усмирившаяся Ляжкина, а Лиана Лианозян то и дело жалась ко мне, норовила прильнуть. Когда я смотрел на нее, — отворачивалась, вздыхала.

Крестный ход под неистово благолепные возглашения о воскресении Христа; тоном выше: «Воистину воскрес!» После ма-а-аленьким стадом потопали мы

в УГОН, дамы каблучками выстукивали шаги по оттаявшему асфальту, вслушались — овечки или козочки к водопою идут. Дотопали до щели в заборе, а там и дворик. Пасха Пасхой, но мы, как всегда, спускались по одному, с особенным благоговением подсовывая волооком лейтенантам магнитные пропуска, наподобие тех общерастраненных кредитных карточек, которыми щеголяет обыватель в капиталистическом мире. На учебном нашем столе возвышался ведечный кулич, бесстыдно белел поросенок, в запотевших графинчиках лимонно желтела водка, багровели наливки.

Лапоть, малый чрезвычайно благопристойный, сидел рядом с Ладновой, удивительно ему подходящей. Лапоть был единственным, получившим только четыре балла; ему выпал Чайковский; поначалу все шло неплохо; удалившись от меня и от Лаприндашвили-Карлуши, Люциферова и Лада Любимова очень дельно ему ассистировали: остановили каких-то припозднившихся студентов консерватории, пококетничали с ними; те расчувствовались, решили немного поиграть на флейтах — психоэнергия повалила добротная. Но девицы, наладив музыку, упоркнули дальше, к Гиперболоиду, к Алексею Толстому, — еро Ляжкин лабал, почтенный молчаливый чиновник: сел, закинувши нога на ногу. А к Чайковскому притопали «голубые». Начались непристойности. «Голубые» нахально орали: «Петр Ильич, Расскажи, как ты с этим, с поэтом. С Апухтиным, что ли... Ты не робь, мы сами такие!»

Лапоть, как и всякий здоровый русский мужик, «голубых» и на дух не мог выносить. Он расслабился, плюнул в кого-то из них сверху вниз, удачно попал — вроде бы прямо в глаз. Оплеванный не преминул обидеться, съездил в ухо кому-то из компаньонов: ему в голову прийти не могло, что плюнул на него самолично Чайковский. Все пошло сикось-накось, началась потасовка, подскочила милиция, и чуть было Лапоть не засветился, не выдал себя, а это грозило капитальным провалом. Кое-как отвели беду, выручили те двое из группы прикрытия, появились вовремя, молча встали в сторонке, будто бы разглядывая афиши. Появления их было достаточно для того, чтобы драка тотчас же рассосалась, и великого композитора на рассвете оставили наконец в покое. Настал день, но днем мужику не работалось, сердце, как у нас говорят, закрылось, не воспринимало даже ту ПЭ, которая струилась вполне мирным путем. Огорчился малый невероятно; изо всех нас самый серьезный, он настроился трудиться на совесть, он намеревался делать в качестве коллектора-лабуха основательную карьеру, для начала же — заработать на «Жигули»: на автомобили коллекторов записывали в особую очередь, засекреченную; она двигалась сказочно быстро. А тут с первого раза срыв. В нашей группе, претендующей на некоторую интеллигентность, даже и на изысканность, Ладнова и Лапоть были из людей простых, немудрящих; им хотелось превзойти нас хоть в чем-то, как-то выделиться, и провал с Чайковским воспринимался ими болезненно. Оставалось прикрываться спасительной поговоркой о первом блине, да к тому же и триумфатор Ладнова пришла на выручку, утешала и ободряла душевно мужика, которого она называла ласково: Лапоток, Лапоточек.

Разговение прошло своим чередом, впереди маячили майские праздники — три дня сбора повышенных потоков психоэнергии, потому что даже какой-нибудь Хлорофилл-Тимирязев собирает в эту пору немалую толику драгоценной добычи: назначают свидания, невопад возлагают цветы, сочиняют и читают стихи — оно и славно.

Разошлись мы, как водится, по одному, но когда я, изрядно набравшись духовитого коньячку, волоча коробку с гостинцами, брел куда-то в безнадежных поисках зеленого огонька такси и забрел аж на Покровский бульвар, я услышал сзади шаги. Обернулся: милая Ляжкина во мгле предрагосветной. Бежит, задыхается.

Я остановился. Она мне:

— Ой, насили вас догнала! Проводите меня, пожалуйста, а то я с коробкой. Только, если можно, посидим немного сначала. Как тогда, зимой, не забыли?

Тихий-тихий Покровский бульвар круто уходит вниз. Перед нами казармы торчат настороженно, на то они и казармы; кое-где мелькают тени прохожих, у некоторых свечки в руках мерцают: донести свечу от церкви до дома и не дать ей погаснуть — к долгой жизни и негасимому счастью.

— Вы так быстро шли, торопитесь, да? Вас жена ждет, наверное? Я за вами вообще-то давно наблюдаю, — задыхается девушка. — Я решила, что вы хороший. Вам нравится наша работа?

— Ничего, — мямлю я. — Хотя попервоначалу я думал: интереснее будет.

— Вы Островским были, «Грозой»? Мне рассказывали. Мне понравилось, как вы с нашим грузиним поговорили. Оригинально! Ой, я пьяная, пьяная. И мне хорошо. А хотите, я вам что-то скажу, очень важное? Я же вам обещала...

Ни на что не напрашивайся, ни от чего не отказывайся — так стараюсь я жить, жить, поглядывая в сторону этой солдатской премудрости.

— Очень важное? Говорите.

— Я сначала спрошу, хотя в общем-то дело ясное. Вы куда, я думаю, добровольно пришли? Избавляться?

— От чего избавляться?

— От кого, наверное, лучше сказать. От этих, незримых, от преследующих вас.

— Откуда вы знаете?

— О, я многое знаю! Сюда часто такие приходят, защиты взыскуют. Незримые, они же наглые просто, ничего уж такого особенного в них нет, на кого-то они работают, кто за ними стоит. И они за людьми гонятся, хоть чуть-чуть выделяющимися. Донимают. На ошибках житейских ловят, на грешках всевозможных. А потом донимают, навязывают решения. Пытаются помыкать. Лезут в сны, всякой бред выпытывают. Было с вами?

— Было, коллега.

— 33-й отдел отыскивает таких, помогает избавиться от незримых. Но взамен... Взамен предлагает нашу работу, потому что у преследуемых сердце восприимчивое, большое, хорошо генерирует психознергию. Вас звали в ГУОХПАМОН. Динара была манком. Человеком-ловушкой, да она-то девушка очень простая, искренняя, она и не скрывала почти, что ловушкой была.

Семенили по бульвару бабули, свечки их мелькали сквозь черные сплетения еще не оживших кустов. Снизу, с речки, утренним холодом тянуло.

— Вас в отделе... Ах, как высоко вас ценят! Вы здесь гость, вы внештатник. Вам будет почет. А я пленница. Вам Динара говорила про девушку, которая в ГУОХПАМОНе работает?

— Катя, да?

— Вот-вот, Екатерина Великая. Я из древнего аристократического рода. Шереметева я. Нас в двадцатые годы почему-то не уничтожили. Уничтожили Долгоруких, Вяземских, Репниных. Кто-то спасся. Галя Репнина, например, живет под фамилией Нерпина, она по-своему гениальное существо, поэтесса, философ, княжна. Живет на Мосфильмовской. Княжна с Мосфильмовской улицы — уже и не замечаем смешного, несовместимого. А погибло сколько аристократов! Много-много погибло. Соловки, Воркута. А какие-то обломки оставили, и мы жили в секретной колонии, я да несколько юношей-рюрикovichей. Нам повышенное образование дали, хотя выдали аттестаты от имени несуществующей школы. Всех готовили в коллекторы-лабухи, это еще при Сталине началось: он решил, что его изваяния должны прежде всего аристократы лабать, и он в чем-то был прав: у потомков старинных родов сердца восприимчивые, а к тому же осанка, весь облик — этому не научишь. Вы же тоже из какого-то дворянского рода?

— Угу, — говорю, — но я-то из какого-то захудалого.

— Я в ГУОХПАМОНе практику проходила. Предвербовочная проверка, так по-ихнему называется. Меня, видимо, готовят в Ленинграде Екатерину Вторую лабать; пост почетный, ответственный, к ней кто только не пристает, в фавориты напрашиваются, в любовники, — это все, конечно, пьяные шуточки. ГУОХПАМОН напрямую с 33-м отделом не связан, он партикулярное учреждение, но, конечно, в ГУОХПАМОНе что-то как-то проведали. И прозвали меня Екатериной Второй. Там, в ГУОХПАМОНе, всего не знают. Может, только Динара, а так-то... Охраняют памятники, чинят, и все. А что весь ГУОХПАМОН на 33-й отдел работает, такого не просекли. 33-й отдел меня в ГУОХПАМОН и забросил.

— А потом? После ГУОХПАМОНа что было?

— А потом со мной поговорили. Что называется, по душам. Гордыню смиряли, чтобы восприимчивость обострить: в лабухи аристократы должны идти усмирными, сложенными. Дали глупую кликуху, якобы ЭВМ предписала такую. В общем, дрессировали. Только что не били по...по попе, как на выставке Молдавию злополучную.

— Милая, но вы же довольны? Вы так живо, так естественно кариатиду лабали.

— А что сделаешь? Я жизнерадостная, надо жить, зарабатывать. Мама старенькая у меня, я поздний ребенок, нам с мамой еле-еле хватает. Но не

в деньгах дело, мы обязаны отбавлять за двадцатые годы, за то, что в живых нас оставили, а могли же и уничтожить в качестве классовых врагов, социально опасных. Мы и работаем; дядю Джо красавец Юсупов лабал, ему даже орден какой-то пожаловали, Трудового Красного Знамени, кажется. Времена меняются, но экспансия 33-го отдела шириться будет. Здесь, у нас, в Россиюшке неоглядной, памятников, может, и поубавится; у меня предчувствие есть такое. Да и многие это чувствуют. Но свет клином на Россиюшке не сошелся, наши девушки уже и в Париже бывали химерами на Notre-Dame. Понимаете, французы до сих пор не додумались на верхушку собора девчонок ставить, дальше Жанны д'Арк не идут; легкомысленная нация, кто же не знает! А тем временем наши... Наши агентурную сеть расширяют непрерывно. Нелегалов множат. И работает девушка в Париже, в магазине цветов, продает гнацинты, тюльпаны, а ведь этот магазин, он же наша контора. День горбатит девушка, ночью — шасть на собор. В гриме, рожу ей делают страшную... ПЭ качает в посольство, а оттуда ее к нам переправляют дипломатической почтой, в вализах.

— Да-а, дела! Лида-Катя, а вы же, я полагаю, не должны были мне все это рассказывать, вы рискуете.

— Еще как рискую! Наш Леонов со всячинкой человек. Из потомственных он чекистов, тоже аристократ в своем роде. У него отец в тридцатые исполнителем был, палачом. И в пятидесятые тоже, он евреев расстреливал в июле пятьдесят второго, при Сталине. А Леонов хочет его грех загладить, доброту, гуманные начала в ведомство их внести. КГБ с человеческим лицом, одним словом. С человеческим-то, да... Но все-таки они непокорных вылавливать да убирать умеют. Следят, подслушивают. Но у страха глаза велики, им со страху много приписывают такого, чего и в помине нет. У них, как и всюду, то аппаратура ломается, то оператор заболит, а подмены ему не находится. Почему я вас опять именно на этом бульваре догнала? Потому что мертвая зона здесь, стык двух станций подслушивания. Тут до самой набережной можно трепаться, а повыше — до «Современника», театра.

Рассветало. Вниз по бульвару бежал, приближаясь к нам, неопределенных лет человек в тренировочном синем костюме; пробега мимо нас, глянул на нас, на коробики с гостинцами, усмехнулся и дальше: топ-топ... Утренний профилактический бег.

— Я уж заодно и про Лапρινдашвили, вашего друга, скажу. Я под Ляжкуину какую-то ими принуждена рядиться, а он под грузина из кавказского анекдота. А он знаете кто? Из князей он, и хотя там у них, в Закавказье, все князья, он-то князь настоящий. Галя Нерпина княжна и поэт, но поэт она пока все же еще начинающий, а уж Лапρινдашвили всем поэтам поэт. Новую систему стихосложения для грузинского языка он открыл, он пять или шесть европейских языков не хуже родного знает.

— А его что же к нам занесло? В наш подвал?

— Как и вас, не от хорошей жизни. Тоже спасается. В Закавказье, особенно в Грузии, невидимые необыкновенно усердно стараются. Исправлять, понимаете ли, нрав взялись. Информацию какую ни на есть у спящих людей собирать, а поэту, да еще и грузинскому, мало ли что привидится. И бежал он от них, будет он теперь то Карлушей, то Лукичом. А потом, возможно, в Грузию перебросят, там же Сталин, дядя Джо кое-где остался еще, да и общество сталинистов есть. Очень пьяная я, все я вам выложила. А про вас ничего я знать не хочу, только то, что Динара мне говорила. Знаю, правда, что вы хороший. А еще я знаю, что ценят вас исключительно высоко и какую-то работу предложат вам... Уникальную, да!

Снизу, с набережной, пополз первый трамвай, карабкался на пригорок. Доползет до конечной остановки, обернется у Кировских ворот и минут через десять — пятнадцать будет здесь. А какая же глупость: «Ки-ров-ски-е во-ро-та»! Когда были ворота, Кирова и в помине не было, а когда появился Киров, уже не стало ворот. Тем не менее... Да, трамвай обернется там, он меня напрямик до Чертанова догрозывает.

— Вам в Чертаново? Ух, далеко-то как! А мне ближе, до Новокузнецкой. Там вы дальше поедете, а я как раз и сойду... Спать хочу, просто сил уже нет, вся вымоталась. — И зевнула, сказав: — Извините, пожалуйста!

В ту пасхальную ночь Яша к Вере Ивановне прибежал — одинокий, растерянный.

Прибежал за час до торжественного мгновения: на экране старенького телеви-

зора выкрикивала песнопения Алла Пугачева; ее пламенные концерты, по замыслу каких-то таинственных импресарио, должны были отвлекать молодежь от толчеи у церквей. На диване, ножки поджав про себя, умирительно-кротко сидела Катя, что-то шила и на модную певунью поглядывала с тоской неизбывной: не могла надивиться тому, как нелепо проводят люди Святую ночь.

Яша горестно размышлял о крахе всей дружной ватаги: Юлий Цезарь и анархист в следственном изоляторе, сидят там с блатными, а блатные не слишком-то обожают насильников, да х.. с ними, с приبلудными этими: Яша ревностью истомился, трепетал, что гуру вздумает приближать их к себе. Не любил он их, но теперь он всячески гнал от себя нехорошее чувство, злорадное: попались, голубчики! С ними ясно. Но Боря-Яроб, но гуру?.. А тут Катя болтается, глаза пялит на всякую всячину, почему-то изумляясь не крупному и значительному, самолетам в небеси, космонавтам, телефону, телевизору или уж хотя бы сортиру, а нелепостям и пустякам. К очередям в магазины не может привыкнуть, к непристойным обращениям «Женщина!» или «Мужчина!». Немота разоренных церковью повергла ее в отчаяние, и только тогда отошла она малость, когда Боря выкроил время и свозил ее на вороних «Жигулях» в храм Ризположения на Донской. Катя истово шептала молитвы, Боря же, постояв у свечного киоска, чинно купил свечку потолще, за рубль пятьдесят; не крестясь, воткнул ее возле ближайшей иконы, вышел. Ждал у выхода, думал: «А, теперь-то, телка, крестись не крестись, не поможет тебе крест-то твой. Ты от дома далеко-о-о, связка порвана, наша ты...» Вышла Катя, распахнул перед нею дверцу. Шубы алой на Катеньке нет, слишком выделялась в ней девушка, шубу и снесла в комиссионку, в «комок»; но купила финскую куртку, джинсовую юбку, сапожки: брюк носить ни за что не хотела. Что ж, загадочность и маскарадность Катя утратила, но красавицею осталась. Отвез Катю на проспект Просвещения, заточили ее в квартире гуру, а тут беды посыпались: козни чьи-то, неустанные происки — из-за океана нагадить стараются, да и здешние, московские конкурирующие ватаги гуру не оставят в покое, падлы, суки позорные.

Гуру, стало быть, в Белых Столбах, там мучители в ангельски-голубых одеяниях делают ему укол за уколом, а у него аллергия, весь распух, покрылся прыщами. Яроб-Боря, граф, — в изоляторе. Никакой смертный приговор ему не грозит, потому что главпсихиатр города Москвы и Московской области жив остался; но беда, однако же, горькая: две жены, детей трое, обличать на суде систему, отвергающую нового мессию, гуру Вонави, будет просто смешно, это понимал даже Яша, понимала Вера Ивановна, удрученная горем и сознанием предстоящего срама: бичевать и клеймить систему Яроб-Боря все равно попытается, его будут прерывать, требовать, чтобы говорил он по существу. А уж имя Вонави-Иванова по-пустому трепать начнут.

Но жить надо, и у Веры Ивановны магазинный кулич на столе, называется «кекс весенний»: по весне, недели за две до Пасхи, на соседней кондитерской фабрике с давних пор переходили на куличи, сладострастный запах ванили усиливался, и жильцы близлежащих домов даже форточек открыть не могли: в их квартиры врывались ванильные веяния, все пропахло, диваны, мягкие кресла, посуда, белье. Тараканы, в изобилии ползавшие по стенкам квартир, и те, кажется, пропахли ванилью. Государство озорничало, шалило, подмигивало трудящимся: выпекало, а что — неизвестно. Кулич? Кекс?

Уселся за ужин.

— И зачем он это сделал, Боренька наш? — вновь и вновь сокрушалась Вера Ивановна. — Он же умный мужик, уж не знаю я, граф или князь, а ему померещилось, будто суд какой будет, процесс...

Яша что-то бормотал об энергетических волнах, которые он разошлет по вселенной, собирая силы единомышленников из Норвегии, Перу и Новой Гвинеи. Катя слушала деликатно, а добрая Вера Ивановна в первый раз в жизни усомнилась в доктринах своего благоверного, померещилось ей, что она начала прозревать:

— Уж какая там Гвинея, Яша-Аша, то ли Новая, то ли Старая! Меня следовательно Петров вызывал, ознакомил со всем происшедшим. Может быть, затемнение на Бору наслали? Ты как мыслишь?

— Это точно, наслали. А Петров их орудие, Вера Ивановна; шлют ему приказанья по ментальному плану, он и лепит на Бору дело.

— А с другой-то стороны вникни ты в его положение: пришел Боря к должностному лицу, угрожал, с кинжалом набросился. Если бы, конечно, этот враг наш, главпсихиатр, гуру вашего отпустил... Но и он не мог отпустить так просто, тут

повязаны все. Или верно мне соседка шепнула: в лапу дать надо было, уж скинулись бы, я бы серьги свои продала, золотые. В конвертике бы на стол и подсунуть...

Ничего не ответил Яша. Налил рюмочку водки «Русской», приподнял, выпил: он нарочно выпил за пять минут до полуночи — бросил вызов тысячелетнему ханжеству церкви.

Петров был изысканно вежлив, просил прийти к нему завтра, назвать удобное для меня время. Наугад я вытолкнул из себя: «Одиннадцать часов». Он ответил, что закажет мне пропуск, будет ждать.

Ночь я почти не спал. Обыватель, которого вызвали к следователю, как известно, тоскливо перебирает свои грехи и провинности; у меня их было навалом: например, еще прошлым летом я ездил в глухую деревню и крестил там сыночка Васю, регистрировать же сей акт и не думал, а напротив, потому-то и ездил, что отнюдь не намеревался ничего регистрировать. Милый батюшка, подвыпивший сельский священник, промолчал, но нашлись доброты, сообщили, что закон служитель культа нарушил? А по номеру «Жигулей» и до меня добрались? Что еще? И что-то подсказывало: гуру, в нем все дело!

Злополучного гуру я сроду не видел, все, что я рассказываю о нем, — реконструкция: как ученый-палеонтолог («на-у-ка!»), я воспроизвожу его горькую жизнь по репликам Яши и Бори.

И у следователя Петрова мы говорили, конечно же, о гуру и о Боре. Я о Боре — о подвиге от следователя и узнал, с опозданием, потому что вообще-то слух о покушении на главного психиатра города Москвы и Московской области уже полз из учреждения в учреждение, из одной всезнающей очереди в другую. Полали слухи, да все как-то мимо меня; и случившееся оказалось для меня сокрушительной новостью: показал мне следователь фотографию — формата открытки, цветную:

— Знаете ли вы этого человека?

— Знаю, — я пролепетал, а сердце упало: фотографии следователям на добрую память не дарят, думал я — мне уж очень хотелось так думать! — что-нибудь из быта СТОА, из отвергнутого прошлого Бори: что-нибудь стащили да сбагрили. Но угасла надежда.

А следователь — современный Порфирий Петрович — мудрствовать лукаво не стал: все мне сразу и выложил. Протокол показал, остальное и представить себе недолго.

— А Иванова вы знали? Общаться с ним приходилось?

Чистосердечно открещиваюсь: в глаза не видал Иванова, авантюристом его считаю, духовным растлителем, хотя, может быть, и несчастен он в чем-то.

— А Гундосов говорил, что... Да нет, не будем это фиксировать.

Что же мог говорить Гундосов, поручик Сытин, граф Сен-Жермен? Неужели обо мне говорил что-нибудь? Но зачем? Хотел показать, как солидно у них там дело поставлено: даже, дескать, доцент из УМЭ к ним заглаживал.

Борю я, как мог, выгораживал. Чисто по-русски: коль попал человек под пяту правосудия, его выгораживать надо, а с грехами его пусть Бог разбирается, но не люди в мундирах. Да и следователь склонен был Борю со своей стороны защищать. У него интуиция, опыт: моментально смекнул он, что все дело в гуру. Мы расстались друзьями; я вышел, размахисто перекрестился на храм Николы-Угодника. А уж и про нашего мага-умальца, и про Борино путешествие в XVIII век, и про Катю смолчал, разумеется: пусть я рассказывать следователю Петрову о вояже графа Сен-Жермена за девочку «крепостной, сам, глядишь, в Белых Столбах очутился бы — футбол смотреть повезли бы.

Шел по набережной — виаг тормозов: зелененькая «Волга»-такси. Из «Волги»... Смолевич Владимир Петрович: их машины, как известно, и под такси камуфлируются. Такси стоит, но угрюмый шофер зажигания не выключил, двигатель неслышно вибрирует: известно и то, что двигатели у них шестицилиндровые, шестерки, а поэтому самое задрипанное с виду такси может обрести прыть невиданную, какой хошь дипломатический «мерседес» догнать.

— Как, — Смолевич спрашивает, — дебют? Побеседовали с Марксом? Капитал, стало быть, — бешеные деньги? Да так, наверное, и есть...

— А вы, — по-глупому растерялся я, — какими судьбами здесь оказались?

— Хотите спросить, не гнался ли я за вами? — обиженно говорит. — Нет, не гнался. Просто увидел вас, проехать мимо считал неудобным. Заодно уж скажу, что

в отделе на вас не нарадуются, взяли детальный анализ вашей... Доли вашей, анализ на качество. И, знаете, психоэнергия высшей пробы! — Голос понизив: — Потом поговорим поподробнее, хорошо?

— Если нужно, — мычал я, — конечно...

— А пока с наступающим вас! — поклонился, втиснулся в «Волгу», умчался. Знать бы мне тогда, о чем вознамерился он говорить!..

Первомайские праздники...

Шел УМЭ на последнюю, как выяснилось позднее, первомайскую демонстрацию. Но от устья Волхонки до начала улицы Герцена, бывшей Большой Никитской, почему-то надо было бежать, догоняя тех, кто бежал впереди, и невольно всматриваясь в изнанку их лозунгов: «!йаМ — дурТ — риМ», — будто лозунги эти, пряча смысл разудалых слов от таинственных и враждебных сил, кто-то тщательно зашифровал, начертавши их шиворот-навыворот. Уж не знаю, понимали ли эту будетлянскую заумь враждебные силы, но мы на бегу тупо созерцали ее. И бежали, трусили рысцою, иноходью. Неуклюже виляя бедрами — а что сделаешь? — молодая наша Frau Rot поспешала, а за нею, на ходу потряхивая косичками, — ее девочки неразлучные. Бежал Гамлет Алиханович, на бегу стараясь элегантно поддерживать ректора под руку. И комсорг бежал, увлекая за собой представитель учащейся молодежи.

Иностранцы бежали: финночка Рита, две болгарки в расшитых синим и красным блузках, сухопарый немец-очкарик.

Бежал Байрон Ли. Рядом с ним...

Я тогда, на демонстрации, второй раз в жизни увидел страдальцу Катю. Нет, не Катю с дурацкой кликухой Лиды Ляжкиной, не княжну Шереметеву по прозвищу Екатерина Великая, а из XVIII столетия Катю, крепостную, выдернутую из времени, — если верить гуру, дочь доподлинной Екатерины Великой. Зимой снежной, только-только что отчужденная от привычного для нее уклада, на нелепом новогоднем балу в УМЭ она выглядела растерянной, обескураженной. И не знала, куда ступить, что сказать и когда: молчала. Байрон Ли необычайно помог ей: приударил за ней откровенно и, по-видимому, не расспрашивая ни о чем, деликатно подсказывал ей, что к чему в нашем мире. А потом ее, воспользовавшись сумятицей в доме Вонави-Иванова, сюда вытащил, на первомайскую демонстрацию. Не ошибся: ох, и красивая же!

Все — бежим: трюх да трюх, геп да геп, аж в печенках вроде бы ёкает. Мимо дома Пашкова, с крыши коего, как все знают, мессир Воланд со своими веселыми прихвостнями, по свидетельству Михаила Булгакова, погостив в Москве, отправился странствовать по пространствам и временам.

«Мир — Труд — Май!»

«!йаМ — дурТ — риМ»

Трюх да трюх, трюх да трюх...

Боже праведный, я, кажется, становлюсь сталинистом. Или брежневцем? Я, во всяком случае, с тоской вспоминаю о том, как старательно мы бежали, только гул стоял на Манежной пространной площади.

Как же так получилось, что бежали мы... весело? Радостно? Похохатывая над собою, вызываясь поглядывая на построенных шпалерами солдат с буквами «ВВ» на погонах: те стоят неподвижно, как монументы, а мы-то вприпрыжку бежим мимо них. И я радуюсь: на Байрона глядя и на Катю. Байрон счастливо улыбается, Катя — тоже. Будто с высокоиндейного плаката сошли они, с одного из плакатов, на которых обычно изображаются темнокожий рука об руку с полногрудой блондинкой-славянкой; они так поглощены заботой о светлом будущем, что и смотрят оба куда-то вдаль. Байрон с Катей немного умнее: они глаз друг с дружки не сводят.

«Мир! Труд! Май!»

И течем мы мимо наших правителей; мы, должно быть, виделись им кумачовой рекой, рекой жизни. А они нам?

Но на срезе Красной площади как-то мелеет река; и колонны рассредоточиваются, превращаясь в толпу.

Frau Rot со своими девочками, Гамлет, все куда-то исчезали. Но зато на спуске к Москве-реке подошел ко мне Байрон, сверкнул американской улыбкой:

— Извините, я раньше не мог подойти к вам. С праздником! А это, позвольте представить вам...

— Екатерина, — назвала себя Катя и руку мне протянула.

Байрон — очень чистосердечно:

— Катя в гости в Москву приехала из...

— Симбуховские мы, — сработала Катя под провинциалку из простодушных. — В Москве в первый раз.

— И как вам Москва?

— Да так... Все бегут да бегут куда-то, у нас поспокойнее, хоть, конечно, красиво живете. Красная площадь, ГУМ. Мавзолей, Ильича повидала...

Да-а, освоилась. И, конечно, чуть-чуть надо мной насмехается. Но умна, ничего не скажешь. Понятлива.

— Мы, пожалуй, пойдем, — почтительно кланяется мне Байрон. — А про реферат свой я, если можно, в конце месяца к вам приду проконсультироваться... — говорит, а на Катю смотрит откровенно влюбленно.

Дай-то Бог им!..

Перевернуто все в этом мире; и вообще, не живем ли мы за какой-то изнанкой его, не подозревая о существовании лицевой стороны и лишь смутно гадая о том, как она может выглядеть?

И усталые демонстранты бросают на мостовую отработавшие свое транспаранты и лозунги — текстом вниз. И опять я читаю дурацкое заклинание: «ЙаМ [дурТ] рйМ»

Застоявшийся в душе, пропахший подгнившим навозом конюшня жеребец вдруг выпущен был на волю. На зеленый луг, который он видел лишь издали, сквозь решетчатое оконце. Под покров простиравшихся над миром небес был он выпущен, в сияние солнца. Книжно? Книжно, но что же мне делать? Отродясь не видывал я жеребцов, на картинках лишь да в кино; а еще — в подвале нашей школы начинающих лабухов, там живые лошади были. Видел я жеребцов или нет, полагаю, сие не важно. Важно то, что я ныне почувствовал себя вольным, свободным конем, хотя правда, стареющим и сквозь редкие зубы шамкающим: «Старый конь борозды не портит!»

Я на лекциях в УМЭ теперь и о Павла Флоренского вдоволь могу комментировать, и милейшего беспомощного Николая Бердяева. А писать...

Что хочу, то пишу, и сам черт мне не брат. И не верится мне, что так можно: я начальные страницы моих неуклюжих записок набрасывал начерно, а потом обрабатывал в подполье, шифруя, и рассчитывал, что только после смерти моей кто-то где-то там, за бутром, предаст их огласке. Неоконченная, прерванная на полуслове машинопись у надежных людей хранилась, в Финляндии; и теперь мне остается лишь клясться, божиться в том, что все было написано так, как было написано.

Я пишу не роман, а записки. Их отличие от романа — не только в установке на полную достоверность, нет. У записок не может быть куль-ми-на-ци-и. У романа она должна быть и есть: и Евгений Онегин с похмелья отправляет к праотцам Ленского, а Раскольников убивает старуху процентщицу — заодно с совершенно ни к чему подвернувшейся ему под горячую руку сестрицей ее. А записки — поток событий, происшествий разнообразных. Стенограмма переживаний, фрагменты всевозможных мыслишек. Все подряд, высшей точки здесь нет и в заводе. И я думаю: где же у меня кульминация? Разговор со Смолевичем о целостности державы? Впечатления от УГОНа? Парад Лукичей в подземелье? Нет, нет, нет! Кульминации не просматривается!

Роман как бы поезд дальнего следования. Впереди — локомотив: тепловоз или электровоз. Далее — вагоны: почтовый, багажный. Пассажирские вагоны. В середине же — перебивка, сбой ритма: вагон-ресторан. И вагон-ресторан — центр, кульминация скорого поезда, останавливающегося только на крупных станциях. А записки? Записки вроде пригородной электрички. Нет отчетливо выраженного локомотива: движущая сила распределена по всей линии поезда, поровну. И вагона-ресторана, разумеется, нет; уж какой тут вагон-ресторан! Остановка у каждой завалящей платформочки: подбирают и одного пассажира, приподнявшегося дачника; подбирают влюбленную парочку. Тип мышления здесь не романский, несмотря на то, что есть, скажем, нож. Но ножи у меня доподлинные, и не я же виновен в том, что Боря-Яроб психиатра города Москвы и Московской области вздумал резать, а не, скажем, из пистолета шарахнуть. Почему? Это можно будет спросить у него, когда выйдет он на свободу; а он справится, выйдет и еще — пусть поманут тогда мое слово! — в надвигающемся на мир наступлении оккультизма примет участие. Если спросят его, почему орудовал он ножом, вероятно, ответит

он, что нож ритуален, а для шумного процесса ему надо было не просто убить психиатра, убрасть. Ему нужно было за-кла-ни-е. Ритуальное. А не то чтобы так: разрядить в психиатра обойму (пистолет-то добыть для него не проблема, смог бы).

То, о чем постараюсь поведать сейчас, тоже не кульминация; тут, скорее, дело идет к развязке.

Расскажу же — о страшном, воротившись во времени малость назад, к любопытной весне моего дебюта, пикировки с Лапчиндашвили-Карлушей и ночного пасхального разговора с Шереметевой-Ляжкиной.

Что случилось? И как?

Через несколько дней после нашего разговора припаравившийся Леонов, Леоныч, собрал нас в УГОНе: обучение завершалось, и теперь мы переходили непосредственно в 33-й отдел, расположенный... Да не важно, где именно он расположен, наметну лишь, что в одном из старинных переулков в центре Москвы, по-за Сретенкой, в якобы поставленном на капитальный ремонт трехэтажном заброшенном доме, во дворе: как только войдешь — направо.

Мы последний раз собрались за круглым столом, а Леоныч сел во главе и, поздравивши нас с успешным завершением курса, очень грустно поведаль нам, что следствие во всем разберется, а пока...

Аполлон, в нем все дело!

Было ясно: в День Победы, 9 мая, надо было назначить лабать Аполлона одного из самых-самых надежных коллекторов. В Аполлоны, оказывается, назначают коллекторов со стажем не менее пяти лет, подбирают четверку коней из подмосковного туберкулезного санатория: лошадей там держат ради кумыса, исцеляют им несчастных чахоточных.

— И они, — кривился Леоныч печальной улыбкой, — как мухи выздоравливают!

Отобрали лошадок, отвердители им вприснули. Отвердителя не хватило: одному коню, вернее, кобылке каурой, досталась половинная доза. Знали: отвердитель всегда вливает с запасом — и решили, что и полпорции хватит. Но одно к одному: безобразно, по-свински, накануне на свадьбе надрыгался опытный лабух.

А план выполнить надо было любой ценой. Понимали, знали по опыту: на 9 мая в сквере возле Большого театра собираются ветераны, встречаются. Ордена сверкают, медали. Самодельные таблички с номерами полков, дивизий.

— А бывают обиженные. — Леонов негодовал. — Наше ведомство помогает, чем может, исподволь. Но не наше же это дело — помощь обиженным ветеранам, тут райкомы, райисполкомы, военкоматы. А они тому квартиры не дали, тому пенсию сократили. Огорчаются люди; бывает, и плачут. И тогда к Аполлону вызывают: «Помоги: ты же бог!» Тут, конечно, и наши товарищи инспирируют, сами знаете теперь, апелляции к объекту иногда для почина собрания ПЭ инспирировать надо. Выдаем мы товарищам ордена под расписку, гримируем под участников Великой Отечественной. Они справно работают, начинают. А вообще-то и без них обошлось бы — одна тетка из фронтовых медсестер в позапрошлом году даже и в стихах сочинила что-то вроде: «Аполлоша, ты хороший, дай квартиру, Аполлоша...» Рифмы были там, все честь по чести. Может, с литературным языком у нее кой-какие неполадки и могли иметь место, но душевно все было, искренне. Хором пели медсестры, голосочки у них старушечьи, дребезжат голосочки; но энергия текла да текла. План тогда у нас получился на сто семьдесят девять процентов, во...

А тут — план под угрозой срыва. И тогда...

Тогда добрый наш гений Сережа, Сергей, вызвался сыграть Аполлона, опыт был у него, а бога сыграть мечталось ему давно.

— Мы же все любили его, — скорбно ронял Леонов. — Он душевный был, он гуманный был человек. Да опять же, режим... У него, как следствие выяснило, нарушения режима имели место. Сис-те-ма-ти-чес-ки-е! Аморалка, да. Не знаю уж, как там; может быть, конечно, и большая любовь была, но у нас не положено. И сошлось одно к одному...

— Может, Яшенька, рассольчику примешь?

Ашя-Яша пил все праздники непробудно.

Хорошо известно, что дни между 1 и 9 мая в уходящей ныне в прошлое странной державе составляли неделю сплошного повального пьянства, благо тут подвораживались и День печати, и День радио. Вот и пили. Пили, демонстративно

закусывая страницей газеты «Правда», то есть делая вид, что ею закусывают: хватят добрый стаканчик, крикнут, скомканную газету попохают, как бы вроде и пожуют. И под радиомызыку пили. И за встречу пили, и за знакомство, и за дружбу, и — чоком — за все хорошее. А уж ежели и свадьба какая-нибудь подвертывалась, напивались вдребезину, вопя и стеная: «Горько-о-оо!» Яша пил просто так, в перерывах между бутылками-«пузырями» порываясь слать ментальные сигналы то куда-то в Казань, то в Пензу, а то даже в Норвегию и в Гвинею. Но молчали славные города Казань, Пенза и Осло; и Гвинея не отзывалась; лишь видения серыми кругами носились в сознании: городишко в Смоленской области, и в зеленых мундирах пучеглазые немцы достреливают евреев в овраге, и евреи оттуда кричат по-немецки, немцы же по-еврейски лопочут; и евреи встают из могилы, отряхивают землю с рубиц и хохочут, хохочут, потому что все это, оказывается, было игрой, не взаправду, и тогда от радости принимался безудержно хохотать и сам Яша-Аня, а печальная Вера Ивановна наклонялась над ним:

— Может, все-таки выпьешь рассольчику, а? Я на рынок Катеньку посылала, огуречиков она принесла соленьких, да рассолу плеснули ей, клёвый рассольчик, крепенький. — Тут заметить нелишне бы, говорила Вера Ивановна по-московски с уменьшительными суффиксами, и от этого мир в изображении ее становился уютным и как бы миниатюрным; суп был «супчиком», «цветочками» были цветы, огурцы же — «огуречиками».

— А где Катя? — сонно спрашивал Яша, с пьяной тщательностью вслушиваясь в московский распев.

— Да на рынок она сходилась, а уж после с этим своим, с негритосом куда-то поехала, сладу с ней теперь нет, да и то, чего же в четырех стенах держать девочку...

— С негритосом? С каким негритосом?

— А коричневый такой ее негритос, вроде бы из шоколаду он вылеплен. А так вежливый, культурный. Мне цветочков принес, духовитых...

Не ответив, Яша поднимался с дивана, плелся в совмещенный санузел. Блевал. Возвращаясь, смотрел на Веру Ивановну, еле-еле ее узнавая:

— Шамбала, мать ее... Шамбала поругалась с Астартой, перекрыли каналы, но гуру непобедим и велик, верно я говорю?

Снова слал по менталу сигналы. Теперь — Боре. От Бори пришел ответ; просигналил: «Мне плохо! Плохо!» «А что делать?» — запрашивал Яша, сосредоточившись. Но в ответ только слышалось монотонное: «Плохо мне!» И опять провалы, кружение видений: в яме немцы, а стрелять по условиям веселой игры теперь будут евреи; и какая-то растрепанная старуха в капоте, уперев в живот автомат, пытается нажать спусковой крючок, не находит его, и из ямы выкарабкивается немец, смеется, бережно берет у нее автомат и бросает его ей под ноги; они пляшут — офицер с серебряными галунами и старуха, — взявшись за руки, радостно.

А плясали внизу, на свадьбе. «Горько!» — доносилось оттуда. Наступала пауза, слышался поощрительный хохот, а потом со своей характерною хрипотцой что-то очень многозначительное пел Владимир Высоцкий. И опять окружающее окутывалось туманом: в забытье погружался Яша-Аня.

— Динка, срочное дело, — как-то даже взвизгнул Сергей, положив на рычаг телефонную трубку.

— Опять осквернение? — нежилась Динара в постели: смяты простыни, а свеженький майский ветер даже в окно их с Сергеем убежища просочился. Далеко на улице Горького, у Моссовета, играет оркестр: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна-а...»

Очень-очень любил Сергей, когда Динара отдавалась ему под утро, в сером сумраке предрассветном. Тогда узенькое породистое ее личико, делающее ее на японку похожей, неожиданно становилось широким, раздувались ноздри, и веяло от нее дымным азиатским кочевьем, степью весенней, травами. Вдали горы белеют вершинами. Неподалеку табуны, а в высокой уютной юрте — юная казашка с проезжим офицером-гяуром, уж такую поэму про себя и Динару сочинил Сергей, старший оперуполномоченный, капитан государственной безопасности. И стонала Динара, скосивши глаза на лице, которое неожиданно становилось лунно-широким: «Еще, милый! Еще, сильней ты мой, мой красавец! Еще-ее!» И к нему приходил огонь, тек откуда-то с плеч, растекался, пронизывая все тело, выплескивался. «Гераклитов огонь, — рычал он, — начало всей жизни...» И охваты-

вало обоих бла-жен-ство. На казенном же языке называлось все это моральной распушенностью, в лучшем случае — не-ус-той-чиво-стью. На жаргоне же — аморалкой. Или ласково, на московский манер: аморалочкой. Да еще и в секретнейшем служебном объекте!

— Осквернение? — повторила Динара капризно.

— Нет, — сказал Сергей, и лицо его напряженным сделалось. — Осквернение — ладно б, праздники, дело обычное. Аполлон забарахлил, такое, брат, дело.

— А что значит «забарахлил»? Не мотор же он, а вроде бы бог.

— К сожалению, не мотор. Не в себе он, под градусом, и лабать в таких случаях стро-жай-ше запрещено.

— Неужели упился? Так он что же у вас: Аполлон или Вакх?

— А мы разве не такие, как все? Я тебе тыщу раз объяснял, из себя мы непогрешимых не строим. Как в других учреждениях, так и у нас бывает.

— И что делать? — Динару холодок охватил: начала о чем-то догадываться.

— Богом стать, какой смертный о таком не мечтает? А я смертный, Динарочка.

— Предлагали лабать? Аполлона?

— Намекнули.

— А ты?

— Попросил полчаса подумать. Соглашусь!

— Сереженька! — И вскочила с постели.

— Что «Сереженька»? Ты пойми, я об этом мечтал, все-то грезилось мне:

Аполлон. Есть такая гипотеза: когда шибко искренне коллектор объект лабает, проникается духом объекта, то какие-то частицы дарований объекта к нему переходят. Если Пушкина, Повесу, долго лабать, самые тупицы да охламоны начинают стихи карябать. И притом, говорят, хорошо получается. Не печатают их, правда, потому что протест там, вольномыслия много или мистики разной, но хвалят. А кто «Облако в штанах» полабал, те по-новому пишут, в модернисты идут или в постмодернисты. В Аполлоны нарочно тупиц подбирали; понимаешь, если интеллигент какой-либо да еще и от бога поднаберется, тогда мало ли что учудить он захочет, покровительствовать искусствам, положим, а у нас им партия покровительствует, никаких Аполлонов не нужно. Так что тех, кто поинтеллигентнее, в Аполлоны не допускали, воздерживались. А сегодня, считай, выпала мне удача. Звездный час мой! Пойду!

— Я с тобой! — женской нежностью всплеснулась Динара. — Уж как хочешь, а я с тобой!

— Да ты что? Куда же ты, на колесницу полезешь? Так тебе там места не предусмотрено. Музой, что ли?

— Нет, я так, позади. За колесницей твоей. Притаюсь за колесом, тихо-о-онечко буду сидеть. Там должно быть красиво-о-о! Москва, площадь. И салют хорошо смотреть. Заступать тебе надо когда?

— Все объекты, как правило, в полночь сменяются, с последним ударом курантов. Аполлон — исключение, в честь того, что бог солнца, — в полдень.

— А прохождение? Москвичи и гости столицы?

— Отвлекающий маневр предусмотрен, даже несколько. А бывает, наши девушки-лейтенанты из ЦУМа киоск прикатят на площадь, вроде бы продавщицы они. Детские колготки продавать начинают, тут, Динарочка, не до бога становится, сумасшедший дом начинается. Нет колготок — скандалы придумываем. То троллейбус съездет на тротуар, то драка. Двое наших, из группы прикрытия, спор заводят, ярятся. Хрясь по морде! Гам, визг, милиция. Толпа собирается, в небеса в такие моменты ни один дундук не посмотрит, все внимание на дерущихся устремляется. А как только кончается драка, тут-то и начинают глазеть. Было даже: «Аполлона бы постеснялись!» — одна тетка сказала, учительница. Полчаса про Аполлона талдычили, лишь бы побездельничать; психоэнергия и накапала. А сегодня день никак нельзя пропускать, план срываем.

— Но есть же и подлинник?

— Что уж подлинник! Прометей, он не зря поработал, уволок у богов их огонь. Сказать проще, он тайну их выведал, первым в мире лабухом стал; он методику сбора психоэнергии профессионально разведal и открыл ее людям. И теперь весь Олимп их, все боги вместе за рабочую смену столько ПЭ не возьмут, сколько дельный лабух за час.

— Тебя в полдень поставят? Ой, как интересно-о-о!

— Ровно в полдень. Мне что, Динарочка, важно? Богом быть — это раз. А второе — в управлении кадров мне сегодняшнее запишут в активный баланс,

добровольный выход на пост исключительной трудности приравнивается к подвигу, такая традиция. И тогда уж придираться не станут, если я...

— Если что?

— Если я с женой разведусь.

— Ой, не надо!

— Как «не надо»? На-до! Мы с тобой жить друг без друга не можем, я хочу, чтобы все открыто и честно было. А сейчас попробуй в управление кадров сунься с одной только мыслишкой о намерении развестись и по-новой жениться — съедят и косточки выплюнут.

— А опасно это, быть Аполлоном? Высота же там жуткая!

— Там страховочный пояс есть, цепь такая, ее снизу не видно.

— Будешь, значит, на цепочке привязан? Как собачка? А потом понравится тебе, перейдешь в профессиональные лабухи. Мы распишемся, я тебя буду ждать; обед приготовлю, постель. — Потупилась. — А где муж, горячо любимый? А его, аки пса, на цепи содержат, да еще и на крыше Большого театра. И пойду я в скверик, сяду на лавочку, стану снизу на тебя любоваться, заодно и ПЭ я подброшу моему псу...

— И не аки пес: аки бог! Ты ж сама говорила: мечта всякой женщины — богу отдаться...

Зазвонил телефон. И снял трубку Сергей и назвал себя кодовым именем. Выслушал какой-то вопрос и ответил:

— Да, товарищ седьмой... Да, согласен. Готов выполнить любое задание 33-го отдела Комитета государственной безопасности!

И упали они оттуда, оба упали: Сергей и Динара.

А потом, за ними, — и лошадь, один из коней Аполлоновых. Может статься, впрочем, что сначала лошадь упала, а потом и они: потянула их за собой. Не знаю. Ох, не знаю, потому что меня же, как говорится, там не было.

Но свидетелем я все-таки оказался; вернее, почти свидетелем. Годовщину Великой Октябрьской сынок Вася встречал со мной, Первое мая — с мамой. А девятое, День Победы — снова мой день.

Мы салют пошли посмотреть, внедряясь в гущу народа, на Красную площадь. Толча непотребная, разумеется; гул толпы. Иноземцы шныряют, блицами щелкают.

Вася мой салютов с младенческих лет почему-то побаивался, я хотел его приучить к ним, чтобы рос он обыкновенным московским мальчишкой — из тех, что при первых же залпах наперегонки несутся куда-нибудь поближе к орудиям и истошно вопят: «Салю-ю-ют!»

Баббах! — в небо первые ракеты, белые, сиреневые и розовые.

— Как цветочки, — лепечет сын.

— А ты, Вася, больше не будешь бояться цветочков?

Помалкивает, только слышу: виновато сопит.

Бабахх, траххх! — теперь голубые и алые. И еще раз. Еще!

И приободрился народ. Подтянулся. Кое-кто улыбаться начал: это уж потом вольномыслием зараженные отщепенцы додумались и Победу сорок пятого года под сомнение ставить, может, дескать, лучше ее и не было бы? А еще недавно именно за этот праздник цеплялись, понимая, предвествуя: он — последнее, что у нас остается бесспорным, устойчивым, радостным.

Весь авторитет человека, его славу запечатлевают памятники, монументы, скульптурные изваяния; лабухи снимают со славы навар и трудолюбиво, как пчелы, поставляют психознергию в 33-й отдел.

Есть авторитет события: революций, народных побед.

Авторитеты рушатся, падают, отменяются. Но авторитет победы над внешним врагом, над нашествием должен оставаться неизблемым, не то мы, усомнившись в нем, и до наполеоновских времен доберемся: зря, напрасно прогнали мы Бонапарта; покорил бы нас, оно, может быть, и к лучшему обернулось бы.

Бах-х-ххх, баб-б-бах! Бух-х-х, бубух-хх! — уже двадцать третий залп.

Грох-х-хх! — уже, значит, к концу подошло: последний.

Потемнела площадь: после треска и блеска салютов она видится мрачноватой. — Все! — вздыхает толпа. И внезапно: — Бббабах-х трах-тах-тах — двадцать пятый, сверхплановый залп.

— Двадцать пять? — недоумевают. А еще через полминуты откуда-то снизу, с Театральной площади, — визг истощенный.

И визг катится оттуда волной, нарастает, от Музея Ленина к нам на пригорок: мы-то с Васенькой притулились у Исторического музея, и я Васю уже на мостовую, на брусчатку спустил.

— Папа, папа, а почему это люди визжат? — тормозит мой наследник меня, тербит за рукав. — Папа, больно им делают, да?

Только к празднику Победы, к вечеру прочухался Яша-Аша, протрезвел. Отчужденно озирался вокруг: недопитая бутылка «Столичной», а на табуретке возле дивана — рассол в мутном, неопрятном стакане. Уф, противно!

Вышел Яша на кухню, пошатываясь. Сидит Вера Ивановна — постаревшая, щеки ввалились. Продавщица напротив, спиной к окну, так что лица не видно. И помойное ведро в уголку, доверху набитое: из-под молока пакеты, какие-то тряпки.

На столе коньяк, икра красная в баночке, масло.

— Отдохнул? — это Вера Ивановна.

— Угу, а Катя не приходила?

— Нет, салют смотреть поехали, в центр куда-то. А ты здесь посмотри, с балкона можно, хорошо видать будет.

На балкон дверь открыта. По праздникам не работает кондитерская фабрика имени Клары Цеткин, и ванилью не слишком разит.

Яша смотрит на стенные часы, деревенские ходики — их когда-то привез гуру из Пензенской области и приколотил на стене в городской квартире: уютно.

До салюта десять минут.

— Поглядим на ихний салют, — цедит Яша сквозь зубы. — А потом уж я поплыву, пожалуй. Домой надо. Буду звонить, как и что...

— Уж ты, Яшечка, нас надолго не оставляй, одиноко нам будет.

— Не оставляю!

И все трое идут на балкон. Там, внизу, не дождавшись первого залпа, ребяташки уже пробуют голоса, как артисты перед выходом на подмостки. «Салют-ю-ют!» — кто-то звонко кричит. И с другого конца двора впереклич ему раздаётся: «Салют-ю-ют!»

— Бог упал! — пробивается голос сквозь визги толпы.

— Бог упал!

— Навернулся...

— И лошадь с ним...

Нам — уйти бы. Смотраться бы мне, уведя с собой Васю: по Никольской, то есть по улице 25-го Октября, переулочками и куда-нибудь вниз, к реке. Но нет сил: я уже догадался о чем-то, и в потоке людском, полупьяном, гогочущем, стонущем, держа за руку сына, хромаю я вниз, в круговерть Театральной площади. Не могу удержаться, смотрю на Большой: так и есть, три коня возвышаются, копыта подъяв, а четвертого, крайнего, нет. И бога на месте нет. Тут прожектор, озаряющий Аполлона, погас — догадались его погасить. И Большой, величавый ГАБТ, погрузился во тьму.

— Бог упал! Бог упал только что! — расползается по толпе.

— Да чего разорались: «Упал, упал!»? — Старикашка какой-то, из русских людей, насквозь изъеденных скепсисом. — Бог давно уж упал, еще в тысяча девятьсот семнадцатом.

— Может, сбросили бога?

— А его еще в семнадцатом сбросили. — Старикашка не унимается, язвительно шамкает.

— Так другого же сбросили, нашего. А этот языческий...

— Греческий...

Пробираются сквозь толпу фургончики: «Скорая медицинская помощь». Их аж три, пробираются они с разных сторон. Ага, вот и знакомое: «Мосгаз. Аварийная». Красно-желтая будочка на колесах подкатила: по-нят-но!

Мне б уйти, но говорю же: нет сил. Пробираемся дальше, от Музея Ленина через площадь и — в сквер. Там толпа, но толкуются все-таки на аллеях, а газоны стараются не топтать, культурные стали.

Пробираемся, на ходу ловя реплики. Чего только тут не услышишь: и летающая тарелка пролетела над театром, по башке Аполлона задела, скovyрнула с тележки, он и грохнулся вниз. И еще один старикан, серебристо-седенький, весь в медалях, из

ветеранов, произносит очень отчетливо, будто приказ отдает: «Цэ-эр-у это все! Цэ-эр-у!» И по-сталински категорично: «Вредительство!»

— Чье вредительство? — из толпы, настороженно.

— А уж там разберутся, чье...

— Разберутся!

— Бог упал, скovyрнулся!

Ох, не придушили бы Васю!

Осенает: протискиваюсь к Марксу, к Карлуше. Не зря все-таки нас Леоньч терпеливо учил различать, где бронза да камень, где лабух. По известным теперь мне признакам безошибочно устанавливаю: наш брат. Да оно и так ясно: всенародный праздник, объекты, особенно в центре города, непременно должны подменяться коллекторами — и Янкель-Свердлов, и Ванечка-Шрифт, Иван Федоров, первопечатник, и Железный Феликс, и Минин с Пожарским. А Карлушу, того уж и Бог им велел...

— Слушай, друг, — говорю я, почему-то стараясь не смотреть Карлуше в глаза, глядя в сторону. — Я такой же, как ты. Из тридцать третьего. Мы с тобой понимаем, что тут к чему. Я протиснусь, пойду взгляну. А мальчишка со мной, сынок. Его Васей зовут, так ему ни к чему туда лезть. Я к тебе его подсажу, посидит он, а ты присмотри. В случае чего, сам знаешь, экстраординарные меры самообороны применять дозволяется.

И, набравшись смелости, на Маркса смотрю, поднимаю глаза. Он кивает едва заметно, улыбается. И чуть слышно, губами не шевеля:

— Лады, — говорит.

Васе:

— Ты, сынок, посиди с этим дедушкой, с Марксом, он хороший, детишек он любит. А я быстренько...

На глазах у сыночка слезы, но сдерживается, не хнычет:

— Пап, а ты не надолго?

— На минутку, сынок. — И подхватываю Васю, подсаживаю. Он цепляется за бороду Маркса. Ничего, не отвалится борода: гример свое дело знает. А Вася уж рядом с Марксом: сидит, ножонки в сандалиях свесил.

Я ввинчиваюсь в толпу. Прижали меня к пьедесталу Грозы-Островского; ничего, оттолкнулся и, глядя, я у цели. Но пока то да се, опоздал: санитары вталкивают в фургончик носилки, покрытые простынями. И срываются с места фургончики с ревом — туда, на Петровку. Дело ясное: на пересечении Петровки с Кузнецким мостом свернут вправо, рванут круто вверх и — к нам, в 33-й. Там своя медицина; да уж что теперь медицина!

Только лошадь-лошадка бьется на мостовой — аккуратно у углового подъезда Центрального универмага (бывший Мюр-Мерилиз). Ах ты, бедная! Каурая, милая лошадь поднимает голову на тонкой шее, умоляюще лиловые очи — поводит ими. Ржать пытается, но из горла — только беспомощный хрип да фонтанчики темной-претемной крови.

«Мосгаз. Аварийная» подальше стала, у служебного входа в универмаг. На нее не обращают внимания. И смотрю, она тихо-тихо отчалила, туда же направились, в глубь Петровки. Неужели успели — обернулись уже, заменили?

— Расходитесь, граждане! — дудит в мегафон подполковник милиции. — Расходитесь, прошу вас, не омрачайте друг другу всенародный праздник Победы! Сейчас скорая ветпомощь прибывает, заберет животное... Расходитесь!

— Конь о четырех ногах и то спотыкается! — понимающе гудит кто-то.

— Вот именно, — дружелюбно, по-домашнему подхватывает подполковник. — Был наряд конной милиции, конь споткнулся, упал, ничего не случилось особенного.

В подполковнике нетрудно узнать Леонова нашего. Я протискиваюсь к нему и, опять же на глядя, в сторону:

— Кто упал?

Он старательно не узнает меня, отворачивается. Но я неотвязен:

— Вы мне только шепните, кто?

Он, не глядя на меня и делая вид, будто что-то регулирует в матюгальнике — в мегафоне:

— Сергей Викторович наш. А с ним... Не пойму, как она туда забралась, из ГУОХПАМОНА, Динара. Оба насмерть, летальный исход. Вы идите, после все расскажу...

Оттесняют меня двое безмолвных, в одинаковых серых нейлоновых курточках и в надвинутых на глаза шляпах. Шепчут мне:

— Не положено!
Динара? Сергей?

Теперь, задним числом, иной раз и кажется мне: я что-то предвидел. Предчувствовал. И они, они оба тоже предчувствовали конец: припоминаю загадочные обмолвки, мимолетные взгляды, которыми они иногда обменивались. Впрочем, задним числом чего только не придумает человек!

Аполлон озарен снова вспыхнувшим светом. В темном небе шарят лучи прожекторов. Я у Маркса уже, у Карлуши. Я с опаской и с недоверием взгляд бросаю наверх. Да, а все-таки в КГБ умеют работать: Аполлон на месте стоит, возвышается, и по левую руку его — полноценная лошадь. На всю эту группу навели лучи еще одного, дополнительного прожектора; и предстал Аполлон, как ему и положено, в лучах солнца.

— Папа, а ты уже пришел? — вопрошает Вася, сидя рядышком с дедом Карлушей. Я снимаю его:

— Хорошего, — говорю, — понемногу.

Из последних сил говорю: онемел почему-то. Но не следует показывать мальчику, как мне больно, как трудно мне.

У самого входа в метро — встреча.

— Здравствуйте, — почтительно улыбается Байрон. — С праздником вас!

— Байрон, милый, — хрипло я все еще не до конца оттаявшими губами. — Рад вас видеть, вас тоже с праздником, раз уж нам судьба такая выпала по праздникам друг с другом встречаться.

Катя к нам подходит — стояла в сторонке, изучала афишу какую-то:

— Здравствуйте!

— А вы слышали, — спрашивает Байрон, — говорят, будто бы Аполлон упал. Но тогда почему же он на месте стоит?

— Никуда он не падал, — назидательно встревает в наш разговор тот, с медалями, который про ЦРУ разорился. — Распускаются, понимаете, глупейшие слухи. А может, они и не такие уж глупые? Провокационные слухи?

— В самом деле, Байрон, — я говорю. — Все в порядке. Какая-то лошадь споткнулась; вероятно, где-то конная милиция оплошала. А народ возбужден, много пьяных, черт-те что и придумали от большого ума. Вы идите гуляйте.

Байрон вежливо кланяется. Катя делает изящнейший книксен — не напрасно же возили ее на Поварскую к француз-танцмейстеру.

И они исчезают в толпе. А мы с Васей — в метро, в подземелье. Там небось тоже наши работают, лабухи: и девчонка с глупейшими петушками, и рабочий с винтовкой, и пограничник с собакой.

Но с меня на сегодня довольно. И собаку, надеюсь, в 33-м отделе снарядили надежно, на людей бросаться не станет.

Да, ее снарядили, собаку-то. А лошадка, видать, под-ве-ла!

А как было?

Я работал 11 мая: снова «Гроза», Островский — выпускной экзамен, ответственно.

Слева снова Лаприндашвили; но уже не острили мы, не резвились, или, как теперь говорят, не ерничали. Он стоял, глубоко задумавшись, я сидел, размышлял да нет-нет и косил глазами направо, на роковой перекресток: позавчера я предал его проклятию.

Горько было. Неправдою было б сказать, будто я, опережая события, мысленно видел их, Сергея, Динару, лежащими на проезжей части в горловине Петровки, в лужицах крови. Нет, не видел, конечно. Но все же предчувствия были...

Вспоминал я ту встречу с Сергеем, когда он Аполлоном, Аполло, выехал к нам — там, в подвале. А Динару-приманку когда же я видел в последний раз? Уж и не припомню; зимою как будто: зашел по старинке в ГУОХПАМОН, у них неуютно было: затоптанный пол, черные подтеки снега растаявшего. Рабочие в резиновых сапожках, в растоптанных валенках, засунутых в огромнейшие галоши, ругались, никого не стеснясь. Динара сидела за столиком, накинув на плечи дубленку: было холодно. Раздраженно просила всех: «Дверь закрывай-те!» Кивнула мне, предложила садиться. Сел в уголку, листал потрепанный «Огонек». Когда мы остались вдвоем, улучив минутку, Динара все же ласково, даже кротко на меня посмотрела, спросила: «Не обижаетесь на меня?» «Да нет, — ответил, — чего уж тут обижаться. В конце концов я же сам...» Что именно «сам» — понятно. Но разговора не получилось. И ушел я тогда и больше не видел девушку.

Упала. Разбилась. В далекий Талды-Курган телеграмму отбили, вскоре, говорят, прилетели оттуда родители: казах, участник войны, и мама-учительница. Когда-то отправили дочку в УМЭ поступать, а она... Ах, мысли, мыслишки мои! Сичу размышляю.

А вечером, совсем к концу смены, из-за поворота, с Неглинной откуда-то выплыла... Лиана Лианозян. Подошла к пьедесталу, вздохнула и заговорила в пространство:

— А я к вам так просто пришла. И предлога не стала выдумывать, взяла вот... пришла. Отдохнуть. Я вчера Скорбящую Мать лабала, довольно далеко от Москвы. Скорбящую, да... Вы мне не отвечайте, пожалуйста, не надо. Вы сидите лабайте. Работайте. Я поговорю и уйду... Хорошо вам работается, по-моему. И я тоже клево работала: перекресток, машины проедут, притормозят, люди пройдут, на меня поглядят, поглазуют. Экскурсия была... Восьмерочку мне поставили, потом психоэнергию сняли. В Москву меня привезли, а после депсихоэнергетизации пройтись погулять посоветовали...

Помахала мне ручкой, ушла. Влюбилась в меня, не стесняется себя предлагать? А что ей во мне? Одутловатый, в очках. Лысею катастрофически. С женой разошелся, а Люда... Люда терпит меня. Наверное, расписаться нам надо — тыфу, слово какое мерзкое! А Вася? Живет-поживает он с мамой и с бабушкой, иногда его допускают к отцу; с любовницей отца он престранным образом дружит, и она в нем души не чаёт. Островскому драма такая и во сне не привиделась бы. Разваливается все. Эвон, семья во что превратилась. Неужто же и государство развалится? А впрочем, вечно мы на политику да на доморощенную историософию норовим перебраться, а мне бы о Динаре подумать и о Сергее-бедняге...

И стал я реконструировать, как же все было. Впоследствии оказалось, все точно реконструировал, одной лишь подробности не угадал...

За Сергеем, надо думать, приехали. На машине «Мосгаз. Аварийная», хотя Аполлона менять приходится по-особенному, почти что вручную. «Дежурство сдал, — отпартовал Сергей сменщику, ткнул пальцем в книгу дежурств. — Ничего особенного, двух Лукичей в Любине покарябали да Янкелю опять Тель-Авив на спине прописали; я сразу распорядился, соскабливают уже...» «Дежурство принял», — ответил сменщик, стараясь не дышать на Сергея, уж больно коньяком от него разило: его разыскали аж в Тушине, вызвали.

Сергей забрался в красно-желтый фургон; там же и заgrimировали его, и отвердителем зарядили. Ехать всего два шага. Подъехали к служебному входу. Поднимались, наверное, в лифте: есть же там лифты? Вышли на кровлю. Тут — странность: у входа на чердак и на кровлю Большого театра стоит автоматчик, а с ним — лейтенант, не меньше; стоят они по традиции: отсюда же можно и Кремль обстрелять, и вся Москва преотлично знает, что крыши на Библиотеке имени В. И. Ленина и на зданиях гостиниц «Москва», «Метрополь», «Россия» бдительно охраняются. Сергей прошел, с ним разводящий был, были рабочие-такелажники. А как проскользнула Динара? Одним объяснить могу: немножко колючая она была, в этом качестве ее под крылышко 33-го отдела и взяли, в этом качестве и поощряли ее, и использовали.

Проскочила Динара на кровлю — отвела внимание, запорошила глаза автоматчику, лейтенанту, и когда ровно в полдень внизу, на площади, отгремела, отвиждала умело устроенная потасовка и толпа, перевода, как водится, дух благотивно вздохнув, воззрилась на Аполлона-Сергея, а доподлинный Аполлон, понукаемый дюжими такелажниками, при помощи передвижного портативного крана был тихонечко спущен к служебному входу, новоявленный бог услышал веселое: «Я с тобой!» И залистый смех.

Так они и стояли до вечера, до салюта. А вернее, стоял бог солнца, покровитель искусств, держа вожжи четверки коней из туберкулезного санатория, Динара ввиду того, что ни одной из сопутствующих Аполлону муз места рядом с ним предусмотрено не было, приютилась за колесницей. После бурной бессонной ночи на нее накатило непонятное возбуждение, и она тараторила неумолчно: про свой город Талды-Курган, утопающий в зелени, яблочный. «Вкусный город у нас, Сереженька, — говорила она. — Я придумала: вкусный. Весь он яблоками пропах, и веселые люди по улицам ходят... Казахи, украинцы. Немцев много. Мы с тобой поедем туда о-бя-за-тель-но, да?» Рассказала ему про своих сестер. И про брата-бездельника, по профессии журналиста: он ушел из редакции областной молодежной газеты и затеял киносценарии сочинять. А кому они нужны, сценарии эти? Там же кланы, азиатские мафии! «Но Аслан все равно хороший, только очень наивный», — щебетала Динара. После, змейкой пригравшись на солнышке, задре-

мала. Датчик зуммерил: площадь внизу заполнялась народом, клокотала, то и дело разгорались скандалы, апелляции непутевого люда к античному богу доносились сюда, наверх.

Нелепо совпали случайности: проржавевший, прогнивший трос, которым пристегнут был бог, и некачественный отвердитель, впрыснутый каурой кобылке. И сверхплановый залп, двадцать пятый.

Если верить гуру Вонави, Боре, Яше и полчищам им подобных, утверждающих, будто все в нашей жизни предопределено, все расчислено на тысячи лет вперед и кирпич на голову ни с того ни с сего никому вовеки упасть не может (это скучное, хотя и глубокомысленное поучение Воланда из романа Булгакова они пересказывали друг другу как божественное откровение), то, конечно... А быть может, не надо им верить? Но тогда что же значила дама в малиновой нижней рубашечке, помахиавшая поварешкой в окне дома напротив УМЭ? Неужели она дирижировала салютом и опять махнула двадцать пять раз?

Но, как будет установлено следствием, именно двадцать пятого залпа кобылка — а звали ее Дианой — не выдержала, а к тому же, быть может, раздражала, утомила ее и болтовня непрошеной гостьи. Когда начали бабахать, она грызла удила, прыдала ушами, дрожала, норовила опустить передние ноги, взбрыкнуть: испугалась. Сергей сдерживал ее, как умел, а Динара успела надуться: «Ты кобылке такие хорошие слова говоришь, каких я от тебя...» Все вело к катастрофе. С двадцать пятым залпом салюта лошадь рванула, и Сергей, пытаясь ее удержать, потянул к себе вожжи: «Тпр-рру!» Да куда там! Лошадь вырвалась, и стальной страховочный трос порвался, как бумажная бечевка от торта. Кто низринулся в бездну первым? Наверное, лошадь, а за нею тотчас Сергей: понимал, подсознательно помнил, что внизу шевелится, живет веселящаяся толпа. Упадет туда лошадь — раздавит кого-то: четверых, пятерых. Его долг — сдержать непокорную тварь, бороться с ней до последнего мига. Да слабо ему оказалось! Тяжеленная животина низринулась вниз, увлекая за собою и человека-бога, Сергея. А Динара? Та, наверное, пыталась его удержать, ухватила за обрывок стального каната: рассмотрели, что кожа на ладонях ее была стерта до кости, следы ржавчины остались.

Так они и упали...

Почему-то в момент их падения там, внизу, толпа расступилась, они грохнулись в каком-нибудь метре от ближайших зевак.

Так, я думаю, было, если вслушаться повнимательнее в объяснения нашего шефа, ознакомиться с материалами следствия, сопоставить детали, а что-то, имея, как я полагаю, на это право, дополнить.

Одного я, признаться, не угадал...

К середине лета Яша вконец занемог, скорбен разумом стал.

Лето, пыль и жара всегда действовали на него удручающе, а с тех пор как он почувствовал в себе присутствие неприкаянной души фараона Тутанхамона, он понял, в чем дело: память знойного Египта, рабы, воздвигающие ему пирамиду, волхвы, нечленораздельно, туманно предсказавшие ему следующее воплощение в Москве да еще и в эпоху культа личности И. В. Сталина и реального социализма, — разумеется, они изъяснялись иносказательно. И все это — в мареве африканского зноя, в окружении политических интриганов и заговорщиков.

Куда деться Яше-Тутанхамону?

Сына удалось переправить в Анапу: профсоюз Октябрьской железной дороги помог, расщедрился; не последнюю роль сыграл и армянский коньяк, своевременно врученный настороженному склеротическому деятелю профсоюза железнодорожников. Профдеятель сказал: «Гм, зачем это?» Тут же, впрочем, он спрятал бутылку в ящик стола и произнес небольшой монолог о том, что единственным привилегированным классом в нашей стране являются дети. Через два-три денька путевка была в кармане. Жена Люда уехала с сыном.

Яше удавалось выходить на связь с Борей. По ночам, в тишине Боря мрачно сигнализировал по ментальному плану: «Плохо мне!» «Вот заладил! — терял терпение Яша. — И сам знаю, что плохо тебе... Да уж больно пакостны эти, за океаном которые... и опять-таки Шамбала. Кур-р-рвы!» — рычал Яша на далекую незримую силу.

Глупость сделанного Борей теперь была в глаза с очевидностью, понятной и последнему дураку. Дело шло к суду — скучнейшему, пошлому. «Лет двенадцать дадут», — озабоченно и деловито сулили на СТОА-10: там прекрасно помни-

ли Борю, сострадали ему, а на следствии, как водится, от всего отнекивались. «Мы не знаем... Не помним...» Работяги гнули одно: «Он хороший парень, Борис-то... По работе и в личной жизни все путем у него... план давал на сто двадцать три процента, а по женской части... Не замечали ни в чем».

Будет суд. Уведут, запрут Борю в клетку. А гуру всю жизнь в Столбах догнивать? Не выпустят; и выходит, Боря только хуже наделал? Или выпустят все-таки?

Забегал ко мне Яша все реже. Я спросил у него: почему же, если их ватага столь сильна и могуча, не смогли они во благовременьи исхитриться воздействовать на главного психиатра города Москвы и Московской области и внушить ему, чтобы он гуру отпустил? И тогда бы уж великий гуру прорывался бы к мировому господству, ко всем почестям, которые могли бы воздаться мессии, настоящему, доподлинному освободителю человечества. Так гордились своим могуществом, а до дела дошло — заурядная уголовщина!

Яша только рычал мне в ответ. Уходил, хлопнув дверью.

И какая-то сила гнала Яшу к посольствам. Америки? Нет, у США посольство большое, торжественное, милиции возле него понаставлено...

Брел по улице, сворачивая за угол: Кипр. Кипр, где это? Туда сигануть, попросить политического убежища? А как выбраться из Москвы?

И ходил он по городу, изнывая; от посольства к посольству: присматривался.

— Я вам главное должен, друзья мои, сообщить и самое, полагаю, тра-ги-чес-ко-е. Или, проще, тяжелое. — Наш Леоныч волновался заметно, поправлял безупречно завязанный галстук. — Происшествие в праздник всенародной Победы на фашистской Германией разбирают на самом верху. — Указал на потолок тем бессмертным жестом ответственного чиновника, коим долгое время объяснялись и оправдывались все притеснения, глупости и иные проделки развитого (реального) социализма: это, дескать, там, наверху, решили, есть мнение, и не нам с этим мнением спорить. — Результаты вам сообщат на началах строжайшей гостайны. Но я все-таки могу информировать вас о том, что...

Сергей умер сразу. Динара — в секретной больнице, в реанимации; с разрешения врача успели записать на магнитофон ее лепет, что-то выудить из него: детали, подробности.

А потом было вскрытие тел Динары, Сергея; даже лошадь разрезали, будто дети, потрошащие игрушку-лошадку. Все происходило в секретнейшем морге, по соседству с подземельем, где снимают с нас психоэнергию: есть там, видимо, и какое-то судебно-медицинское учреждение, что-то вроде лаборатории. Результат: Динара ждала ребеночка.

— Второй месяц, да, — продолжал волноваться Леоныч. — Вто-рой ме-сяц! Что там было у них, я не знаю и в подробности входить не имею полного права. Я готов допустить, что была и любовь. Большая, хорошая. Перспективная, значит: создание новой семьи; у нас тоже не ангелы сотрудничают, вот так. Но в служебное время! При исполнении! Да, утрата бдительности в наших рядах наличествует, от такой формулировки уйти мы не можем. Офицер, понимаете ли, и штатный работник ГУОХПАМОНа, а для вас не секрет, что наши товарищи и в ГУОХПАМОН внедрены...

Разводил руками Леоныч. Был озадачен: он по-доброму сострадал погибшим, он старался понять их и оправдать, но не мог примириться с вопиющим нарушением установленных в КГБ порядков да и с тем, что мальчишка и девчонка обвели его вокруг пальца.

Мы сидели, собравшись в кружок, за привычным столом, переглядывались, вздыхали. У девиц-карнатид глаза были на мокром месте. Тихо сопел Лапоть.

— Да, так-то. — И Леоныч нервно барабанил пальцами по столу. — Омрачен населению праздник, и опять же семьи погибших... Официальная версия события сформулирована руководством и утверждена о-кон-ча-тель-но: пала лошадь конной милиции; по случайности отбилась, забрела на Петровку да тут-то и пала. Ничего особенного; у великого русского писателя-реалиста Федора Михайловича Достоевского есть про нечто такое, у Маяковского — тоже, у Владимира Владимировича. Хорошо описано, все правдиво: лошадь в городе умирает, а люди, конечное дело, смотрят. Что ж, бывает, падают лошади и в современных условиях. Наша служба замены сработала на «отлично», через восемь минут по падении Аполлона-коллектора первоначальный объект водрузили на место. Психоэнергию

с разбившегося своевременно сняли. — Снова галстук поправил. — А теперь о веселом, потому что живой о живом и думает. Вы ускоренный курс закончили с блеском, получаете дипломы с отличием. Все! Мы дипломы — уж вы сами должны понимать — вам только покажем, а в дальнейшем они будут в ваших личных делах храниться, сказать прямо, в досье, хоть по официальной версии никаких досье на советских людей у нас не заводят. Поступаете в распоряжение 33-го отдела.

Дальше было о том, как прекрасно изображала выпускница Лиана Лианозян Скорбящую Мать на большом перекрестке, там, где Вечный огонь пламенеет, в Малоярославце, крупном райцентре Калужской области. И о том, как достойно проявил себя Лапоть при пересдаче экзамена.

— У Грозы, у Островского, — Леоньч взглянул на меня, — очень трудное задание было, ему выпало работать в аккурат у того несчастного места, где... Где лошадь упала, товарищи дорогие. Только лошади! Но место грустное, начинающий коллектор работал на совесть, а тут, надо сказать, и товарищ Лианозян ему помогала; мало было того, что сама проявила себя с положительной стороны, так она добровольно — понимаете, доб-ро-воль-но! — пришла на подмогу товарищу, — усмехнулся хитро, а Лианозян с преувеличенным ужасом руками всплеснула: все знает!

Розданы были дипломы: красные, с золотой каемкой — отличие. Наверху в овале — силуэт Лукича, монумента ему: стоит, руку вытянул — дело известное.

— А сюда, — Леоньч грустно вздохнул, — а сюда уж дорогу забудьте, настоятельно вас прошу. А случится мимо идти, особенно с кем-нибудь, посмотрите на магазин «Мясо — рыба — овощи — фрукты», на витрины замаскированные; поворачать разрешается, покритиковать Моссовет: мол, да сколько же можно магазин ремонтировать! И топайте дальше. Что касается меня, видется с вами мы будем, но теперь уже изредка. У меня на данный момент намечается отпуск, а с осени — новый набор...

Он вздохнул о том, что здание магазина «Мясо — рыба — овощи — фрукты», по всей видимости, вообще скоро будет подвержено сносу: обветшало; по проекту реконструкции города на месте его намечается воздвигнуть тридцатидвухэтажное подобие небоскреба. Да и примелькалось оно, в ЦРУ его фотографий, из космоса снятых, уже целый альбом составили. УГОН будет вскоре функционировать где-то в новых районах.

— В Теплом Стане, возможно, или подальше. Обновляться надо, товарищи, всем и всему обновляться, потому что новые времена наступают...

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Наступают новые времена, и теперь в бестолковых записках моих все смешается окончательно: один стиль будет наезжать на другой, и взбесившиеся события, тесня и отталкивая друг друга, гурьбою помчатся к финалу — не особенно, помоему, счастливому для одних, для других же чрезвычайно счастливому.

Мы, коллекторы-лабухи, ощутили наступление новых времен, вероятно, раньше большинства населения. Я-то что, меня кооптировали, и трудился я в месяц раза три-четыре, не больше. ПЭ, которую я наловчился давать за трое-четверо суток напряженной, изматывающей работы, оказывалась высшего качества, категории «экстра»: ПЭ-Э. Человек, а особенно наш человек, советский, втихую неизменно мечтает оказаться в чем-нибудь исключительным, выделиться; и редакции газет, канцелярии министерств, президиум Академии наук и, конечно же, Комитет государственной безопасности завалены предложениями тех, кто при первой возможности готов быть отправленным на Луну, еще лучше на Марс, причем тут же присовокупляется что-нибудь о готовности погибнуть, и притом погибнуть в полнейшей безвестности. И все это пишется искренне, честно: людям важно выделиться; хотя бы и тайно, но вы-де-лит-ся. Стать исключением. Надоело влачить свои дни в толпе, с девяти до шести пахать у станка, за кульманом, флегматично бездельничать в бесцельных НИИ, толочься в очередях, а в июле — августе, прикопавши денюжат, пытаться пробиться в Пицунду и в Сочи и пускать там пыль в затемненные дымчатыми очками глаза таким же беднякам. И еще: тепла хочется. Тепла, ласки, причем ласки, полученной даже из суровых рук государства: пусть посмертной, но ласки.

Мне, скажу откровенно, порой тоже хотелось тайно слетать на Марс, хотя как бы то ни было выделиться мог бы я и менее эксцентрическим способом. У меня

были разные хорошие мысли по части эстетики, но УМЭ не то место, где можно высказывать хорошие мысли. Молодежи, студентам эти мысли были, как говорится, до лампочки, они рассматривали их как лишнее препятствие по дороге к экзамену. Это жаль, потому что моя эстетика в предмете своем имела святая святых: творческое сознание. А оно есть у Бога, ибо Он-то и есть Абсолютное; творческое сознание есть у гениального поэта, есть у народа, додумавшегося когда-то, к примеру, совместить улицу и... реку, делающего улицу как бы сухопутной модификацией реки с впадающими в нее переулками-ручейками. Образуется метафора: улица помнит о том, что прообраз ее — река; и в каком-то смысле самый невзрачный городишко представляет собою... Венецию, где река и улица, как известно, полностью совмещаются. Молодые самоуверенные бородачи и веселенькие наши красавицы просто-напросто не знали, что делать с диковинами, излагавшимися мною через бортик фанерной кафедры, походящей на вертикально поставленный гроб: говорящий покойник — неотъемлемый элемент эстетики социалистической жизни; и эстетика эта базируется на образах говорящих, глаголющих мертвецов. Не отсюда ли рискованные уверения в том, что Ленин живее всех живых? Бесконечные цитаты из Карлуши, из Фабриканта, из Белинского, которого наши лабухи-коллекторы звали Психом, переделав таким образом заданный ему современниками титул «Неистовый»; цитаты из Чернышевского, Добролюбова, оглядки на прошлое... Там — покойники, от них-то и должно литься в мир просвещающее, вещее слово.

В редакциях специальных журналов от моих статей шархались, поучающе говорили: «Но это же ни в какие ворота не лезет!» Никому не приходило на ум: если нечто не лезет в ворота, ворота не мешало бы расширить, а то, глядишь, и сломать. Но ворота казались сколоченными на совесть. Их, как водится, опутали колючею проволокой, понаставили возле них всезнающих дам из редакций. И опять, и снова выслушав слова о воротах, в которые я не вмещаюсь, я трусил в свое обустроенное Чертаново, поднимался на одиннадцатый этаж, упал на диван, дремал. И тогда возникали те, непонятные: пробирались в мою дремоту и что-то выводывали.

33-й отдел постепенно меня от них избавлял.

— Вы отзывчивы, — внушал мне Смолевич, — от коллектора же всего прежде именно отзывчивость требуется. Ваша группа вся сплошь из отзывчивых людей состоит, одна только девочка, Ляжкина у нее псевдоним, — настоящая Эолова арфа. Да-ле-ко пойдет! Коллектор не механизм, коллекторы могут быть и бездарными и одаренными. Вы же, прямо скажу вам, гений не гений, но похожее что-то. Прирожденное сердце открытого типа, это я вас уверяю; не я придумал, это нам давно уже кардиологи подсказали. Плюс отзывчивость. Психознергия, которую мы снимаем с вас, — сверхэкстра...

И Смолевич дружелюбно смотрел на меня. Дружелюбно и испытующе — в знак того, что здесь, в 33-м отделе, получил я признание полное. То, о чем втихомолку мечтают удрученные советские люди, совграждане: можно было считать, что, восседа в массивном кресле и сутками изборажая выдающегося русского драматурга, я пересекал межзвездные дали и мчался в сторону Марса.

— Суд идет, прошу, встать! — возгласила миловидная девушка в модных больших очках, секретарь Московского городского суда. Почему-то под глазом у нее сиренево лиловел синяк; девушка прикрывала его ладонью, отворачивалась от сошедшейся в зале публики, неестественно смотрела на стену, будто снова и снова вчитываясь в цитату из Конституции: «Судьи независимы и подчиняются только закону». Но синяк все равно был замечен, его не скрывали ни очки, ни слой пудры.

Встали: обе жены Сен-Жермена, Бориса, — выходя из графа, женщина, рассуждая логически, принимала его имя и титул; значит, жены были графинями. Встала Вера Ивановна; знойно в городе было, а она какою-то зимней выглядела, и была она по-вдови повязана темным платком. Где-то в задних рядах небольшого темноватого зальчика с лавки Яша вскочил.

Лето — время, когда Москву заполняют молодящиеся старушки, неумело и неуместно подкрашенные, в белых шляпках-панамках и еще почему-то в аккуратных носочках, над которыми нависают венозные синеватые икры. В зале было несколько таких старушек, и одна из них расположилась неподалеку от скамьи подсудимых, прямо перед вместительной клеткой, будто в цирке, в зверинце. На

коленях у старушки лежала тетрадка; она встала, тетрадка упала на пол, поднимать пришлось, а там пыли полно, и чихнула старушка. Что ж, бывает.

Растоворилась дверь, и как-то украдкой, боком не вошли, а, скорее, протиснулись в нее судьи: пожилая учительница русского языка и литературы, а за ней... Боря даже не удивился: а за ней вошел... Тот, из XVIII века, непонятный, подмигивавший, кривлявшийся, угощавший Борю ароматными влагами («Подзаправиться надо бы!»). Боря понял: теперь непонятный ни-когда не отвяжется от него, до могилы будет преследовать. А сегодня он — судья городского суда — пропустил вперед пожилую словесницу, проследовал, кашлянув, за нею. А за ним поднялся на судейское возвышение инженер-железнодорожник в сверкающем белом кителе. Все они неспешно расселись, и Боря отчетливо видел, что судья незаметно подмигнул ему, ободряюще и ехидно: допрыгался, дескать.

Я узнал о ходе суда от всепроникающего Леонова: агентства у него была, несомненно, и в стайке старушек в носочках; ничего не стоило послать на процесс какую-нибудь пенсионерку их ведомства, отставную майоршу, поручить ей записывать самое интересное, а к массивному судейскому столу из-под низа присобачить магнитофончик: на майоршу надейся, а все же... 33-й отдел регистрировал потоки психозергии, расточаемой, с его точки зрения, и понапрасну, в пространство; и как раз в судах ее расточали потоками плотными, на зависть, густыми. Расточать-то ее расточали, а как снять ее? Может статься, однако, что ее каким-нибудь образом уже начали собирать и там. Или ищут способов там ее собирать (я попутно замечу: заметки мои не претендуют на полноту описания деятельности 33-го отдела; знаю только то, что я знаю; а о том, как вообще собирают психозергию, я судить не берусь). Любопытно, в общем, было Леонову. А к тому же главный, хотя и неявный герой процесса — гуру Иванов-Вонави, а он... Кустарь он, конечно. Психопат, неудачник, как и многие в нашей стране, кем-то подловато обманутый. Но проблема психозергии — в его кругозоре; он, гляди-ка, почитает себя равноправным соперником Комитета государственной безопасности, а раз так — Комитету нелегко проследить за его судьбой. Стало быть, не мог наш Леонов пройти мимо отнюдь не рядового судилища; и какой-нибудь свой человек туда, в зал, был внедрен.

Что успел и сумел рассказать мне Леонов, снаряжая меня на задание — на сей раз поехать Маяковским, Облаком? Бегло и не без некоторого сочувствия, хотя и с усмешечкой, рассказал он мне всего прежде, что назначенный поначалу судья неожиданно заболел крупозным воспалением легких: «Понимаете, летом, в жару разболелся, искупался он, что ли?» И в последний момент судью заменили неизвестно откуда взявшимся... Тоже судьей, разумеется, но с юристами 33-й отдел напрямую не связан; и Леонов не знает, откуда же взялся судья. Прокурором была молодая красотка с русской косой, веночком обвитой вокруг чела, а в защитники пригласили известного адвоката, брата Гинзбурга, директора СТОА-10: сам директор расчувствовался и словчился братца уговорить.

— Да, комедия, короче, имела место, — явно Боре сочувствуя, рисовал неспешными словами Леонов картину суда. — На одном все сошлись: прокурорша заодно со свидетелями, адвокат — все дружно на Иванова указывали. На гуру. Одно гнули: он причиной всему. Прокурорша про него и говорила-то больше, чем про слабака-подсудимого: «мракобесие, мистика, социальная опасность, то-се...» Подсудимому: «Я же знаю, он вам вроде приятеля, мы все связи ваши просвечивали и об этом откровенно вас информировали», — только лишь он речугой разразиться захочет, рта раскрыть не давали, все работали заодно, и прекрасно все понимали: ни к чему тут речи о величии Иванова. И о тайных происках американских парапсихологов не к чему распространяться особенно: старички наши в Политбюро, конечно, не тянут уже, так тому и быть. А зачем акценты на этом ставить, подчеркивать ихние слабости, на какие-то диверсии списывать их? Судья речи Гундосова и сдерживал. А судья этот странный, да. Нам теперь руководство не рекомендует в кадровую политику судебных органов вмешиваться, а проверить бы не мешало, вот так. Чудной очень судья! То серьезный такой, обстоятельный, а то вдруг не по делу пустится говорить: «Подсудимый, а не чувствовали ли вы себя крепостным? Вы на побегушках, как бы в услужении у гражданина Иванова не были?» Тот ярится: «Нет, не был!» А судья пристаёт: «А такого не бывало, что вы женщин приводили ему? Или девушек? А? Ну хотя бы одну?» А потом у работяг, у свидетелей, начинает допытываться: «Вы не замечали у подсудимого каких-нибудь садистских наклонностей?» Те, простые ребята, только зенками хлопают. Он опять: «Никого из вас подсудимый не бил когда-нибудь?» А они-то — рабочий класс, они дружные, гнут свое: «Подсудимый боролся за

высокое звание ударника коммунистического труда... Производственный план выполнял...» Проценты приводят. И совсем чудно стало, когда он, судья, обеденный перерыв объявил. С кресла встал, легкомысленно в зал подмигнул. «Подзаправиться, — сказал, — надобно!» Тут старушка одна, из публики, возле самой скамьи подсудимых пристроилась, вдруг чихнула, пыли она наглоталась, по полу шарила, тетрадку свою подбирала, что ли. И: «Ап-чхи!» А судья ей: «Будьте здоровы, почтеннейшая!» Не пойму, откуда таких судей берут.

Я покоился на стерильном топчане, покрытом клеенкой. В вену мне отвердитель вливали: охватило блаженство. В стороне, на вешалке, — костюм лучшего, талантливейшего поэта нашей, советской эпохи: пиджак, широчайшие брюки, расклешенные («...достаю из широких штанин»). Разумеется, темное все, стилизованное под бронзу, на которую поэту было, по его заверениям, наплевать. А Леонов выдавал мне перед выходом моим на ответственный пост свежесобранную информацию: знал же он, что вовсе не безразличен мне Боря. И рассказывал он мне, что женщина-прокурор требовала для подсудимого пятнадцати лет заключения, адвокат просил десять. Суд посоветовался недолго, вышел. Возвращаясь в залчик с приговором в руках, судья как-то неприлично икнул, подмигнул: дали двенадцать лет.

Я впадал в предусмотренную для первых минут вхождения в образ нирвану, провалился в дремоту, а очнулся уже как бы бронзовым. «Вира!» — слышалось где-то рядом. Меня подняли — так щенков поднимают за шиворот. А потом и: «Майна помалу!»

В электричке Вера Ивановна едет.

С нею — Катя. Кате дремлет, и все тело у девушки блаженно болит. Да и как не болеть? Милый, трогательный, заботливый Байрон, как он тихо и плавно раздел ее: шоколадные руки скользили по груди, опустились ниже, ниже — живот.

Было больно, она простонала: «О-о-о!» Над лицом ее — яростное, искаженное, но и нежное лицо арапа ее, поэта. А потом лицо его радостным, просветленным сделалось.

Общежитие аспирантов УМЭ жило своей жизнью, ночью УМЭ делал молодых людей «совами»: днем они жили-поживали так-сяк, слонялись по коридорам, дремали, а в хорошую погоду нежились на травке под жиденькой сенью березок. Почитывали Канта, Бердяева, Шпенглера. А к вечеру они заводились: одни усаживались за свои диссертации, другие собирались в холле у старенького телевизора, лениво спорили, пререкались беззлобно.

Сейчас была ночь, но откуда-то все-таки доносилось хрипловатое пение Высоцкого. Где-то гулко хлопнула дверь.

Утомленный, благолепно расслабленный темнокожий человек из Америки высказывал дочери императрицы Екатерины II что-то заветное для него, уютное. Говорил ей о том, что поедут они куда-то в Кентукки, там есть домик, сад, там есть и мама, а зовут ее миссис Ли. Байрон станет преподавателем колледжа, и у них родится веселый сын. Катя будет гулять с сыном в саду, ждать отца после лекций.

И опять было больно, но уже не так, как сначала.

Утром Байрон ловил такси, и салатные машины неслись мимо них, даже как бы сквозь них. Тогда Байрон выразился чисто по-русски, порывшись в бумажнике и достал бумажку — зеленую, но чуть-чуть потемнее, чем нахальные «Волги». Поднял руку, в руке — бумажка.

Тотчас взвизгнули тормоза, и могучий хмырь-шоферюга, сонная морда, изогнувшись, настороженно опустил стекло правой двери. Рывкнул: «Десять зелененьких!» Байрон: «Пять!» Шоферюга: «Лады, поехали!»

Они мчались к проспекту Просвещения: скоро будет приторно-сладкий запах ванили, разоренная квартирка в доме с подтеками на фасаде, опустевшая кухонька. Вера Ивановна очень уж просила сегодня заявиться домой: надо съездить в Столбы, разрешили передать передачу — письмецо да продукты.

«Волга» взвизгнула тормозами возле дома гуру. Байрон Катю проводил до двери квартиры, целовал необыкновенно. Сказал: «Жди!» И спустился бегом, было слышно, как хлопнула дверца поджидавшего его кара.

В электричке — Катя и Вера Ивановна.

Ни о чем не говорила пришелица Байрону, арапу чудесному: ни о том, откуда она, ни о том, кем, по слухам, была ее матушка. Все неправда, наверное, не могла бы государыня-императрица тайно родить близнецов-сестричек, спрятать их от придворных, каждый шаг ее карауливших; после — от дотошных историков.

А вдруг все-таки?.. И откуда мы знаем, сколько же пришельцев из иных, не наших времен между нами толчется? Если Катю вытащить из XVIII столетия сумели так просто и буднично, то ее ли одну?

Катя твердила заученное: по лимиту она в Москве, ранее проживала она в Симбухове. Байрон — милый! — ни во что не вникал: по-американски наивный, верил он в Симбухово, хотя что-то неладное, возможно, и чувствовал. Неспроста же он Кате не раз говорил, что оба они — и она, и он — из рабов, что их прадеды и прабабки в прошлом столетии одновременно получили свободу, и отсюда каким-то образом следовало, что судьба ведет их в Кентукки, в домик с садом и к стареющей миссис Ли.

Но Кентукки за океаном, а Белые Столбы Павелецкой железной дороги поближе. И в украшенной красивой картинкой сумке у Кати две упаковки кефира фруктового в бумажных пакетиках, потому что бутылки в скорбный дом привозить не велено; пачка скучного печенья «Привет», мармелад, зеленые огурцы и короткое письмо с нескладным описанием суда над Борисом.

Они ехали, а я возвышался на площади Маяковского и всемерно изображал неуклонное шагание к светозарному будущему («...чтоб брюки трескали в шаг»).

Ныне уже и до Маяковского добрались, и лабать его, Облако, становится почти так же опасно, как изображать Лукича.

ПЭ внефабульна. Люди беснуются, проклинаят, ялятся, кулаками размахивают, а энергия льется да льется, и нет разницы между самым нежным, доверительным монологом, обращенным к объекту, к памятнику, и проклятиями, сыплющимися на него вверх. Странно, может быть, но проклятия даже лучше: важно только количество психоэнергии; и проклятия, которыми в годы наглого расцвета тоталитаризма втихомолку порой осыпали повсеместно торчавшие статуи Сталина, никакого вреда не чиня ему, шли, напротив, ему, кровопивцу, на благо.

Ныне, в дни, когда я заканчиваю записки мои, Маяковского рьяно поносят. «Сталинист!» — то и дело кричат ему. Или даже: «Фашист! Прославлял тиранию, тоталитаризм укреплял!»

Но тогда, на излете застойных лет, я стоял на обширной площади, поглядывая на парадный подъезд ресторана «София» и чувствуя себя превосходно. Правда, кто-то принялся выкрикивать у подножия:

— Пастернак значительно лучше! И Цветаева — тоже, а этот — тьфу!

— Очень грубо писал...

— Я бы всех их, модернистов-то, авангардистов...

Но какие-то девицы за меня заступились. Налегали они на то, что надо быть плюралистами: и Цветаева, и Пастернак, и Маяковский. И Есенин опять-таки. А из новых Пригов и Жданов. Еще Бродский, конечно.

Выручали экскурсии провинциальных школьников: начиналась пора их летнего нашествия на Москву; и учителя, поглядывая на свою голоногую паству, мысленно пересчитывая ее, уже сорванными голосами читали подросткам про звонкую силу, безраздельно отдаваемую поэтом атакующему рабочему классу. ПЭ струилась, по-нашему выражаясь, кисленькая; но от этого монумента 33-й отдел ничего другого особенно и не ждал. И еще — иностранцы; те — просто прелесть: выкарабкивались, пьяновато пошатываясь, из «Пекина», на меня поглядывали едва ль не влюбленно. Почти непременно подходили китайцы в одинаковых добротных синих костюмах, соловьями щелкали на своем экзотическом языке. Благодарный народ: написал о них Маяковский два-три стишка, они помнят его и ценят.

Как спокойно мы жили тогда!

Да, но ужас...

Ужас чтения по ночам Бердяева, Лосского, Флоренского, а то даже и Солженицына: я, какой бы то ни был российский интеллигент, должен был читать своих национальных мыслителей в полусбитой машинписи, украдкой, уложив в постельку сыночка, рассказав ему сказку; в аспирантском общежитии и то запрещенные книги читали смелее. А еще был ужас оттого, что я тайно крестил двухлетнего Васю: с Ирой мы тогда жили вместе, и привез я в свое логово, в Чертаново, почтенного батюшку, о. Александра. И Ирина принарядилась, причесалась красиво — стояла у купели, у посудного тазика, со свечкой в руке. Хорошо, а если узнают?

Нынче кажется: смехота, чего было бояться? Крестил сына? Правильно

сделал! Теперь думают так и не верят уже, что могло быть иначе и что жили мы в катакомбах, таясь и запрятавшись...

Вера Ивановна и Катя вышли.

Как сойдешь с электрички в Белых Столбах, сразу в сторону от железной дороги, по тропинке цепочкою тянутся люди.

У окошка «Прием передач» печальная очередь: номер корпуса, номер палаты — написать все это надо крупно, разборчиво. Не впервой нашей Вере Ивановне, написала шариковой ручкой; сама думала о том, что теперь сколько же дней бесконечной чередой поползет, сколько лет...

Там, в утробе номерованных корпусов, уже знали, конечно, что ее Валерий, Валерочка, гуру ненаглядный, как бы даже преступник, подстрекатель несостоявшегося убийцы. Но неверно это, неверно! Это все оттуда, из-за океана насылают неведомые лучи: они, маги заокеанские, все и подстроили.

И хотя формально все сходится, хотя получается складно и действительно Боря-Яроб шел на психиатра, как сибирский мужик на медведя в тайге с ножом, и чуть было психиатра не ухайдакал, есть какой-то другой критерий всего. Да, другой! И Вера Ивановна его знает, да, беда, сформулировать не может его, в слове выразить, чтобы стало понятно и Петрову, усталому следователю, и кри-вляке судьбе, и железнодорожнику в кителе, и всем людям. Он несчастен, ее Валера, Арелав; он прежде всего несчастен, вот в чем дело-то. Да нешто поймут?

По тропинке, протоптанной многими-многими, брели Вера Ивановна с Катей обратно, на станцию.

Хоронили правителей, одного за другим; их везли на орудийных лафетах, и увядший прах предавали земле.

Громыхали в центре столицы салюты; и теперь уже громыхали они безошибочно, справно: столько раз, сколько надо.

ПЭ текла да текла, граждане становились болтливы, у объектов слетались стайками; по ночам, как водится, тоже к монументам наведывались.

Мне Повеса, Пушкин, рассказывал, что всю ночь у подножия валял дурака хмырь какой-то, чудак, наизусть декламировал куски из трагедии «Борис Годунов», смаковал особенно фразу: «О Боже мой, кто будет нами править?» Скажет фразу, задумается. Из «Ревизора» кусочек: «Ну что, брат Пушкин, как?» Помолчит и опять заведется: «О Боже мой...» Про убитого младенца, конечно, да про самозванцев чудило гундел. Стоял Пушкин, потупясь, главу опустил; задумчив. А чудак всю ночь колобродил. После, днем, закатали митинг. Их тогда еще милиция разгоняла, а они: «Поэта бы постеснялись!» — орут. Соблюдения Конституции требовали.

Мне Повесу не доводилось изображать, хотя и влекуще хотелось. Поначалу роли нам по жребию доставались, после стала участвовать в их распределении секретная ЭВМ. Доставались мне все больше представители социалистического реализма: Маяковский, Горький, Толстой Алексей Николаич. Отработал однажды смену и в паре: Минин — Пожарский. Ванькой был, первопечатником Федоровым.

Наконец мне доверили лабать Лукича. И не где-нибудь в глухомани Московской области, не в Царицынском парке у музыкальной школы, малахольного, хиленького, а на горке, на Октябрьской, бывшей Калужской, площади — архиглавного Лукича.

Трудно, тяжко лабать Лукича, а особенно в пору реставрации демократии и невнятных толков о социалистическом рынке. После смены снимали психознергию, ее набралось предостаточно, потому как чего-чего, а апатии и равнодушия к Лукичу никто не испытывал. Подбегали, пересекая площадь под неистовые свистки лейтенанта-регулирующего и под визг тормозов, возлагали (демонстративно) цветы. Иль, оставшись благоразумно поодаль, возле выхода из метро, поругивали. Микродиспут по поводу моего сочинения «Государство и революция» длился десять минут, а дал чуть ли не тысячу эргов. Эти эрги сняли с меня, аккуратно перекачали в аккумулятор. И теперь я переодевался в гражданское, собирался домой.

Когда выбрался из лаборатории снятия ПЭ, носом к носу столкнулся с... Лианозян. Та обрадовалась мне несказанно.

— Сколько времени я не видела вас! — с придыханием сказала особенным, страстным голосом.

— Да, — я буркнул, — давненько мы... это самое... не встречались. Она:

— Дорогой мой, как вам работается?

— Ничего. — И я высморкался. — Стараемся. А'хи ста'аемся.

Улыбнулась:

— Лукич? Ой, а я...

И затараторила дама: ее приняли в штат, присвоили звание, и теперь она офицер государственной безопасности, получает надбавку за звездочки. Трудно, вкалывать приходится много, но она нашла свое место, была Зоей Космодемьянской, в Ленинграде была, на почетном посту, государыней Екатериной Великой, а теперь намекают ей на загранку.

— А сейчас я со смены. — И смотрела масляными глазами-черносливом. — Так, конечно, пустяк, Скорбящая Мать...

В переулочке, неподалеку от секретной лаборатории, приютились мои «Жигули». Предложил подвезти: ничего другого не оставалось. Вставив ключ в замок зажигания, полюбопытствовал:

— Вам, Лиана Левоновна, в какие края?

Усмехнулась, сказала, что таксисты не имеют права спрашивать пассажира, куда ему ехать.

— Да, — заметил я, — но это ежели пассажир еще не в машине. А когда, как говорится, пассажир произвел посадку, то как же...

— Как же, как же, — передразнила меня. — К вам поедем! Понятно? К вам!

Яша тоже в Белых Столбах бывал, и не раз: отвозил передачи. То фруктовый кефир да печенье, то колбаскою разжился полукопченой. Писем Яша учителю не писал: сознавая свою патологическую неграмотность, справиться с ней не мог и стеснялся ее, хотя, кажется, чего бы тут и стесняться, не владела фараоны российской грамматикой, обходились они какою-то там своей пиктографией или клинописью. Но умел он пошептать на пакетик кефира, закодировать сигнал: «Помню, люблю». До учителя сигнал доходил.

Так случилось однажды, что на трое суток зарядил океанный бескрайний дождь, фараон промок, в разбитых ботинках хлопал он по тропе, ведущей к скорбному дому от станции. Нес коробочку конфет «Клюква в сахарной пудре» — развернувшие сомнительную деятельность кооперативы одно время наперебой взялись сыпать сахар на клюкву; клюква стоила дорого, но надо же было развлечь учителя чем-то неординарным, да конфеты и заговорены были, общептаны.

Дождик? Ладно, переживем, беда только, что рядом сын, Антонин: увязался, упрямился взять с собой.

И идут они рядом, школьник-сын и отец. Отцу трудно идти, тропа скользкая, шлепнулся. Встал Яша — сначала на четвереньки, потом во весь рост; пытался счистить со штанов налившую грязь, водил по штанам ладонями, грязь от этого только впитывалась в набрякшую потертую ткань.

Когда Яша, опираясь на худенькое плечо Антонина, доковылял до окошка «Прием передач», оно было уже закрыто. Он пытался стучать, затем стал барабанил неистово; и откуда-то сбоку появился пьяноватый верзила в синем халате. Посмотрел на Антонина, взгляд тяжелый поднял на Якова-Тутанхамона.

— Ты что барабанишь?

— Да вот, — окрылся Яков-Тутанхамон, — передача больному.

Оглядел детинушка фараона, небритого, грязненького, рыкнул:

— В темпе вали отсюда!

Шли обратно отец и сын, доставали из коробочки клюкву, сосали.

Уж не знаю, как и кому, а мне бурные ласки Скорбящей Матери не пришлось по душе.

Отвердитель у Лианы еще не растворился как следует; обнимая ее, я чувствовал под рукою металл.

— Понимаю, милый; все-все понимаю, — лепетала Лиана. — Тебе, может быть, и неприятно, даже противно, но ты верь, что на самом-то деле я совсем не бетонная... — хохотала. — Я совсем не бетонная, я живая, я очень люблю тебя, ничего мне не надо, поверь, только руки твои... только губы... Ты целуй меня, ты не бойся... Ты делай со мной, что хочешь!

И сквозь пленку как бы бетона светилось тело — тело женщины, внушившей себе, что любит.

Поутру Лиана по-русалочьи шумно плескалась в душе. Вышла свеженькой, бодро. Хохотала:

— Это надо же, Владимир Ильич да Скорбящую трахнул! Рассказать — не поверят. Понимаю, трудно было тебе со мной. Но и ты не подарок. Никогда меня памятники не трахали, да еще и такие идейные, вожди мирового пролетариата, основоположники первого в мире социалистического государства... Я теперь как бы Крупская, да? Или Инесса Арманд? — Пила кофе, отламывала маленькими кусочками печенье. — Нет, я Нина Андреева. Даже больше, чем Нина Андреева, ей такое и во сне привидеться не могло бы. Хранить ленинские принципы — это абстрактно, одни слова, а я дальше пошла...

На прощание Лиана подставила щеку:

— Целуй, милый, отвердитель я уже смысла дочиста. Хорошо нам было с тобой.

Оглянулась в поисках зеркала. Не нашла: никак не обзаведусь им, почему-то откладываю.

— В Гегеля посмотришь, — бросил я.

— В Гегеля? Это как же?

— А так. Видишь, Гегель, «Лекции по эстетике» за стеклом. Переплет у диалектика черный, я тебе сейчас стекло протру, будет вроде бы зеркало, смотришь хоть до вечера.

— Нет, до вечера не могу. А хотела бы! Ах, да что там, мало ли чего мы хотели бы!..

В коридорчик вышла — помахала рукой.

В УМЭ смятение.

1 сентября начинается не ритуальной приветственной речью Frau Rot, обращенной к вновь поступившим, а стихийно возникшей тусовкой: митинг не митинг, так что-то...

Все студенты в вестибюле не умещаются: тесно. Забрались повыше, толкуются на верхней балюстраде, облепили лестницу. Часть вообще кейфует на улице: слоняются, курят, переругиваются лениво, греясь на остывающем солнышке первого осеннего дня.

Там и сям плакаты колышутся: «УМЭ, поумней!», «Ума УМЭ!», «Не хотим!» — причем последняя буква «м», крест-накрест зачеркнута. Смысл такой: не хотят в аббревиатуре «УМЭ» буквы «м» — марксизма, сиречь, не хотят.

В апельсиновой «Волге» подъезжает; к ней не то чтоб кидаются, нет, но степенно подходят:

— Вера Францевна, требуем митинга!

— Вера Францевна, мы на митинг вас приглашаем!

— Из спецхрана Флоренского вызволить!

— И Вердяева!

— И Шестова!

— Вера Францевна, вы скажите!

— Вере Францевне слово!

Вера Францевна поднимается из-за стола. Говорит спокойно и взвешенно: да, название нашего УМЭ устарело, им канонизируется монополия одной только методологии, мы должны обратиться в правительство с просьбой о переименовании Alma mater. Но не так-то все просто; отцы наши погибли на фронте, и рядом с комсомольскими билетами в карманах их гимнастеров находили студенческие билеты УМЭ. Посмотрите на мраморную доску при входе, сколько было их, отважных умельцев. Через многое придется перешагнуть! Как университет называться должен? Тут все надо взвесить спокойно, без крика.

— Хорошо, а если просто «Московский»?

— МЭУ? — мяукают в зале.

— Да чего там: «Русский»! Или: «Российский»! — это юноша из россияно-патриотов, неизменно выкрикивающих свои лозунги и предложения надрывно, истошно.

— А грузинам в него нельзя?

— А узбекам?

Вера Францевна переживает:

— В общем, надо подумать, — размышляет она, и в зале становится тихо.

Говорит она и о том, что с нового учебного года начинает работать комиссия по пересмотру программ. В нее вводятся и представители от студенчества. Что еще? Про картошку. Да, поехать придется. Но работу будет оплачивать...

Побурлили, и пыл угасает. Догорают разговоры в разрозненных группах:

— А мы все-таки нашей Alma mater крестины устроим...

— Найдем прилагательное!

Мать, бывало, крестила детей, даровала им имя. Нынче все наоборот: дети думают о том, какое имя они дадут матери.

— А статую куда? — горячится пухленькая, в очках. — Ильича родного и тех, что у входа?

— В ре-ку!

— Лопухи, козлы! Уважать историю надо, свою собственную; раз уж понаставили их, пусть и внуки любят!

Постепенно разбредаются по аудиториям, а я ковыляю в профессорскую. Здесь, конечно же, оживление: маг рассказывает, не скрывая негодования. — Он недавно возвратился из Праги; там из вестибюля Карлова университета бюст Ленина вынесли, он стоял во дворе, под дождем. Мага слушает мой завкафедрой, разводит руками: «Нет, но Ленин же... Конечно, были ошибки... И к тому же надоело повторение затверженных истин, но все-таки... Ленин — это... Это на-у-ка!» — Пухлый палец маячит предупреждающе.

Маг — единственный, кто всерьез озабочен очевидным крушением ужасов, воплощенных в одной-единственной буковке, в «м». Он-то отдал этой буковке жизнь: и служение теням таинственным, посещавшим его по ночам; и талант проникновенного общения с вещами, с предметами обихода; и неизъяснимую горечь постижения тайны времени. Все — марксизму. Все — за служение леденящей, безжалостной скуке, выполняющей роль барьера, забора, преграждающего досужим умам доступ к вовсе не нужным им знаниям. Знаниям, частица которых открыта ему, посвященному. Его магия марксизму не противоречила; марксизм к ней и вел неуклонно, хотя это не все понимали. Но уж он-то... Он понимал. А теперь, теперь ему как?

— Как бы нашего Ленина убрать не потребовали, — опечаленно потупилась молодящаяся дама с кудряшками, доцент кафедры западноевропейской эстетики.

— С них станется...

— А вы слышали, Frau Rot уходит от нас?

По весне Вера Францевна была избрана в академию, стала членом-корреспондентом, и теперь ходят слухи: покинет свой пост в УМЭ, уйдет в академию. Ах да, кстати, дельце к ней у меня имеется, совсем было запаматовал за неожиданной суетней.

Направляюсь в Лункаб.

Перед входом неизменная фигурка молодящейся секретарши.

— Здравствуйте, с новым учебным годом вас. К Вере Францевне можно?

— Сейчас выясню.

Вскочив, исчезает в дверях Лункаба.

Жду ее возвращения. Нагибаюсь, смотрю в окошко: так и есть, дама в темно-красной комбинации с черной кружевной оторочкой там, в окошке соседнего дома, — варит, варит свое неизменное варево.

И помещивает его поварешкой.

— Я хотел бы на минуточку вас задержать...

Оборачиваюсь: Смолевич! Здесь, в УМЭ? Какими судьбами?

— Так, хожу. Молодежь наблюдаю, вдумываюсь. Знал, что встречу вас, давно пора поговорить.

Мы — в другой аудитории: окна — ромбы. И выходят окна на юг; столы, стулья изукрашены разграфленным на ромбики солнцем.

Сели. Покровитель мой принимается за свое: достает таблетку — зелененькую, — глотает с ладони.

— Все перевернулось и едва только начинает укладываться, — подступает к разговору Владимир Петрович; поправляется тут же: — Нет, укладываться не скоро начнет, созерцательная мы нация, философическая. Как работаете-то?

— Да так, — говорю, — так как-то все... Кому как, а для нас, гуманитариев, благодать наступает. И свобода информации полная. И свобода высказывания. Кто б предвидел?

— Да-а, пришли времена. А тени не беспокоят?

— Нет, отстали. Давно отстали. А кто это были?

Пожимает плечами:

— Мы и сами толком не знаем. Не исключено, существа из иных миров. О них много пишут сейчас, говорят еще больше. То там появляются, то здесь.

Похищают людей, выспрашивают, вызывают сенсации. Только я в сенсации особо не верю; отвлекающие маневры, не больше. Они буднично действуют — так, как с вами бывало. Облюбуют, наметят человека посодержательнее, начинают внедряться в сознание. Да Бог с ними, я не о них; вас от них мы, как могли, оградили, и ладно. Я о вас, назрело давно...

Дверь открылась, просунулась в аудиторию добродушная патлатая голова. Повела очами, исчезла: нерадивый студияз кого-то искал.

— Смятение УМЭ, так я понимаю? И везде смятение; значит, опять за монументы возьмутся! Уж, казалось бы, воздвигают какой-нибудь монументище, века бы ему стоять, а он десять годков проторчит, а потом трос потолще на шею, прицепили к трактору, и пошел! Потащили! И вы лучше меня должны знать, что всегда так, всегда: христиане ломают языческих идолов, коммунисты крушат царей, полководцев. Теперь очередь коммунистов настала. А потом свои, новые монументы ставить учнут, я заранее знаю, какие...

— И я знаю. Христианские, это во-первых. Сергию Радонежскому уже, говорят, спроектировали.

— Во-во, христианские. А во-вторых... Во-вторых, широко говоря, либеральные, борцам за права человека. Академику Сахарову неужели же не воздвигнут? Солженицыну. При жизни, возможно, и нет, тут властитель дум рыкнет демонстративно, возбранит, а настанет время, натякают. И в Ростове, над Доном: на реку-де смотрит, тут метафора будет, река жизни. И в Москве — возможно, перед Союзом писателей. В Казахстане, в Экибастузе, даже если и отделится Казахстан. И еще собирательные пойдут монументы, скажем жертвам репрессий. Основной же поток — и его в 33-м отделе особенно ждут — монументы-метафоры. Гений Эрнста Неизвестного наконец повсеместно признают, тут мы тоже постараемся, руку приложим, а то не могло наше ведомство мракобесов преодолеть, реалистов; оказались они посильнее всех нас, выжили великого художника за бугор да еще и на нас свалили. А теперь... Его дело, где будет он жить, а поставит он веку нашему памятник. Разуму. Древо жизни опять же, а на древе — фигуры, лица...

— Коллекторы? Значит, нашего брата, лабухов, на древо повесите, и висеть они будут, аки ангелочки на елке? То-то весело!

— Неизвестный — гений, стало быть, человек простодушный. Невдомек ему, что за каждым его проектом у нас в 33-м отделе следят, собирают эскизы, фотографируют, видеофильмы снимают. Ведем новые разработки: собирание психознергии не с каких-то там гипсовых Лукичей, а с метафор, с великого сокровища человечества. Тут все ново, все неведомо тут. Но на Западе опыт кое-какой накопился, с композиции из таврового железа энергии набирается предостаточно, только, сами знаете, снимать ее трудно, да... Композицию из железных полос коллектором никак не заменишь, а с железок психознергию поди-ка сними. Пропадает она, распыляется...

Проглотил таблетку, на этот раз желтенькую. И продолжил, покосившись на дверь, за которой шумел УМЭ — прилагательное искали:

— Российский! РУЭ! — рокотало из коридора: шла какая-то группа, спорили.

— А может, УМЭ оставить? Только «эм» пусть означает «международная». Университет международной эстетики!

Пререкаясь, дальше пошли. Голоса стихали, Смолевич прислушался, улыбнулся:

— Ладно, я не о том хотел с вами потолковать. Дело странное и страшное вам хочу предложить...

— То, что страшное давно назревает, я чувствовал. А что именно?

— Да не знаю, как и сказать. Но хотите — не верьте, а такого я еще не предлагал ни-ко-му...

Яша сына проводил до порога развеселой, флажками украшенной школы.

Яша нес цветы, гладиолусы, — достал где-то: алые, жгуче-оранжевые. За спиной у Антонина ранец с учебниками. Пишет грамотно, грамотнее отца, хотя тройки бывали, но достигал и четверок. Иногда говорил, что научится писать совсем без ошибок. Тогда станет писателем и напишет большую-большую книгу. «Про что?» — Яша спрашивал. «А про все!» — цедил Антонин запоздало щербатым ротиком.

Яша радовался. Гордился наследным принцем, хотел видеть в сыне юного фараона. А вернется из Белых Столбов великий гуру Вонави, выйдет время, впадет в ежегодный транс и признает он в Антонине... Уж кого-нибудь да признает!

Ребятишек построили. Чинно, по классам, втягивались разноголосые щебечущие цепочки в школьный подъезд. В дверях Антонин обернулся, рукой помахал отцу. Хорошо!

Беспокойство, однако, владело Яшей. Стал в последнее время он как-то внутренне ерзать. Всего прежде враги. Те, заокеанские, они-то, конечно, главные. Шлют да шлют икс-лучи, разрушают, ломают, крушат Россию. Дезорганизуют традиции. Потом эти, которые из УМЭ, маг и прочие. Дальше что? Наступает, надвигается хаос. Началась конкуренция. Книжный рынок освободился от согладатаев — повалило, хлынуло: «Практическая магия», «Управление психикой». И некоронованной королевой выплыла черная лебедь Елена Блаватская. Штейнер. Все, что было монополией гуру Вонави, пересказывалось им шепотом при зашторенных занавесках, когда окна загоразивались листьями жести, дабы не могли подслушать их люди в «Волгах», якобы окружавших дом у кондитерской фабрики, выползало, вываливало на прилавки. Вся таинственность растворялась в наступающей будничности: что-то не так!

Брел он вдоль какой-то железной дороги. Здесь ее полотно уходило как бы на дно глубокого рва, по бокам шли крутые откосы, устало зеленела трава.

Яша сел на траву, жевал да жевал травинку.

Из кармана выпал значок, раскрашенная железка: «Свобода — равенство — братство». К предстоящему двухсотлетию Великой французской революции, что ли? Антонину хотел подарить в честь начала нового учебного года, да забыл, память стала совсем дырявой.

Меж откосами со стоном и взвизгиваниями неслись электрички. Из Москвы — полупустые, в Москву — набитые: на работу люди спешаю́т из пригородов.

Яша знал, что можно раствориться в толпе, стать не то чтобы совсем уж невидимым, нет, но стать незаметным. Человека будут не видеть видя. Он у всех на виду, но его как бы нет: исчез.

Что ж, попробовать?

— Да, не предлагал ни-ко-му. — И Смолевич в окно посмотрел; тень от тучи, на солнце надвинувшаяся, напознала и на резкое, морщинами изборожденное лицо. — Дело в том, что имеется у нас важнейший источник психоэнергии, ПЭ чистой воды, сверхэкстра, государственное и общенациональное наше богатство.

Опять группка неунимавшихся студентов проходит мимо. Возле двери нашей аудитории тормознулись.

— Свободной эстетики, братцы! Сво-бод-ной! УСЭ!

— Да оставьте вы аббревиатуры, ребята. Я так предлагаю: «Логос». Понимаете, «Логос»? Университет «Логос». То есть «Слово», «Идея». По Евангелию от Иоанна Логос был в начале всего; и таинственно, и красиво.

— А что? Мысль!

— Чудно как-то. МГУ есть. МАИ, МАДИ и МИИТ. Уже ухо привыкло, а тут «Логос» какой-то. У студента спрашивают: «Ты в каком институте учишься?» Он сейчас отвечает: «В УМЭ». «А!» — говорят. — «В УМЭ!» Сразу умное что-то рисуется, а «Логос»? Ни фиги не понятно! Несolidно!

Кто-то глубокомысленно успокоил:

— Привыкнут!

— А как с Лениным быть? Уберут? В УМЭ Ленин куда ни шло, а тут... Ленин в «Логосе»?

Погалдели студенты, дальше потопали; голоса в отдалении уже только невнятным гулом коридор наполняли.

— Да, а Ленина уберут, — задумчиво подхватил Смолевич. — Уберут, дело-то, что ж, привычное. Такаджников с вечера подошлют да распилят, разрежут, раскрошат. По кусочкам вытащат.

— Не нравится?

— Да нет, почему же. Молодежи, наверное, так и положено: «Логос» вместо УМЭ. А когда принимаются взрослые люди... Один вышел на трибуну, умный он субъект, образованный. А о чем говорил? Ему, видите ли, Ленин в Мавзолее мешает. Убрать требует. В Ленинград, в Питер, значит. На Волково кладбище. Тоже мне, реформатор. Спаситель отечества. Преобразователь России. Тут империя рассыпается, все, как я вам предсказывал, — помните о нашей первой беседе? — только, правду сказать, я масштабов развала предвидеть не мог. И тем-пов: подозрительно быстро распад протекает. Жрать опять же скоро нечего будет. А народному избраннику аттракцион подавай: вынуть Ленина из Мавзолея, грузить в поезд, в Ленинград его мчать и в могилу, в болотную тамошнюю жилу

зарывать бригадой пьяных могильщиков. Везут Ленина в поезде, а навстречу в другом поезде везут мощи Серафима Саровского. Анекдот! А последствия? Тело Ленина — это традиция: во-первых, Египет, а с Египтом мы, русские, возможно, и поныне внутренне связаны, хотя сами об этом и не догадываемся. Тут тебе и матушка Волга-кормилица в роли Нила-кормильца, тут тебе и...

— Фараон? — я догадываюсь.

— Именно, Фараон. Оккультисты-гуру серийное производство всевозможных фараонов наладили, на Руси сейчас фараонов хоть пруд пруди — и Рамзесов, и Тутанхамонов. Мы считать их пытались, на двадцать пятом Тутанхамоне сбились; в Омске где-то его обнаружили, в кружке тамошнего гуру, агентурные сведения к нам поступили. Раньше фараонами полицейских звали, городских; теперь, эвон, есть даже один кандидат наук фараон — в Туле, если не ошибаюсь, — только он фараон довольно-таки разумный, никому о своем фараонстве не говорит, помалкивает. Бред собачий все это, но и бред что-то значит: тянет русского человека к Египту. К Нилу. К мумиям. Это во-первых. И опять же паломничество, не нами оно придумано. Спародированная, конечно, традиция, только все же... Люди едут, идут к святыне. Уж простите, как бы ко гробу Господню тянутся. К мощам. К нашим, советским, мощам. Совмощам, партмощам. А не станет мощей, им, паломникам, куда же податься? На Волково кладбище? Да, они, разумеется, туда хлынут, потянутся вереницами. Из-за упрямства. Из-за принципа, как говорится. Уж к Есенину тянулись, к Пастернаку тянулись, теперь к Высоцкому тянутся. А тут — Ленин. Всего проще, волочить не дадут, воспротивятся. Соберутся толпы на Красной площади, день и ночь стоять будут. Но, допустим, разгонят толпы. Закопают сердечного. Вокруг кладбища таборы будут стоять, костры жечь. Споры, диспуты, знаете не хуже меня; если уж вокруг истукана на площади толкались, то что же у могилы начнется!.. Нам бы, русским мечтателям, что? Нам лишь бы не работать, не вкалывать. Не пахать. Не горбатить и не ишачить. И кипеть, кипеть водовороту на Волковом кладбище; чудеса пойдут, явления всевозможные. Из могилы будет Ильич вставать, восставать в сиянии, светлым облаком, призраком вещим носиться, витать над городом. И толпы его узрят. Ох, хорошие люди демократы наши, но чего у них нет, так это чувства реальности. Атрофировано оно. И не говорю уж о том, что важнейшего источника психознергии государство лишится.

— Что же вы предлагаете?

И тут самое интересное: то, о чем я лишь смутно догадывался, запрещая себе догадки, считая их пошлостью, потаканием анекдотам, нелепейшим слухам. Походивши вокруг да около, поворчавши на демократов, покровитель мой набрал воздуха в легкие да и брякнул:

— Предлагаю вам в сверхэлиту войти, дорогой мой. В сверх-сверх-элиту. Не торчать Островским, Грозой, у Малого театра, не маячить Эрнстом Тельманом с поднятым кулачком у метро «Аэропорт», у автодорожного института, а... прилечь, понимаете? Прилечь и зажмуриться. Смежить веки, дремать преспокойненько, а тем временем сердцем вашим необычайным...

И представилось мне: в назначенный день, под утро... Обряжают меня в защитного цвета френч. Гримируют. И тихо-претихо кладут под стеклянную крышку. «Майна! Майна помалу!» — шепотом говорят. А в урочное время, в десять, кажется, включается музыка — о, гроб с музыкой! И в открывшиеся двери чинно втекает толпа.

Грех, какой же, Господи, грех! Стоять памятником Маяковскому, Горькому, Пушкину да хотя бы тому же Тельману — так, забава. Это розыгрыш. Мистификация, которая даже делает государство хоть немного живым, придает ему озорство и лукавый задор. Бог ему судья, государству: учинило целую отрасль промышленности, засандалило ее в подполье, наберновало матросов, бухгалтеров, музыкантов, девчонок-аристократок да ищущих приключений дамочек — работайте!

Но лабать упокойника? Усопшего то есть?

— Я не буду вас торопить, — проглотил очередную таблетку Смолевич. — И... полнейшая добровольность. Пол-ней-ша-я!

— Грех же это, — промямлил я.

— Разумеется, грех. Вы крещеный, я знаю. У вас исповедник будет. Не высшего сана, но не в сане тут дело, иеромонах один есть, к нему-то коллекторы экстра-класса и ездят, под Козельском он где-то в скиту обитает. Я не знаю, о чем они с ним говорят, но уж коли они продолжают работать, он, выходит, не возбраняет им. А на том, чтобы место на Красной площади занимали только крещеные люди, мы настаиваем, это знаете, от кого повелось? От отца народов, семинариста!

И Смолевич рассказывал. Число суперколлекторов колеблется, их в России должно быть не менее трех и не больше семи. Сейчас кризис: самый старший полгода назад тому умер, причем умер он на посту, отказало сердце — положили его, был живехонек, дремал тихо и («Вы себе представляете?») не проснулся. Вздохнул («к изумлению посетителей, разумеется!») и угас («тут как раз делегация бразильских коммунистов шла мимо гроба!»). Только к вечеру вытащили беднягу, а на третий день на Ваганьковском кладбище хоронили, хотя есть уговор с Моссоветом: суперлабухов хоронят на Новодевичьем.

— Другой... Я уж вам как есть все скажу! Другой, значит, с катушек сошел. Выпал в осадок, как студенты, ваши, кажется, говорят. Короче, в уме повредился. Понимаете, шли мимо диссиденты молоденькие. Подошли, взглянули и, надо же, непристойность какую-то выдали. К концу дня дело было, смены его. А его, видать, еще с утра донимали. День-деньской он терпел, а тут сердце взвырвало, не выдержал. Рывкнул им что-то вроде: «Сами вы сволочи!» Когда смена кончилась, стало ясно: плохи дела у коллектора. Стоном стонет. То Дзержинского призывает, то Крупскую. Монологи целые им произносит, жалуется, плачет навзрыд: «Обижают меня!» Психиатры в ведомстве нашем, как известно вам, собственные, засекреченные, только руками разводят: они, даже они не знают всего; они думают, старик просто лабал монументики Лукича где-нибудь в городке районном. «Первый раз,— говорят,— мы встречаем такое... Чтоб коллектора обида настолько задела... Серьезное дело!»

И Смолевич еще одну таблетку достал из флакончика, хотел было ее проглотить, но взглянул на часы, раздумал и таблеточку обратно во флакончик вложил, сверху ваткой прикрыл.

Положение, насколько я понял, архикритическое: один умер, другой в секретнейшем скорбном доме — уж не в Велых Столбах, разумеется. И работают двое, чередуясь с оригиналом, с подлинником: он — третий; он, как может, и после кончины своей уже седьмой десяток мировому пролетариату пользу старается принести.

Условия были сказочными: увеличенная, повышенной комфортабельности жилплощадь в Москве, в тихих-тихих кварталах у Никитских ворот. Под Москвой пожизненно, с правом передавать по наследству, дача. Особняк на Черноморском побережье Кавказа, в Гульриппи. Иномарка-машина с регулярным обслуживанием. Посменная оплата в валюте.

— Это вам не спецзаказы Леонова, Леончыча нашего. — Передразнил: — Колбаска, балык копчененький. Ни о чем не беспокойтесь, обставить сумеем: в лотерею выиграете, а работы ваши неожиданно станут издаваться за рубежом... Я же знаю, вы, как и многие, не реализовали себя. Вам не слава нужна, не популярность. Вы хотите, чтоб вас у-слы-ша-ли. Мы вам все недоданное постараемся, как сможем, восполнить. Соотечественники подумают: «Повезло человеку!» Никаких вопросов у них не возникнет; вы же чувствуете, ваше время приходит, и без нашего содействия вас, как творческую личность, рано или поздно увидят и на Западе, и на грешной Руси. Мы всего лишь ускорим естественный ход вещей. А уж сколько бы там, на Западе, скупердяи-издатели вам ни начислили, мы доплатим; гонорары этих издателей нам для прикрития только и будут нужны. Да, еще: гимназии, лицеи пойдут, так о сыне вам беспокоиться не придется, он способный мальчик. Придет время высшее образование получать, куда вздумается ему, туда и поступит, уж не знаю, УМЭ это будет или «Лотос» какой-нибудь.

— «Логос»!

— Да я нарочно. «Логос... Лотос...» Тоже славно, незаурядный цветок, цветок мудрости. Вы умнее меня, и вы понимаете, я не просто перечень благ каких-то перед вами развертываю. В этих благах и духовность заложена. Государство кого-то хочет... лелеять, я бы сказал. Оно право на милость, на каприз реализовать пожелало. Полагаю, понятно? Все я вам изложил. Разумеется, тайна пол-ней-ша-я. В любом случае, если даже и не дадите согласия. Но мне кажется...

Мимо двери снова топчут студенты:

— Старик, слышал? А Вера Францевна уходит от нас!

— Не свисти, куда ей от нас деваться?

— А она и не денется, будет античку вести да свою германистику, а вообще в академии ей чтой-то такое светит.

— А кого нам подсунут?

— Не те времена, не подсунут, а выборы будут. На альтернативной основе.

И уходят студенты, удаляются голоса.

— Соглашайтесь, а? — почти умоляет Смолевич. — Месяц вам на раздумье.

Два, может быть. Вы, как мне говорили, женитесь? Превосходно! Свадьбу справите и решайте!

— Гм, занятно: из-за свадебного стола и — во гроб. — И потом у меня вдруг срысывается: — А на свадьбу заглянете?

— Что ж, я ждал приглашения. Но и вы мне позвольте подумать, предоставьте свободу...

— Я-то вам предоставляю...

— А я вам не предоставляю? Повторяю, думайте, взвешивайте...

И исчез Смолевич Владимир Петрович: профессионал высшей пробы; как и наши преподаватели в подземелье, в УГОНе, он умеет появляться и исчезать, словно призрак, хотя уж кто-кто, а он ни к какому дурацкому оккультизму не расположен; тренировка, и только...

— А от нас Веру Францевну забирают, — почти плача, грустят в коридоре.

Наша с Людой свадьба — в день св. Людмилы.

Настояла Людочка, верней, жизнь настояла: через день-другой после моего разговора в УМЭ со Смолевым покатали мы с Людой в лес, в тверские края. Глухомань там: еще осталась. Можно съехать с разбитого грейдера, свернуть на лесную дорогу, на полянке какой ни на есть притулиться.

Я костры недолюбиваю: в них надуманное что-то, искусственное. Выпивон, шашлычок (речь идет, разумеется, об интеллигентских междусобойчиках, об игривых вылазках на природу). И костерчик у нас был интимный, маленький. Все же суп с грибами варил я — пару подосиновиков удалось отыскать.

Мы хлебали суп, а Люда сказала:

— Знаешь, кажется...

Можно было ни словечка не продолжать; сразу вспомнилось: две недели тому назад была в сауне, брякнулась в обморок. Рассказала мне, я мимо ушей пропустил: сама медик, лучше меня должна знать, отчего такое случилось. Нагнетали бабы пару жарче, русский шик: чем больше плеснешь на каменку, тем считается лучше; так и слон обалдеет, и слониха в обморок грохнется. Две недели прошло, и: «Знаешь, кажется...» И потупилась, пламя бликами пляшет по личику.

— Дальше не говори. — Я поднялся, шагнул через трепыхающийся костер, обнял Люду.

А теперь у нас свадьба, и Люда торчит у плиты. У нее обнаружилась мама, и она, надо думать, о чем-то догадывается: когда Люда, наклонившись, всаживает в духовку пирог, мама предупреждающе шепчет:

— Доченька, тебе лучше не наклоняться.

Будет сын? Или дочь? Квартиренка моя с двух комнат, 21,6 м². Одинокому холостяку, разведенному доценту УМЭ, достаточно. Даже более чем достаточно. Но втроем-то нам какво? А, втроем?

Нет, духовная сторона диковиннейшей проблемы — чем угодно готов поклясться, неожиданной для меня — превалирует. Но удачно выбрал время Смолевич для своего предложения; почему-то тянет сказать: «Удачненько». Время выбрать они умеют, и что в первый раз, когда надо было мне спастись от мерзких прищелиц, что теперь... пусть квартиру пожалуют, но... Лечь в могилу, и притом в могилу, лишенную тайны, интимности, на потеху — ладно, пусть на утеху — зевакам, чередом идущим ко мне из Боливии и из Болгарии, Кустаная и Кобеляк, с берегов Байкала и с болотистых лужиц у Аральского моря.

Спящий в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся, живущий!

Чьи стихи? Я не знаю, забыл!

А тут все перепуталось: спящий в гробе... жизнью пользуйся... И квартиру дадут, и дачу с правом наследования. А наследовать-то кто будет? Ясно: Люда, жена. А уж после нее? Вася, да? Но и этот, который...

Хрен с ней, с дачей. С квартирой у Никитских ворот. Проживем и на 21,6 м²; но семь метров на брата, даже на учет не встанешь, в очередь на улучшение жилищных условий не втиснешься: ставят только тех, у кого пять метров на человека. Но когда-нибудь и продаваться будут у нас квартиры, хоть 100 м². Глядишь, и куплю. А от этой должности, что ли... От работы этой я все равно откажусь: не могу, мол. Сформулировать трудно, но должно быть понятно: стоять даже и Лукичем на Калужской площади, дышать выхлопами проносащихся мимо

машин, бестолковые диспуты слушать — это одно. Тут же, в том, что мне предлагают сейчас... Тут дело другое: живой — мертвый. Неуважение к смерти? Нет, тут больше что-то...

От-ка-жусь...

Свадьба скромная: по второму-то разу жениться — уж какое тут торжество. И к тому же антиалкогольный закон подоспел: где-то в недрах все еще окутанного тайной Кремля, в верхах назревает решимость свергнуть нашу страну в обновленную жизнь, и вступить в эту новую жизнь страна обязуется трезвой. И хотя над идиллически-идиотским законом начинают, как водится, потешаться, он еще нависает над нами; и шампанское заменится безалкогольным напитком «Светоч», а коньяк подается в чайничках.

В дверь звонят, открываю, и сначала просовываются букеты — тугие, развесистые: глядь, с цветами полегче стало, продают у метро, пестрят астрами закраины рынков. Кто бы это, с букетами? Frau Rot приглашал, но она не придет, не решится. Да и завтра у нее у самой именины, и у дочек ее; ей готовиться надо, поздравлять ее примутся в ее новом качестве: почти академик.

Frau Rot телеграмму отбила: на раскрашенном бланке пляшут медведи, через обручи прыгают. Расстаралась Вера Францевна, сочинила: «Москва 113525 Кировоградская 18... такому-то... Любовью нежной пламенея живите теща Гименея...» И еще о счастье, успехах и о том, что она «всегда ваша». Тут намек: «ваша» — значит, в УМЭ была, в УМЭ и останется, пусть уже и не ректором, а всего лишь профессором. Но в своем УМЭ.

А с цветами Гамлет Алиханович пожаловал, с букетом развесистым. Не теряет присутствия духа, с порога — о том, что все начало распадаться, но что жизнь неодолима, коль скоро существуем Люда и я. И о том, что идеи у меня суть наисумасшедшие, он всегда ценил их, хоть и вынужден был их слегка ограничивать. Но теперь, когда Люда нарисовалась и в доме появится собственный психиатр, я спокойно могу безумствовать дальше, ибо в случае чего...

Монотонно урча, лифт в самом деле поднялся: раздвинулись двери. О, Смоленвич пришел — и с огромным букетом. За букетом Смоленвича застенчиво прячется Надя, неизменная секретарша, опекун и подруга Веры Францевны нашей (перейдет ли и она в академию?). А за ней? За ней — незнакомка какая-то... Нет, вообще-то лицо ее мне знакомо, но никак не упомяну, где же я мог видеть ее.

Впрочем, что-то мне начинает становиться понятным: пришла...

— Где же ваша супруга? — вопрошает смущенно Смоленвич. — Мы о ней толковали тут с этими милыми дамами...

— Познакомьтесь, — встревает Надя. — Очень, очень хотела поздравить вас наша соседка, зовут ее Зоя Феликсовна...

— Можно и просто Зоя, — певуче рекомендуется спутница Нади; на ней тонкое вишневого цвета платье с кружевной оторочкой на рукавах и у ворота.

У меня дурацкий вопрос чуть с языка не сорвался: «А где поварешка?» — Видите ли, — тараторит возбужденная Надя, — на свадьбе непременно должна быть волшебница. Непременно, а то какая же свадьба! Мы все с Зоей Феликсовной знакомы, только так получилось, что издали, а она рядом с нашим УМЭ живет, теперь с «Логосом»; и она, оказывается, немного волшебница.

— Полагаю, добрая?

— В основном, конечно, я добрая, — дама в платье вишневого подхватывает, — но по-всякому оборачивается. О границах добра и зла много споров идет, философский вопрос...

— Какая у вас специальность? — И, набравшись смелости: — Уж не салюты ли?

— Может быть, и салюты. И еще телеграммы, открывайте скорее дверь...

Открываю. В коридорчике тетя Паша, разносчица телеграмм:

— Вам еще одна телеграммочка, распишитесь... — И вручает мне красочный бланк.

Разворачиваю, читаю: «Дорогому Лукичу желает счастья Скорбящая Мать». Да, понятно. Возвращаюсь в свой кабинетик, он же столовая.

Гамлет взял на себя обязанности тамады. Первый тост — за нас с Людой; разумеется, и ее деликатная специальность была обыграна: «УМЭ... ум... сумасшествие...» Тут наш Гамлет малость запутался, поспешили выпить. Люда чуть коснулась губами бокала с хитроумно камуфлированным шампанским.

— Лимонад-то горчит...

Что ж, пришлось нам потешить гостей...

Лихо выпили и за маму Люды. Очень дружно выпили за УМЭ, каламбурили напропалую; цветы в вазах, будто одобряя наши каламбуры, кивали головками.

Гамлет всех объединил, говорил о новых временах и о новом мышлении — жалко, если действительно новое мышление, новый Логос мы заменим всего лишь обновленным, запрещаемым ранее материалом: так, прибавим к Чернышевскому Владимира Соловьева, к Луначарскому — о. Павла Флоренского и тем ограничимся.

Мой коварный покровитель Смолевич деликатно отъединился; вместе с ним — волшебница Зоя Феликсовна.

— Что ж, пора мне, — шепнул в тесной прихожей. — И уж Зою Феликсовну я с собой уведу, мы с ней, смею надеяться, подружидись. И о деле, — понизил голос, — о деле ни слова сегодня, будьте счастливы при любом решении вашем. И скажу заодно уж, даже если откажетесь, немедленно ступайте в райисполком, подавайте заявление на расширение жилплощади...

— Но есть норма, Владимир Петрович...

— Норма нормой, а вы заслужили, выстрадали. Тридцать третий решил вам к свадьбе подарок сделать, у нас есть неучтенные фонды, лимит собственный. Там, в райисполкоме, сразу же идите в жилотдел, к инспектору Такому-то. Назовите свою фамилию, все пойдет как по маслу. Так что жить с Людмилой Александровной в любом случае не будете в тесноте. Всего наилучшего!

Он ушел, ведя под руку странную Зою Феликсовну.

Гости пьяно толпились в крохотной нашей квартирке, курить выбрались в коридорчик: ох, догадливы, с недавней поры обстоятельства таковы, что при Люде лучше бы не курить. Гамлет — он же партийный работник, уж ему-то по чину положено быть принципиальным — в стиле УМЭ многозначительно скаламбурил, что не следует, дескать, курить «прилюдно».

Надя носит посуду из кабинета, складывает; Люда фартуком повязалась, моет.

Темно-синяя осенняя ночь. Тепло.

Поторапливает таксист. Из подъезда вышли Людина мама, Надя. Гамлет дверцу им открывает, жмет мне руку:

— Желаю вам счастья.

Возвращаюсь в подъезд, поднимаюсь наверх.

Люда, я — мы вдвоем. Стол у нас раздвижной, мыдвигаем его: пир окончен.

— Кстати, я со вчерашнего дня собираюсь тебе сказать. Я вчера в милицию заходила, оформляла прописку; паспортистка в жилищной конторе мне сказала, что так будет лучше, быстрее; вместе с ней я в милицию и пошла. Я ждала паспортистку, смотрела от нечего делать объявления милицейские. Знаешь, розыск, бандитов разыскивают. И пропавших без вести тоже. Их портреты развешаны. Ни за что не догадаешься, кого я увидела вдруг!

— Яшу. — Пламенем каким-то меня озарило. — Яшу, да? Барабанова?

— Догадался? Его! Фотография, крупным планом лицо. Такой грустный, ужасно просто. Печально-печально смотрит. И написано что-то такое, как пишут обычно: «Ушел из дому... Не вернулся... Знающих местопребывание просят сообщить...» Быстро, правда, сработали? И месяца не прошло. Жалко, да? И куда бы ему деваться?

Яша, Яшенька, Барабанов ты мой! Славный в общем-то, милый. Умнейшая голова. Мы же странно дружили, и общего у нас было много. А потом стал Яша метаться между мной и откуда-то возникшим гуру. Я-то что ему дал? Так, неосознанное что-то. Абстракции. А гуру в фараоны его возвел, где уж мне супротив фараона-то? Только злоба зачем? Обезьяний оскал зубов? И угрозы, и взвизгивания по телефону. А недавно, совсем перед свадьбой, уже и анонимно звонили, по его, несомненно, наводке. Намеренно гнусный голос, по-блатному гнусавящий. Плохо дело у русских йогов; задыхаются: гласность их доканает, не выдержать им конкуренции. И какая-нибудь оккультистская мафия, корпорация покрупнее добьет их. И теперь они на мне постараются выместить обиды свои, провалы: дескать, скепсис пуцал.

— Яша, Людочка, найдется еще, отыщется. Он всего не сказал, не проявил себя полностью. И мне кажется: наши с ним отношения не исчерпаны. Они слова боятся. До судорог боятся, истошно. Не простят мне насмешек над ними, как большевики не прощали интеллигентам насмешек. А на слово словами же ответить они не могут, говорят они плохо, а пишут и вовсе, тоже вроде большевиков. Большевиизм в оккультизм выливается; Яша — что-то наподобие ихнего Павла Власова. Сам-то он на меня руки не поднимет, а какой-нибудь Буба у них прорисует...

Сидим рядышком на красном моем диване.

— Грустно мне, — прильнула ко мне жена. — И тревожно. За тебя и за кроху.
 — Страшен сон, да милостив Бог, переживем как-нибудь. А вообще... Была у нас свадьба, значит, надо нам и брачную ночь устроить!
 Наступал новый день — день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

Аэропорт Шереметьево-2.

Кажется, весь УМЭ сюда пожаловал; и еще бы не препожаловать: провожают кандидата эстетики Байрона Ли. С Катей, с миссис Екатериною Ли.

Багаж набралось — мала куча: книги, шмотки — приданое Кати, сарафаны, платки из козьего пуха.

Снисходительный таможенник все понимает, шмон идет откровенно формальный.

— Здесь у вас что? — тычет шариковой авторучкой в чемодан шоколадного цвета.

— Книжки, книги, — улыбается Байрон.

— Разрешение есть?

— Как же, есть.

— А здесь? — в черный чемоданище тычет.

— Личные вещи. Одежда моя и жены.

Проезжают один за другим чемоданы по ленте конвейера.

Вера Францевна, как всегда, элегантна:

— Байрон, значит, через годик-другой мы вас ждем.

— Непременно, непременно приеду, Вера Францевна, вы и представить себе не можете, как привязывает Москва.

— Так уж вы не отвязывайтесь.

Катя, кажется, все рассказала мужу, все поведала: не могла же она и ему заливать, что она из лимитчиц («Симбуховские мы»). Раскололась. Он, во всяком случае, смотрит на Катю любовно вдвойне и втрое. Изумленно к тому же. Зачарованно он смотрит на Катю. Мы ревнуем: на жену и он и в своем Кентукки налюбоваться успеет, а когда-то он нас увидит?

Вера Францевна обнимает лучшего аспиранта УМЭ. Он почтительно целует ей руку.

Аспиранты скинулись на палехскую шкатулку. Торжественно преподносят Байрону. Подсмотрел: там какая-то вариация на тему «Арапа...» Пушкина — Ибрагим пришел свататься в дом боярина.

Отделяется от толпы... Да, конечно же, Зоя Феликсовна: изысканный темно-вишневый костюм, черная оторочка на рукавах и у ворота. Что-то шепчет Байрону на ухо.

Все собрались на проводы; все!

В стороне в бутылочного цвета плаще-болонье — тот, загадочный. Помещик с Большой Донской улицы, он же председательствующий в Московском городском суде.

Он безмолвствует, но Катя сама подходит к нему, низко кланяется. Помещик (или судья?) благословляет ее, троекратно крестит. Достает из нагрудного кармана крест на массивной цепочке, надевает на шею. И снова крестит.

— Золото зарегистрировать надо, — безучастно произносит таможенник. — Прощу вас... э-э... миссис Ли, заполните декларацию заново. Вот здесь... так... Крест золотой сувенирный, цепочка декоративная... Можно даже не полностью, лишь бы было понятно.

Катя пишет старательно: «Крест зол. сув., цеп. декорат.».

Уже объявили посадку на Нью-Йорк. Объявляют еще раз.

— Долгие проводы — лишние слезы, — говорит Вера Францевна, смахивая слезинку.

Так случилось, что к Байрону я подхожу последним. Обнимаю его: превосходный он человек. Мудрый, ясный; и все у него как-то здраво, прочно-прочное расставлено по местам.

А у нас?

У меня?

Распадается эпос, наскоро скроенный в неожиданно к нам приблизившемся сейчас 1917 году. Лет на семьдесят его с грехом пополам хватило, остаются осколки: монументы, которых пока, полагаю, не тронут, дуэт Минина с князем Пожарским, Ломоносов, первопечатник Федоров, Пушкин, Лермонтов и Гоголь, во двореке притулившийся. Достоевский, Лев Николаич Толстой. Даже Горькому готовы простить изречение о враге, которого...

А на Красной площади гранитный рундук.

И мне надо что-то решить наконец: данный мне на раздумье срок истекает.

Пошел дождик — густой, но теплый.

Байрон с Катей уже за барьером — обернулись в последний разочек, машут нам в четыре руки: две ладошки беленькие и две совершенно особенного розоватого цвета, он бывает только у чернокожих.

И мы машем вслед двум счастливицам.

Мы расходимся. Вера Францевна предлагает подвезти меня на своей апельсиновой «Волге».

Мы усаживаемся, она включает стеклоочистители-«дворники».

— Вера Францевна, — изумляюсь я, показывая на принявшие за ритмичную работу щеточки, — а вы не снимали их? И, мне кажется, не снимаете никогда? Как же, так, украдут их, намучаетесь тогда!

Frau Rot улыбается:

— У меня почему-то никогда их не крали...

И еще она говорит, что нам грустно будет без Байрона, но что путь его, думається, окажется ясным.

— Дождь в дорогу — примета хорошая, — убежденно заверяет меня наша умница-ректор.

ЭПИЛОГ,

в котором вдова Неизвестного лабуха из литературного персонажа превращается в реально существующее лицо, осуждается медленность правоохранительных органов и заключается соглашение о разделе вознаграждения за многолетний труд мученика-интеллигента.

В странно двойственной роли представала передо мной Людмила Александровна, вдова Неизвестного лабуха: то выныривала она на поверхность неустроенной нашей житухи, то русалкой ныряла в текст записок собственного супруга. Меня эти метаморфозы несколько обескураживали: трудно же представить себе, что ты только что разговаривал по телефону с Анной Карениной или, скажем, с Маргаритой из романа Михаила Булгакова. Разговаривал, а после еще и встречался в метро, на «Каширской», получал из ее рук новонайденную ею пачечку исписанных листочков. А потом моя странная собеседница исчезла надолго, уже летом появившись у меня, на Пролетарском проспекте: вся сияющая, утомленная — счастливая мать.

— Дочка, — проинформировала с порога. — Дочка, я ее Верой назвала, в честь Frau Rot, Веры Францевны.

Легкий плащик забросила на вешалку, прошла в кабинетик.

— Так как наше соглашение? Заключаем?

Не ломался я, не кокетничал, не набивал себе пену. Я искренне колебался:

— Да, но... Вы понимаете, я же не ваш покойный супруг, а супруг ваш не я. Но поди-ка втолкуй это массовому читателю. Не втолкуешь! Слухи пойдут, пересуды. Иду, скажем, я по бесконечному коридору нашего факультета, а мне вслед: «Лабух... Ла-а-бух...» Шепотком, втихомолку. Студентки, те в кулак будут фыркать, а суровые юноши-бородачи — поглядывать осуждающе: доцент-то он доцент, да, оказывается, по ночам он еще и у Малого театра монументом посиживает. А старушечки возле подъезда? А соседи? Ребята они хорошие, славные, но, глядишь, перемигиваться начнут: дескать, как сегодня лабалось?..

— А вы плюньте на все на это! Посудачат и перестанут. Зато доброе дело сделаете. Гонорар пополам, согласны?

— Половина, это что-то уж слишком расщедрились вы. Но вообще, погодите вы с гонораром, все обдумать надо бы, обмозговать...

— Ах, да что там обдумывать! Соглашайтесь, и все!

— Ваш супруг напрягался, работал, по запискам его можно увидеть, чего ему это стоило. А писал он... Неумело, конечно, накладок много. Повторений, по правде сказать, скучноватых. Но зато... Начинал он в такое время, что за каждую строчечку мог бы срок схлопотать, рисковал. И не знал он, что грядут времена демократии, тамтамов словесных...

Вечерело, и первый комар зазудел: нынче лето в Москве знаменуется, как известно, разгулом, буйством комаров-кровопийц. Сел на лоб моей гостье, она ловко хлопнула себя по лбу, убила, но кровавое пятнышко заалело.

— И к тому же, — продолжил я, вспомнив, как, должно быть, несладко приходится в вечернюю летнюю пору лабухам, — уверены ли вы, Людмила Александровна, в том, что все написанное вашим... э-э... супругом было на самом деле? А что, ежели всё здесь фантазия, всё?

— Нет, не думаю. Было все! Он в последнее время исчезал на целые сутки, возвращался усталый, опустошенный. И еще был он твердый, вы понимаете? Твердый! Да он сам описал все, как он с этой... армянкой...

— Гм, с армянкой... А где же она сейчас? — вдруг бестактно вырвалось у меня.

— Этого я не знаю. Знаю только, что один из их группы с собой покончил. Вы себе представляете? Сел на поезд, уехал куда-то в леса. Уморил себя голодом.

— Да, дела. Так как же, решаться?

— Решайтесь!

— Да, а как же с убийцами? Не нашли их?

— Нет, не нашли. И, по-моему, не очень-то стремятся найти. Докопались, что стреляли откуда-то из подворотни, всего двадцать метров было: подкрались. А вторую стрелу — так едва не в упор, добивали.

— Ходят по Москве хмыри какие-то, арбалетами помахивают. Лук да стрелы. А их не могут найти?

— Обещают, темнят, тень на плетень наводят.

— А не пробовали выйти на покровителей вашего мужа? 33-й отдел, Владимир Петрович?

— Там концов не найдешь, реорганизация у них, то да се. 33-й отдел расформирован как будто...

— Плохо дело!

— Уж так-то плохо. А Верушка наша — веселая девочка. Родилась, три кило семьсот пятьдесят тянула. Лежит, думает о чем-то своем и не знает, что расти ей без папы.

Замолчала. Я достал носовой платок, предложил ей вульгарно:

— Послуживайте.

Вытер пятнышко подсыхающей крови на лбу и сказал:

— Соглашайся! И знаете, Людмила Александровна, получается-то все же роман! Как ни тилился ваш муж, мой коллега, от романа уйти, избавиться, а роман-то догнал его. И теперь догоняет, когда... Когда мне придется предстать его юридическим, как бы сказать, творцом...

— Ах, да Бог с ним, роман так роман!

О разделе вознаграждения мы быстро договорились, в подробности не буду входить, но могу заверить снедаемых любопытством: моя доля значительно меньше предложенных мне пятидесяти процентов.

Мы ударили по рукам. Потянулся я было к холодильнику — обмыть сделку. Но Людмила Александровна, без труда угадавши мои намерения, сделала испуганные глаза:

— Нет, нет, что вы! Я же кормящая мать!

Проводил я Людмилу Александровну до лифта: вошла, мне изящно махнула; двери сдвинулись, словно занавес в финале какой-нибудь... Драмы? Комедии?

Я вернулся. Решил погадать.

На столе Борис Пастернак.

Я напрягся, сосредоточился. И спросил поэта, что он думает обо всем происшедшем.

И раскрыл наугад.

Он ответил классическим:

В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь форточку крикну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетие на дворе?

Эх, подумалось мне, гоняли, гоняли поэта. Донимали: нежизнен, мол, отрешен от реальных проблем. И шпыняли его именно этими строчками.

А они-то как раз и оказались наиболее жизненными из всего, что кто бы то ни было мог бы сказать сегодня.

Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?

В самом деле, какое?